

МАРИЭТТА ЧУДАКОВА

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



31000023115960

# НЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



ПОЛКА  
ПЕРВАЯ

ПОЛКА  
ВТОРАЯ

ПОЛКА  
ТРЕТЬЯ

время читать!

*мариэтта чудакова*

Памяти моей  
любимой  
племянницы  
Танечки  
Мишиной



Title : Ne dlia vzroslykh : vremia chitat'!  
Author: Chudakova, Mariëtta Omarovna

МАРИЭТТА ЧУДАКОВА

НЕ ДЛЯ  
ВЗРОСЛЫХ

ПОЛКА  
ПЕРВАЯ

ПОЛКА  
ВТОРАЯ

ПОЛКА  
ТРЕТЬЯ

в р е м я ч и т а т ь !

Москва 2014





УДК 82/821.161.1.0

ББК 83.3(0)

Ч84

оформление, макет  
ВАЛЕРИЙ КАЛНЫНЬШ

**Чудакова М. Ч.**

Ч84 Не для взрослых. Время читать! — М.: Время, 2014. —  
448 с.: ил. — 2-е изд., стереотип.

ISBN 978-5-9691-1153-0

Знаменитый историк литературы XX века, известный знаток творчества М. Булгакова, а также автор увлекательного детектива для подростков «Дела и ужасы Жени Осинкиной» рассказывает о книгах, которые во что бы то ни стало надо прочесть именно до 16 лет — ни в коем случае не позже! Читатели полюбили ее «Полки», на которых выставлены лучшие книги мировой литературы. И теперь три «Полки» составили один том.

ББК 83.3(0)

ISBN 978-5-9691-1153-0



9 785969 111530

© Чудакова М. О., Чудакова М. А., 2014

© «Время», 2014

# ОГЛАВЛЕНИЕ

## ПОЛКА ПЕРВАЯ

Не пропустите отрочество! .....	9
Про американцев .....	16
Читайте Толстого! .....	20
Про Тома Сойера и его замечательные качества .....	27
Про милосердие .....	34
Про животных .....	42
Про честь и мужество .....	50
Про любовь .....	59
Про Барабанщика и про Петрушу Гринёва в XX веке ..	67
О благородстве .....	86
О золоте, Малыше и китайчонке Вань Ли .....	94
О войнах и любви .....	103
Про смешное и про грустное .....	114
Так что же произошло на Патриарших? .....	123
«Бедный Робин Крузо!» .....	132
Перечитывайте Пушкина! .....	141

## ПОЛКА ВТОРАЯ

«Вот настоящая веселость...» .....	151
Тайны Жюль Верна .....	170
Про куклу наследника Тутти и девочку по имени Суок .....	177
Про капитанов .....	186
О сильных чувствах .....	194
Шерлок Холмс, доктор Ватсон, а также доисторические животные .....	202
Серая Сова и бобрята .....	215
Что писал Михаил Пришвин про детей, животных и природу .....	224

Об одном старичке с большими возможностями .....	235
О старике Хоттабыче и Воланде.....	240
Про лилипутов, великанов, а также умных и добрых лошадей .....	247
Марка страны Гонделупы .....	255
И один в поле воин — если он всей душой хочет спасти других людей .....	264
Джейн Эйр, или Как быть счастливой в любых обстоятельствах .....	275

## ПОЛКА ТРЕТЬЯ

*Раздел первый. Непременно успеть прочитать  
до шестнадцати!*

Про зверят .....	287
Счастье детства .....	295
Чудесное вокруг нас .....	305
Александр Твардовский, Михаил Исаковский и Иосиф Бродский о войне и о цене Победы .....	314
Поэзия и жизнь Александра Твардовского.....	324
«Пушкин, Грибоедов — да кто их читал?..» .....	332
Генри Хаггард, и не только он .....	343
Про Щелкунчика и некоторых других .....	353
Есть ли у жизни смысл? .....	361
В пятом углу .....	370
Бессменный дежурный по стране .....	381
Майн Рид, кумир российских гимназистов .....	399

*Раздел второй. Этим писателей читать можно  
всегда. Но почему бы не узнать их пораньше?*

Вступление.....	409
Описатель нравов, или Ожерелье ценою в жизнь .....	411
Гюстав Флобер, или Человек-перо .....	421
Воля к жизни Джека Лондона .....	430



Мой старший брат выучил меня читать, когда мне было пять лет (а ему — пятнадцать). Сейчас этим никого не удивишь, а тогда было в диковину. И считалось, что много читать в таком возрасте нельзя: врачи уверяли, что может что-то случиться с головой. Ходил слух, что кто-то пятилетний даже сошел с ума от неумеренного чтения. И моя умная мама, мать пятерых детей (я была четвертая), верила врачам!

Я же действительно стала читать как сумасшедшая (будто медицинские предостережения уже подтвердились). И старшие ловили меня в разных углах коммунальной квартиры с криком: «Опять читает!» И мама тревожно восклицала: «Сейчас же отнимите у нее книжку!»

В первом классе на уроках чтения я и правда потихоньку сходила с ума — от скуки: когда одноклассницы (тогда обучение мальчиков и девочек было раздельное) заунывно читали по слогам букварь: «Ма-ма мы-ла ра-му».

Дождаться не могла, когда же кончатся уроки. И летела со всех ног домой — там меня ждал *«Таинственный остров»* Жюль Верна...

Так навсегда и связалась у меня первая школьная осень с захватывающим чтением толстого синего тома из тогдашней «Библиотеки приключений». После него пошли другие романы Жюль Верна —



Жюль Верн

и «Дети капитана Гранта», и «Пятнадцатилетний капитан», и «20 тысяч лье под водой»...

...Ах, этот подводный дворец капитана Немо!.. Читала, затаив дыхание в буквальном смысле слова, — то есть забывая вдохнуть и выдохнуть.

## ———— 2 ————

Когда-то в России был такой возраст: *отрочество*. Недаром Лев Толстой так и назвал три части своей трилогии: «Детство», «Отрочество», «Юность».

В самом главном нашем Академическом словаре написано, что отрочество — «возраст между детством и юностью».

По-моему, довольно непонятное пояснение. Когда кончается детство? У всех по-разному. У одних — в шесть лет: они уже и младших нянчат, на огороде и во дворе родителям по-взрослому помогают. А приходилось встречать и таких, у кого оно и в 40 лет еще не кончилось.

Вот в словаре Даля про отрочество сказано более четко — это пора (хорошее, между прочим, слово) «от 7 до 15 лет».

Потом, в советское время, эта самая пора куда-то подевалась... «Советские дети» (нередко добавлялось — «самые счастливые в мире»), а потом сразу — «советская молодежь».

Правда, было еще такое выражение — «пионеры и школьники». Это вообще не очень понятно, что такое, потому что с третьего класса всех поголовно принимали в пионеры, никакого согласия ни у кого не спрашивали.

Да, еще называли — «учащиеся». Все вообще, кто ходил в школу или в какое-нибудь училище. А лет с семнадцати они уже были — «молодежь и студенты». Например — «Всемирный фестиваль молодежи и студентов» (летом 2007 года как раз отмечали его 50-летие). Тоже не очень-то понятно — ведь и студенты не старики.

Ну, советская власть давно кончилась и уже нельзя ее спросить — почему ей так не нравилось это слово. Но этот возраст — *отрочество* — все равно существует. И он, может быть, самый важный в жизни человека.

В это время складываются привычки. Хорошие или плохие, но на всю жизнь. Совершаются благородные поступки — потому что тяга к добру еще не задавлена, не скорректирована корыстными или еще какими-нибудь расчетами. Принимаются важные решения. И некоторые люди следуют тому, что решили в отрочестве, всю свою жизнь.

В это важное, но короткое время или прочитываются некоторые книги — или не прочитываются уже никогда.

— 3 —

Потому что есть три закона чтения, и два с половиной из них выведены мною лично.

Первый:

*нет книг, которые читать — рано.*

Второй:

*есть книги, которые читать — поздно.*

И третий:

*именно в отрочестве надо составить список книг, которые в жизни надо обязательно успеть прочесть. Составить — и после этого отказаться от чтения всякой чепухи, которой сейчас везде — навалом.*

Поясню первый закон. Никто не скажет вам заранее, что именно вам читать рано. Потому что — у всех по-разному! Одному — рано, а другому — в самый раз. А его ровеснику до самой старости будет рано: читает — и не может понять, что к чему.

Если вам рано читать эту книжку — вы сами же первый это и заметите. И отложите ее до лучших дней — или будете читать с пропусками, выискивая то, из-за чего вам

ее родители, собственно, не давали читать. Ну и что? Ничего не потеряете и ничего не приобретете.

Помню, в шестом классе спросила старшего брата — моего постоянного советчика по чтению — что мне почитать? Он сказал через плечо, секунду подумав: «Читай “Записки Пиквикского клуба” Диккенса!»

Для меня каждое его слово было истиной в последней инстанции. Побежала в библиотеку (записана была в районной с третьего класса — Интернета тогда, представьте себе, не было), взяла. Стала читать — скучно, нет сил! Иллюстрации смотреть интересно: толстяк мистер Пиквик, худой Джингль... А читать — не могу, и все. Как мне было стыдно! Как же так? Брат считает, что книга — для меня, а я значит, так глупа? Потихоньку от него сдала книгу в библиотеку, так и не прочитав, — первый, наверно, случай в моей жизни.

Через четыре года, в десятом классе взяла снова. И — читала взахлеб! Не могла понять, как она мне могла казаться скучной. Поумнела, значит, сильно за четыре года — доросла до Диккенса...

Так что если книга оказалась вам не по возрасту, не по уму — ничего страшного, вернетесь к ней позже. Но установить это можно, мне кажется, только опытным путем — начав читать. Знаю точно, что одни в 15 лет проглатывали «Преступление и наказание» Достоевского, для других чтение гениального романа было истинным наказанием.

Со *вторым* законом дело обстоит серьезнее.

Да, есть такие книжки, которые надо прочесть именно лет в 12, в 14...

Во-первых, только в этом возрасте вы получите от нее стопроцентное удовольствие. А во-вторых — создадите себе задел (то есть нужный запас) на будущее. Это же здорово — перечитать когда-нибудь на отдыхе «Приключения Тома Сойера»! Я знаю людей, которые перечитывали эту книжку своего детства — со знакомыми иллюстрациями! — несколько раз: в 25 лет, потом около





Чарльз Диккенс

сорока лет и так далее. Но я не встречала таких, кто уселся читать ее первый раз в 40 лет. Во-первых — некогда. Во-вторых — и в голову не придет. А в-третьих, если и возьметесь — вряд ли будете читать взахлеб. Так, полистаете с легкой улыбкой. «Жаль, — скажете, — что в детстве не попалась...»

В общем, поленился в свое время — проиграл на всю жизнь.

Что касается *третьего* закона — многие подумают: а что плохого в чтении пустых, попавшихся случайно под руку или просто модных в этот момент книг?

Некоторые так и считают — а что? Ничего особенного. Мурá, но читать можно.

А дело-то главным образом в том, что плохая книжка *навсегда* лишает вас возможности прочесть хорошую.

— Почему же навсегда-то? — спросите вы с возмущением. — Прочитал плохую — теперь почитаю хорошую! Какие дела?..

А вот такие. Время-то не безразмерное.

Когда я училась в шестом классе и продолжала читать, как говорится запоем, вдруг вычитала где-то, что человек за жизнь может прочесть, кажется, не более 7 тысяч книг.

Неважно, точная это цифра или нет. Важно то, что я пришла в ужас от мысли, что читаемые мною второсортные книги, поглощая отмеренные человеку для чтения часы (их и так не очень много остается — от других дел), явно меня чего-то лишают. В первую очередь — возможности прочесть какие-то другие книги — те самые, которые в жизни прочесть *необходимо!* Я еще не знала толком — какие. Но уже точно знала, что они — есть.

Тогда я стала думать — от чего же отказаться? (Я уже понимала, что поглощаю, охваченная жаждой чтения, и некачественную литературу тоже.) Я любила, например, тогдашнюю «научную фантастику» (сейчас одно издательство ее переиздает, но делает это совершенно напрасно). В этих книжках в те советские годы обязательно ловили каких-нибудь шпионов, охотящихся за замечательными советскими изобретениями и самими изобретателями. Меня увлекала сама детективность сюжета: выслеживание, преследование. Но вот что интересно. Потому, может быть, что к этому времени уже было прочитано немало первоклассных книг, я смутно чувствовала, что эта «фантастика» — в общем-то, дешевка (хотя, как советская пионерка, не подвергала сомнению то, что наша жизнь, конечно же, кишит шпионами). И с того дня дала себе слово больше не читать «фантастику». И держала зарок — представьте себе! — до конца университета. Боялась тратить драгоценное время не на *чтение*, а на *чтиво*.

До тех пор, пока один приятель не сказал мне, что это я напрасно.

И я узнала от него, что давно появились три прекрасных фантаста — Станислав Лем, Айзек Азимов и Рэй Брэдбери... И после этого всех их прочла и восхитилась. Но это — особая тема, к ней со временем вернусь.

У полки (иногда ее называют — *золотая полка*), на которой стоят вот эти самые книги, которые надо успеть прочитать до 14—15 лет (ну в крайнем случае — до 17), есть одно свойство: не все *видят* те книжки, которые на ней стоят. Кто-то и во всю свою жизнь многих из них так и не увидит — и, конечно, не прочтет. То есть не узнает просто даже названия книг, не прочитать которые так же обидно, как никогда не увидеть, например, другие страны.

Если же кто-то скажет — «Подумаешь, какие дела — ну не прочитаю какую-то книжку!..» — так это все равно, что сказать: «Подумаешь — не увижу какой-то ваш Париж!»

Не будете же вы кидаться объяснять такому человеку, зачем нужно увидеть в жизни Париж или, скажем, Рим. Просто пожмете плечами, да и все. Кто-то, может, еще у виска пальцем покрутит — соображай, мол, что несешь. И потому же неохота будет вам занудно ему объяснять, почему стоит и даже



*Александр Дюма*

обязательно нужно прочитать те самые книги, которые задолго до тебя читал весь мир. И все восторгались. И говорили друг другу: «Как, ты еще не читал?»

И когда приятель тебе скажет: «Ты что — читать книжку собрался? Зачем тебе это надо?!», то вряд ли все-таки миллионы людей были глупые, а он — умный. Скорей уж наоборот, вот что я думаю.

Объяснять такому — только зря время тратить. А тем, кто поумней, кто все, о чем мы тут говорили, хорошо понимает и только ждет дельного совета, рада буду помочь.

Укомплектуем постепенно вместе одну за другой ваши золотые полки НЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

На ней будут стоять и книги русских писателей, и переводные — скажем, французы Жюль Верн или Дюма, американцы О. Генри и Марк Твен, англичане — Стивенсон, Конан-Дойл, Дефо или Честертон и многие другие.

## ПРО АМЕРИКАНЦЕВ

Рассказы О. Генри, например, можно как раз читать в любом возрасте — хоть в 10—12 лет, хоть в 80. Но почему бы не начать пораньше? Он писал в конце XIX века — начале XX века и изображал Америку этого времени, с ее ковбоями и гангстерами. Начал писать, между прочим, в тюрьме, где три года сидел за растрату (не знаю — справедливо или нет). Поэтому ему пришлось переправлять рассказы в журналы тайно и печатать под псевдонимом (настоящая его фамилия Портер). И вышел на свободу уже известным писателем.

Начните хотя бы с его рассказа «Вождь краснокожих».

Двум американцам с Юга, из штата Алабама, не хватало двух тысяч долларов на проведение, как сами же они простодушно называли, «жюльнической спекуляции земельными участками...» И они похитили единственного сына «самого видного из горожан», десятилетнего рыжего мальчика — чтобы получить у отца выкуп. Что из этого вышло — описано очень интересно и смешно. Не буду пересказывать, чтобы не портить вам впечатления. Приведу только последнюю





фразы — уж очень она в духе и стиле О. Генри: «Хотя ночь была темная, Билл очень толст, а я умел очень быстро бегать, я нагнал его только в полутора милях от города».

Если уж мы начали с буквы «А» — с американского писателя, то расскажу про еще одного. Он уже тем нам интересен, что одна из его сказок («Легенда об арабском звездочете» — тоже увлекательная) подсказала Пушкину сюжет «Сказки о золотом петушке» (открыла это Анна Ахматова — до нее никто и не догадывался).

Это писатель **Вашингтон Ирвинг**. Он родился в тот самый год — 1783-й, когда Америка стала Америкой (в России ее стали называть *Северо-Американские штаты*) — то есть добилась независимости от Британской империи. Будущего писателя и назвали в честь первого президента страны — Джорджа Вашингтона: фамилия президента стала его именем.

Про героя его рассказа «Рип ван Винкль» (это имя практически стало нарицательным — еще и поэтому рассказ надо обязательно прочитать, а то так и не поймете, о чем речь, когда вдруг услышите реплику образованного человека — «Ну, это просто Рип ван Винкль!») автор говорит: «Большим недостатком в характере Рипа было непреодолимое отвращение к производительному труду. Это происходило, однако, не потому, что у него не хватало усидчивости или терпения, — ведь сидел же он сиднем, бывало, на мокром камне с удочкой...



Короче говоря, Рип охотно брался за чужие дела, но отнюдь не за собственные; исполнять обязанности отца семейства и содержать ферму в порядке представлялось невысказанным и невозможным».

У него была собака по имени Волк. И вот однажды, чтобы избавиться от работы на ферме, Рип взял ружье и отправился вместе с Волком бродить по лесам. Забрался далеко. И вдруг слышит окрик: «Рип ван Винкль! Рип ван Винкль!» А его Волк тут же «ощетинился, зарычал, прижался к хозяину и замер...» И вот Рип видит странного незнакомца «с густой гривою волос и седой бородой. Одет он был по старинной голландской моде: в суконный камзол, перетянутый у пояса ремнем, и несколько пар штанов, причем верхние, необыкновенно широкие, были украшены сбоку и рядами пуговиц, а у колен — бантами. Он тащил на плече изрядный бочонок, очевидно наполненный водкой, и подавал Рипу знаки, прося его приблизиться и помочь».

Кстати, насчет голландской моды — голландцы рано оказались на американском континенте и даже основали (в 1626 году) город Нью-Йорк, назвав его Новый Амстердам (позже англичане его переименовали).

...И вот эти двое карабкаются вверх по высохшему руслу ручья, попадают в ущелье и, пройдя его, выходят в лощину, «похожую на маленький амфитеатр». И Рип

ван Винкль увидел — внизу на площадке «компания странных личностей резалась в кегли. На них было причудливое иноземное платье», а на лицах — суровое выражение. Они молчали; «никогда еще Рипу не доводилось присутствовать при такой унылой забаве». И только стук шаров будил в горах громкое эхо, грохотавшее подобно громовым раскатам.

Спутник молча делает ему знаки — чтоб разносил играющим кубки с вином. А лица у всех игроков «такие странные, такие чужие, такие безжизненные, что у Рипа екнуло сердце и задрожали поджилки».

Отхлебнул потихоньку напитка и Рип — «и нашел, что по вкусу и запаху это — отменная голландская водка». Сделал еще глоток, еще — и «погрузился в глубокий сон». Когда же проснулся на том же самом зеленом бугре — было утро; пса его рядом не было. А «вместо нового, отлично смазанного дробовика, нашел рядом с собою старый кремневый мушкет; ствол был изъеден ржавчиною, замок отвалился, червями источено ложе».

А что было с ним дальше — прочитаете, надеюсь, сами.



Я упоминала трилогию Льва Толстого — «Детство», «Отрочество», «Юность».

Уж во всяком случае две первые ее части надо торопиться прочитать. Главное — только открыть книгу и начать. А оторваться — я вам это гарантирую — будет уже трудно. Вот совсем маленькая девятая глава из «Детства» — «Что-то вроде первой любви»:

«...Я смотрел через плечо Катеньки, которая старалась поднять червяка на листочке, подставляя ему его на дороге.

Я заметил, что многие девочки имеют привычку подергивать плечами, стараясь этим движением привести спустившееся платье с открытой шеей на настоящее место. Еще помню, что Мими<sup>\*</sup> всегда сердилась за это движение и говорила: «C'est un geste de femme de chambre»<sup>\*\*</sup>. Нагнувшись над червяком, Катенька сделала это самое движение, и в то же время ветер поднял косыночку с ее беленькой шейки. Плечико во время этого движения было на два пальца от моих губ. Я смотрел уже не на червяка, смотрел-смотрел и изо всех сил поцеловал плечо Катеньки. Она не обернулась, но я заметил, что шейка ее и уши покраснели. Володя<sup>\*\*\*</sup>, не поднимая головы, презрительно сказал:

— Что за нежности?

У меня же были слезы на глазах».

А «Отрочество»? Один рассказ гувернера Карла Ивановича о своей жизни — рассказ, где немецкий мешает с ломаным русским, трудно читать спокойно. Вот он после девяти лет военной службы оказывается в родном

---

\* Гувернантка сестры героя повести и мать Катеньки.

\*\* Это жест горничной (фр.).

\*\*\* Старший брат.



доме. «И мое милы маменька выходит из задня дверью. Я сейчас узнал его. “Вы знаете наша Karl”, он сказал, посмотрел на мене и, весь бледны, за... дро... жал!.. “Да, я видел его”, — я сказал и не смел поднять глаз на нее; сердце у меня пригнуть хотело. “Karl мой жив! — Сказала маменька. — Слава Богу! Где он, мой милый Karl?..” — и он заплакал... Я не мог терпеть... “Маменька! — я сказал, — я ваш Карл!” И он упал мне на рука...»

Карл Иваныч закрыл глаза, и губы его задрожали».

## — 2 —

Но уж что точно надо прочитывать пораньше, лет в 10—12, потому что позже такого сильного впечатления может уже и не быть, — это рассказ Л. Толстого «Кавказский пленник».

Само его начало стало уже частью нашей культуры — столько поколений читали его, порою вслух, «с выражением»: «Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин».

Толстой и сам четыре года служил на Кавказе, во время нескончаемой Кавказской войны, которую вела Россия, пока не подчинила наконец Северный Кавказ.

В рассказе всех горцев называют «татарами», хотя татар на Кавказе и не было — просто тогдашние «простые» люди (а Толстой пишет как будто не от себя, а от лица простого и даже простоватого участника этой войны) знали в России только одних мусульман — татар. Ну и всех других мусульман — аварцев, чеченцев — «записывали» в татары.

«На Кавказе тогда война была. По дорогам ни днем, ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отъедет или отойдет от крепости, татары или убьют, или уведут в горы». И дальше — история пленения двух русских офицеров, Жилина и Костылина, и их неудачных побегов. И вот пленники ждут денег из дому — «татары» обещали



их за выкуп выпустить. Вернее, Костылин ждет, а Жилин нет — он нарочно послал письмо с неверным адресом, потому что точно знает, что у его матери денег нет.

И «татары» под пером Толстого оказываются все разными. Один относится к пленникам неплохо, а другой требует от него убить русских, а не держать их в ауле.

И Жилин, который за время плена стал «немножко понимать по-ихнему», спрашивает своего хозяина:

— Что это за старик?

Хозяин и говорит:

— Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У него было три

жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, разорили деревню и семь сыновей убили. Один сын остался и передался русским. Старик поехал и сам передался русским. Пожил у них три месяца; нашел там своего сына, сам убил его и бежал. С тех пор он бросил воевать, пошел в Мекку Богу молиться, от этого у него чалма. Кто в Мекке был, тот называется хаджи и чалму надевает. Не любит он вашего брата. Он велит тебя убить; да мне нельзя убить — я за тебя деньги заплатил; да я тебя, Иван, полюбил; я тебя не то что убить, я бы тебя и выпускать не стал, кабы слова не дал. — Смеется, сам приговаривает по-русски: «твоя, Иван, хорош, — моя, Абдул, хорош!»

А особенно полюбила Жилина дочка хозяина, девочка Дина. И однажды подошла она к его яме (а после неудачного побега их держали уже в яме), «присела на корточки, коленки выше головы торчат, свесилась, монисты висят, болтаются над ямой». Он стал бросать ей игрушки, которые наделал для нее, сидя в яме. «Не надо, — говорит. Помолчала, и посидела, и говорит:

— Иван, тебя убить хотят. — Сама себе рукой на шею показывает.

— Кто убить хочет?

— Отец, ему старики велют, а мне тебя жалко».



Вообще не знаю другого русского писателя, кто бы так, как Толстой, понимал и чувствовал Кавказ, особенные черты быта, особый склад личности горцев (а люди, всю жизнь живущие в горах, — даже разных национальностей — имеют общие черты: суровый быт их определяет).

Напомню еще раз удивительно простые слова, которыми сообщает нам Толстой — «На Кавказе тогда война была».

Написать просто — это самое трудное. И вся повесть «Кавказский пленник» написана именно так, что она понятна даже тому, кто первый раз в жизни взял книжку в руки. Толстой не смущается тем, чтоб употребить просторечный оборот (например — «шарит по нем» вместо — «по нему») — будто о том, как Россия завоевывала Северный Кавказ (сегодняшние Чечня и Дагестан) рассказывает человек не очень-то образованный.

Там воевали русские офицеры. И Толстой сумел увидеть все происходящее взглядом писателя, который одинаково хорошо понимал совсем разных людей, в том числе и людей разных наций — не только русских. Он умел чувствовать за всех и горевать обо всем сразу.

В повести дальше — очень трогательные картины. Как Костылин — «мужчина грузный, пухлый», из-за которого один раз уже не удался побег, — отказывается от второй попытки.

«Нет, — говорит, — уж мне, видно, отсюда не выйти. Куда я пойду, когда и поворотиться сил нет?»

— Ну, так прощай, не поминай лихом. — Поцеловался с Костылиным».

А Жилину помогает местная девочка Дина — тайком, конечно, от старших. Принесла длинный шест — он по нему выбрался из глубокой ямы; а Костылин так и остался в ней. Но надо же еще колодку с ноги снять — два таких тяжелых бруса, соединенных кольцами и замком. Каторжникам в России тоже надевали такие — потому их называли

долго колодниками. («Колодников звонкие цепи / Взметают дорожную пыль...» — пелось в старинной песне.)

«...Взял камень вострый, стал замок с колодки выворачивать. А замок крепкий, никак не собьет...

Прибежала Дина, взяла камень и говорит:  
— Дай, я.

Села на коленочки, начала выворачивать. Да ручонки тонкие, как прутики, ничего силы нет. Бросила камень, заплакала. Принялся опять Жилин за замок, а Дина села подле него на корточках, за плечо его держит. ...Месяц



встает. «Ну, — думает, — до месяца надо лощину пройти, до леса добраться». Поднялся, бросил камень. Хоть в колодке, да надо идти.

— Прощай, — говорит, — Динушка. Век тебя помнить буду.

Ухватила за него Дина, шарит по нем руками, ищет, куда бы ему лепешки засунуть. Как заплачет Дина, закрылась руками, побежала на гору, как козочка прыгает. Только в темноте, слышно, монисты в косе по спине побрякивают».

Что было дальше — прочитаете сами.

А потом неплохо было бы взять да и открыть томик из собрания сочинений Пушкина (не представляю, чтобы у вас дома его не было) — и, не откладывая до лучших времен («Мы этого еще не проходи-и-ли!..»), прочитать поэму Пушкина с тем же названием — «Кавказский пленник». Потому что Пушкина читать *никогда не рано*.

Тогда вы поймете, что Толстой недаром повторил название хорошо ему знакомой поэмы.

Там черкесы тоже привозят в аул схваченного ими русского офицера.

Он ждет смерти. Но полюбившая его юная черкешенка, узнав о том, что там, в России, он любит другую, — помогает ему бежать: «Найди ее, люби ее...».

Принесенной ею пилой пленник перепиливает кандалы, переплывает реку, оглядывается:

Глядит назад... берега яснили  
И опененные белели;  
Но нет черкешенки младой  
Ни у берегов, ни под горой...  
Всё мертво... на берегах уснувших  
Лишь ветра слышен легкий звук,  
И при луне в водах плеснувших  
Струистый исчезает круг.

## ПРО ТОМА СОЙЕРА И ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА

— 1 —

А теперь вновь перенесемся через Европу, через Атлантический океан — на другой материк, в Америку. Там родился человек, который впоследствии стал писателем, взяв себе псевдоним **Марк Твен**.

И кто не прочтет до 16 лет *три* из множества написанных им книг, тот потеряет так много, что мы даже не знаем, с чем это сравнить. Ну, например — *ни разу* до этого возраста не прокатиться на роликах, не выкупаться в речке или хоть в пруду, а если речь о мальчике — *ни разу* не ударить по футбольному мячу!

Первая из этих книг — «Приключения Тома Сойера». Те, кто, как я, прочли ее своевременно, на всю жизнь получили пароль — первые ее строки, которыми могут перекликаться ссообщниками-читателями и всегда получают отзыв — строки следующие. В переводе Корнея Ивановича Чуковского они почему-то запоминаются навсегда.

«— Том!

Нет ответа.

— Том!

Нет ответа.

— Куда же он запропастился, этот мальчишка?..  
Том!»





— 2 —

Марк Твен много знал про жизнь мальчишек гораздо раньше, чем стал Марком Твенном.

Сэмюел Клеменс родился в 1835 году и с четырех лет жил в большой семье на берегу огромной реки Миссисипи, которая несла свои воды из свободных штатов Севера Америки на рабовладельческий Юг. Почему, спросите вы, такая разница между Севером и Югом одной и той же страны? На Севере преобладали мелкие фермерские — то есть семейные — хозяйства, развивалась промышленность. А на Юге на огромных плантациях выращивали хлопок, табак и рис. И там придумали еще в начале XVII века врываться в Африке в поселения, захватывать целыми семьями людей, вести их через океан в цепях (по дороге часть умирала от голода, жажды, палящего солнца и болезней) — и дома обращать в рабство, заставляя работать на своих полях. Только в 1861 году — как раз в тот год, когда царь Александр II отменил крепостное право в России, — началась в Америке Гражданская война между Севером и Югом. Возглавил ее тогдашний президент



Авраам Линкольн. Через пять лет южане потерпели поражение. Чернокожих американцев объявили такими же свободными, как все остальные. И через пять дней после этого расисты, которые всегда есть в любой стране (когда человеку нечем гордиться, он хвалится цветом своей кожи или волос, разрезом глаз и прочее, а непохожих на него готов убивать), застрелили президента Линкольна. Но война за реальное равноправие шла в Америке еще очень долго, и даже в середине минувшего века полицейские в одном из штатов каждый день сопровождали маленькую темнокожую девочку в школу и дежурили все уроки, чтобы всякие подонки ее не обижали. Сегодня, замечу, в давным-давно свободной для всех одинаково Америке, потомки этих рабов, никогда в глаза не видевшие Африки, стали называть себя афро-американцами и требовать от правительства огромных компенсаций за прежнее рабство их предков. Вот как плохо обращать людей в рабов! Бумеранг возвращается тогда, когда его уже и не ждет никто.

Вернемся к семье Клеменсов, живущей в маленьком американском городке. Когда Сэмюелу было 12 лет, умер его отец. И им со старшим братом пришлось зарабатывать деньги на себя. После уроков Сэмюэл шел в типографию, где работал учеником наборщика. Иногда приходилось пропускать школу — стоять у печатного станка весь день. За работу он получал еду и одежду. А в свободное время играл в индейцев или подкладывал ужей в корзину своей тетушки...

А потом, уже в молодости, стал плавать лоцманом на пароходах по Миссисипи.

### — 3 —

В книге о приключениях Тома Сойера действует сам Том — мальчик, что называется, из хорошей семьи, и его приятель Гек — босяк, как сказали бы мы сегодня — без-



домный. Про него потом Марк Твен напишет отдельную книгу — от его лица: «Приключения Гекльберри Финна».

Том поражает прежде всего своей энергией, постоянной жаждой целеустремленных действий. Если необходимости в этом нет, он их себе придумывает. Но это не значит, что Том не любит увильнуть от работы. Наоборот, очень даже любит — если она монотонная, однообразная. И главное — если не он сам ее себе придумал, а ему велят ее сделать. Тогда Том применяет свою потрясающую изобретательность для того, чтобы от нее избавиться.

Вот поручила ему тетушка красить забор. Ну что тут интересного для такого человека? Води и води кистью по доскам. Так Том стал красить с таким азартом и удоволь-

ствиием, что к нему начали приставать приятели, чтобы он дал им тоже немножко покрасить! И он с неохотой (будто бы!) стал разрешать им это— по очереди. И за него покрасили весь забор.

«Том с упоением художника водил кистью взад и вперед, отступал на несколько шагов, чтобы полюбоваться эффектом, там и сям добавлял штришок и снова критически осматривал сделанное, а Бен следил за каждым его движением, увлекаясь все больше и больше. Наконец сказал:

— Слушай, Том, дай и мне побелить немножко!

Том задумался и, казалось, был готов согласиться, но в последнюю минуту передумал:

— Нет, нет, Бен... Все равно ничего не выйдет».

Почему же — как вы думаете?

«...Из тысячи... даже пожалуй, из двух тысяч мальчиков найдется только один, кто сумел бы выбелить его как следует.

— Да что ты? Вот никогда бы не подумал. Дай мне только попробовать... ну хоть немножечко».

Итак, первая рыбка проглотила наживку.

«К тому времени, как Бен выбился из сил, Том уже продал вторую очередь Билли Фишеру за совсем нового бумажного змея; а когда и Фишер устал, его сменил Джонни Миллер, внося в виде платы дохлую крысу на длинной веревочке, чтобы удобнее было эту крысу вертеть, — и так далее, и так далее, час за часом. К полудню Том из жалкого бедняка, каким он был утром, превратился в богача, буквально утопающего в роскоши. ...А на заборе оказалось целых три слоя известки! Если бы известка не кончилась, он разорил бы всех мальчиков этого города».

Зато вообразите, с какой физиономией вошел он к тете Полли и спросил невинным голосом: «А теперь, тетя, можно пойти поиграть?

— Как? Уже? Сколько же ты сделал?

— Все, тетя!

— Том, не лги! Я этого не выношу.

— Я не лгу, тетя. Все готово».

И он действительно не лгал.

Надо помнить, что Америка (я имею в виду США, Соединенные Штаты Америки) — страна, которую создали, построили своими руками люди, рискнувшие покинуть навсегда свой дом и страну, пересечь Атлантический океан и высадиться на совсем незнакомом материке, где у них не было ни кола ни двора. Все зависело от их рук и головы, их энергии, выносливости, воли. Поэтому в американской литературе (а потом и в кино) возник культ предприимчивых, энергичных людей, которые во всех трудных жизненных обстоятельствах надеются в первую очередь на себя. А сами при этом готовы прийти на помощь к другим. Вот такой и Том Сойер.



Именно в силу своей предприимчивости герои американских писателей, чтобы добиться своей цели, придумывают самые невероятные комбинации. Но для Марка Твена очень важно, что его герои поступают честно (все-таки заставить за себя белить забор, да еще получить за это в придачу дохлую крысу — согласитесь, довольно невинная хитрость: в результате ведь все остались довольны) — и не отказываются поспособствовать другим, когда надо.

Том с Геком убегают в пираты, переполошив весь город. Они ищут клад (а находят ли — я вам рассказывать не буду). Том с прямым риском для жизни, преодолев смертельный страх, спасает невинного человека от виселицы. А каким смелым, каким надежным товарищем оказывается Том во всех рискованных ситуациях, в которые попадает обычно по своей вине! Не зря девочка Бекки, в которую он влюблен, восхищается им. Про то, что было с ними обоими в пещерах, когда весь город их искал, вы точно будете читать с замиранием сердца.

А что это вообще такое — *милосердие*?

Знаменитый «Толковый словарь живого великорусского языка», составленный еще в позапрошлом веке Владимиром Ивановичем Далем, поясняет: «сердоболие, сочувствие, любовь на деле, готовность делать добро всякому; жалостливость, мягкосердость».

Тут важно, что имеются в виду не просто вздохи и восклицания — «Ой, как мне его жалко!», а «любовь на деле», *готовность к помощи* страдающим. Недаром в России до Октябрьской революции 1917 года называли не *медсестра*, а — *сестра милосердия*. А раненые солдаты чаще обращались — *сестричка!*

Потому что без милосердия в душе нечего и братья ухаживать за больными.

*Милосердие* — умение почувствовать боль другого человека, физическую или душевную, как свою. Вообще-то такое свойство — дар, то есть — не всякому дано.

То есть на самом-то деле *милосердие* дано любому, только у некоторых может всю жизнь находиться в спячке, где-то в самом далеком чулане сознания. И человек так и живет себе, вообще не замечая других людей, их чувств, горестей. Или думая — «Мне-то какое дело, что ему плохо! Мне от этого ни жарко ни холодно!»

Пока однажды не прохватит такого бесчувственного жаром или холодом до самых костей — и тогда он вдруг поймет, что к чему...

Буквально любой человек может не чувствовать, не чувствовать — и вдруг в один прекрасный момент очень даже почувствовать! Ему вдруг станет кого-то очень жалко и захочется помочь.

Ну и слова *милость*, *миловать* — того же корня и смысла. Недаром Пушкин, размышляя над тем, чем же

он долго будет любезен своему народу, закончил свой небольшой перечень строкой:

*...И милость к падшим призывал.*

То есть надо уметь миловать порою и тех, кто виновен, — *падших...*

———— 2 ————

Была такая замечательная детская писательница — **Валентина Осеева**. Вот кто умел просто, без нотаций и нравочений показать, что надо жалеть друг друга!

В детстве я очень любила ее маленький рассказик «Синие листья» — как у Кати было два зеленых карандаша, а у Лены — ни одного, она попросила у Кати, а та говорит — «Спрошу у мамы». А на другой день Лена спрашивает: «Позволила мама?» А Катя (просто жадина, по моему) «вздыхнула и говорит: — Мама-то позволила, да брата я не спросила».

Ну а потом, когда она все-таки дает свой карандаш, то приговаривает:

«...не чини, не нажимай крепко и в рот не бери. Да не рисуй много.

— Мне, — говорит Лена, — только листочки на деревьях нарисовать надо да травку зеленую.

— Это много, — говорит Катя, а сама брови хмурит. И лицо недовольное сделала.

Посмотрела на нее Лена и отошла. Не взяла карандаш. Удивилась Катя, побежала за ней.

— Ну что ж ты? Бери!

— Не надо, — отвечает Лена.

На уроке учитель спрашивает:

— Отчего у тебя, Леночка, листья на деревьях синие?

— Карандаша зеленого нет.

— А почему же ты у своей подружки не взяла?

Молчит Лена. А Катя покраснела и говорит:

— Я ей давала, а она не берет.

Посмотрел учитель на обеих:

— *Надо так давать, чтобы можно было взять*».

Вот эту последнюю фразу, которую я выделила курсивом, — сколько же раз в жизни я ее вспоминала!..

Но это, конечно, рассказ для младших — первоклассников, второклассников.

А есть у Осеевой два рассказа, которые мне очень нравились в 10 или 12 лет — «Рыжий кот» и «Бабка». И когда перечитываю — они мне по-прежнему нравятся.

«Как-то летом Левка, примостившись на заборе, помаhal рукой Сереже.

— Смотри-ка... рогатка у меня. Сам сделал! Бьет без промаха!

Рогатку испробовали. Мелкие камешки запрыгали по железной крыше, прошумели в кустах, ударились о карниз. Рыжий кот сорвался с дерева и с шипеньем прыгнул в окошко. Шерсть стояла дыбом на его выгнутой спине. Мальчики захохотали. Марья Павловна выглянула из окна.

— Это нехорошая игра — вы можете попасть в Мурлышку.

— Так что же — из-за вашего кота нам и поиграть нельзя? — дерзко спросил Левка.

Марья Павловна пристально посмотрела на него, взяла Мурлышку на руки, покачала головой и закрыла окно».

Ребята продолжают свое дело. Сережа целится в водосточную трубу. «Из окна Марьи Павловны со звоном посыпались стекла. Мальчики замерли. Сережа испуганно оглянулся по сторонам.

— Бежим! — шепнул Левка. — А то на нас скажут!

Утром пришел стекольщик и вставил новое стекло. А через несколько дней Марья Павловна подошла к ребятам:

— Кто из вас разбил стекло?

Сережа покраснел.



— Никто! — выскочил вперед Левка. — Само лопнуло!  
— Неправда! Разбил Сережа. И ничего не сказал своему папе... А я ждала...

— Нашли дураков! — фыркнул Левка.

— Чего это я сам на себя пойду говорить? — пробурчал Сережа».

А Марья Павловна спрашивает: «Разве ты трус?

— Я не трус! — вспыхнул Сережа. — Вы не имеете права так меня называть!

— А почему же ты не сказал? — пристально глядя на Сережу, спросила Марья Павловна.

— Отчего, да почему, да по какому случаю... — запел Левка. — Неохота разговаривать! Пошли, Сережка!

Марья Павловна посмотрела им вслед.

— Один трус, а другой грубиян, — сказала она с сожалением.

— Ну и ябедничайте! — крикнули ей ребята.

Настали неприятные дни».

Ребята уверены, что соседка все скажет родителям. И решили заранее ей отомстить. Украли ее любимого кота и всучили первой попавшейся старушке. А этого кота очень любил умерший единственный сын Марьи Павловны. Все ее жалеют, все начинают искать кота по поселку.

Про все дальнейшие происшествия вы, надеюсь, прочтете сами.

А из рассказа «Бабка» приведу только начало:

«Бабка была тучная, широкая, с мягким, певучим голосом. В старой вязаной кофте, с подоткнутой за пояс юбкой расхаживала она по комнатам, неожиданно появляясь перед глазами, как большая тень.

— Всю квартиру собой заполонила!.. — ворчал Борькин отец.

А мать робко возражала ему:

— Старый человек... Куда же ей деться?

— Зажилась на свете... — вздыхал отец. — В инвалидном доме ей место — вот где!

Все в доме, не исключая и Борьки, смотрели на бабушку как на совершенно лишнего человека».

Найдите в библиотеке оба эти рассказа В. Осеевой — не пожалеете!

— 3 —

И снова вернемся к **Марку Твену** — он того стоит.

В предыдущей главе шла речь про его повесть «Приключения Тома Сойера». А сейчас — про другую: «Принц и нищий».

Прочитав первые ее строки, вы уже точно не сможете оторваться от книжки, пока не прочитаете до конца. И в течение жизни не раз с удовольствием перечитаете, как это только что проделала я. Потому что к «взрослому» чтению присоединяется — помимо вашей воли, по какому-то психологическому закону — незабываемая радость чтения *первого*, в детстве.

«Это было в конце второй четверти шестнадцатого столетия.

В один осенний день в древнем городе Лондоне в бедной семье Кенти родился мальчик, который был ей совсем не нужен. В тот же день в богатой семье Тюдоров родился другой английский ребенок, который был нужен не только ей, но и всей Англии. Англия так давно мечтала о нем, ждала его и молила Бога о нем, что, когда он и в самом деле появился на свет, англичане чуть с ума не сошли от радости. Люди едва знакомые,



встречаясь в тот день, обнимались, целовались и плакали». Ну, еще бы — ведь у английского короля Генриха VIII (а кто хорошо учится, тот знает, что Тюдоры — одна из английских королевских династий) рождались дочери, а нужен был наследник престола, принц Уэльский (этот титул всегда носит наследник английского престола).

Заметим, что в историческом смысле народ, радуясь, оказался прав. В отличие от своего отца, жестокого правителя, отправившего на эшафот даже двух (из шести!) своих жен, в Эдуарде VI, волею судеб взошедшем на английский престол в десятилетнем возрасте, не было, как пишет самый авторитетный в конце XIX — начале XX века Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (он переиздан — всем читателям рекомендую в него заглядывать!), «высокомерия и властолюбия Тюдоров».

Конечно, Марк Твен пишет не учебник истории, а повесть. Он рассказывает, как Том Кенти (который много читал и много ухитрился узнать и понять к десяти годам своей нищей жизни) совершенно случайно оказался во дворце. Он стоял у дворцовой ограды и с восхищением смотрел на своего ровесника-принца, а солдат оттащил его прочь со словами «Знай свое место, бродяга!»

«Толпа загоготала, но маленький принц подскочил к воротам с пылающим лицом и крикнул, гневно сверкая глазами:

— Как смеешь ты обижать этого бедного отрока! Как смеешь ты грубо обращаться даже с самым последним из подданных моего отца-короля? Отвори ворота, и пусть он войдет!

Посмотрели бы вы, как преклонилась пред ним изменчивая, ветреная толпа, как обнажились все головы! Послушали бы вы, как радостно толпа закричала: “Да здравствует принц Уэльский!”»

А дальше произошло то, что вполне могло быть и, возможно, правда, случилось в те далекие времена.

Принц с восторгом слушал про свободную, не скованную строгим дворцовым регламентом жизнь своего ровесника.

«Летом, сэ, мы купаемся и плаваем в каналах, в реке, брызгаем друг друга водой, хватаем друг друга за шею и заставляем нырять, и кричим, и прыгаем, и...

— Я отдал бы все королевство своего отца, чтобы хоть однажды позабавиться так! Пожалуйста, рассказывай еще!»

А потом принцу захотелось надеть на время одежду Тома, а Том-то как раз давно мечтал одеться хоть на минутку как принц — ему даже снилось это! Мальчики переодеваются, встают перед зеркалом — и совершенно ошеломлены тем, что оказались похожи как две капли воды!

С этого все и начинается. Принц в лохмотьях выбегает, чтоб обругать часового, ударившего Тома, — и тут же оказывается выброшен за ограду своего же дворца: кто поверит, что этот босоногий оборвыш — принц Уэльский?



А Тома, естественно, во дворце все принимают за принца — мальчики не предусмотрели опасности их потрясающего сходства.

Начинаются мытарства и страшные приключения принца в его собственном королевстве, где никто, конечно, не верит, что он принц. А Тому приходится править! Сначала — как наследному принцу, наравне с отцом, а дальше — еще пуще...

Он видит в окно дворца «толпу мужчин, женщин и детей беднейшего сословия, которые со свистом и гиканьем бежали по дороге». По его желанию узнают и сообщают, что эта толпа следует за мужчиной, женщиной и девочкой, которых ведут на казнь. «Смерть, лютая смерть ожидает троих несчастных! В сердце Тома словно что-то оборвалось. Жалость овладела им и вытеснила все прочие чувства; он не подумал о нарушениях закона, об ущербе и муках, которые эти преступники причинили своим жертвам, он не мог думать ни о чем, кроме виселицы... От волнения он даже забыл на минуту, что он не настоящий король, а поддельный, и прежде чем он успел подумать, у него вырвалось из уст приказание:

— Привести их сюда!»

Что он делал дальше, поразив своих придворных, узнаете сами. В общем, скорее находите книжку и читайте! А то вырастете быстрее, чем успеете ею наслаждаться.

Кто любит читать про животных — получит сейчас нужные советы. Кто не любит — вот и попробуйте прочесть что-нибудь из того, о чем я здесь упоминаю. Может, вам просто не попадались интересные рассказы про животных?

...Помню, как я впервые узнала из этой книжки, что такое *иноходец*.

«Я видел табун мустангов, который ходит на водопой к источнику Антилопы. Есть там и пара жеребят. Один маленький, черненький — красавец, прирожденный иноходец. Я гнался за ним около двух миль, и он все время бежал впереди и ни разу не сбился с рыси. Я для забавы нарочно погнался лошадей, но так и не сбил его с иноходи!»

Как есть люди, которые с детства не любят и не умеют врать, так есть лошади, которые с рождения скачут не рысью, как все (перекрестный шаг — одновременно левой передней и правой задней, а затем — правой передней и левой задней), — а *иноходью*: один шаг — двумя левыми, другой — двумя правыми ногами одновременно.

В крестьянском хозяйстве такие лошади непригодны. Но *мустанг* — это дикая лошадь. И вот герой рассказа «Мустанг-иноходец» очень досаждал ковбоям, увозя за собой их домашних кобылиц. Они пытаются загнать жеребца — но им не удается ни поймать его, ни заставить перейти на галоп, на который непременно переходит лошадь при быстром беге — то есть шаг двумя передними, потом — двумя задними. Ну, все вы не раз видели галоп в кино. (Когда я, уже взрослой, стала ездить на лошади, то прочувствовала и рысь, и галоп — от него немного замирало сердце...)

Автор этого рассказа — Э. Сетон-Томпсон, канадский писатель, охотник, путешественник... Эта фамилия

звучала для меня в детстве маняще и таинственно. Все рассказы были про животных. Первая его книжка (она вышла в самом конце XIX века и сразу имела огромный успех — об этом никто раньше не писал!..) называлась довольно необычно — «Животные, которых я знал».

Особенно я любила (и, честно признаюсь, люблю до сих пор) рассказ «Королевская Аналостанка».

В третьем и пятом классе (в четвертом я не училась — подготовилась за лето, сдала осенью все предметы специально собранной комиссии и «перескочила» в пятый; и сразу не скучно стало учиться) перечитывала его в течение года два, а иногда и три раза: дожидалась момента, когда немножко подзабуду, чтобы снова было интересно, и бралась за знакомую тоненькую книжку...

И вот что удивительно — начало этого рассказа я давно знала наизусть. А все равно снова и снова с наслаждением читала знакомые первые фразы. Что-то в них, видимо, было (и есть!) притягательное.

«Мя-я-со! Мя-я-со! — пронзительно разносилось по Скримперскому переулку.

Все кошки околотка сбегались на этот призыв. А собаки отворачивались с презрительным равнодушием.

— Мя-я-со! Мя-я-со! — раздавалось все громче и громче.

Наконец появился грязный, всклокоченный человек с тачкой. Со всех сторон к нему спешили кошки... Через каждые пятьдесят шагов, как только кошек собиралось достаточно, тачка останавливалась. Человек доставал из ящика вертел, унизанный кусочками пахучей вареной печенки. Длинной палкой он поочередно спихивал эти кусочки с вертела. Каждая кошка хватала по куску, прижав уши, и, метнув злобный взгляд, с урчаньем бросалась прочь, чтобы насладиться добычей в надежном убежище.

— Мя-я-со! Мя-я-со!

Все новые и новые пансионерки прибывали за своими порциями. Все они были хорошо известны продавцу печенки. ... Вот бежит кошка, хозяин которой аккуратно

вносит свои десять центов в неделю. Зато вот та, другая, ненадежна. А вот кот Джона Уаши: этот получает кусочек поменьше, потому что Джон задерживает платеж. Разукрашенный ошейником и бантами крысолов трактирщика получает добавочную порцию в награду за щедрость хозяина... Вот доверчиво прибегает черная кошечка с белым носиком, но — увы! — ее беспощадно отталкивают. Бедняжка не понимает, что случилось. Она получала печенку в течение долгих месяцев. Почему такая жестокая перемена? Но продавец печенки хорошо знает, в чем дело: ее хозяйка перестала ему платить...

Кошки, не числящиеся в списках аристократии, дожидались на почтительном расстоянии, вдыхая упоительный аромат и надеясь на счастливую случайность. В числе этих прихлебателей находилась одна серая жительница трущоб, бездомная кошка, пробавлявшаяся чем Бог послал, тощая и грязная. Нетрудно было догадаться, что в каком-то темном закоулке ее ждет голодное семейство».

И вот эта именно бездомная кошка становится главной героиней рассказа. Ее ждет головокружительная карьера! Это напоминает историю Золушки — только кошачьей. Но в жизни Королевской Аналостанки — и взлеты, и падения...

— 2 —



Пожалуй, все или почти все другие «Рассказы о животных» Сетона-Томпсона кончаются трагически. Но зато какие замечательные, выдающиеся звери и животные действуют в них! Если бы это были люди, можно было бы сказать — какие яркие, сильные личности! Даже



Вулли... Не хочу пересказывать страшный конец истории пса, которого хозяйка разоблачила в преступлении.

«Домино. История одного черно-бурого лиса». Навсегда запомнилось, как в этом рассказе однажды отец-лис возвращается домой с добычей, и навстречу ему из норы высунулись пять черных носиков, и пять пар глазенок, блестящих, как бисер, уставились на него... И вот лис слышит лай собаки — и отважно устремляется ей навстречу, чтобы увести подальше от норы, убереечь от собаки своих деток... А в другой раз Домино (не только у домашних, но и у всех диких животных в рассказах Сетона-Томпсона есть имена — неизвестно, откуда они берутся, но автору видней) видит впервые в жизни «светло-рыжего с белыми пятнами» детеныша лани — такого маленького теленочка — и из любопытства идет за ним. «Вдруг послышался топот, и через несколько мгновений примчалась мать-лани. Шерсть у нее на хребте стояла дыбом, глаза горели злым зеленым огнем, и Домино тотчас же понял, что попал в беду». Еще одно приключение, и еще, и еще. И все — вокруг того, как самоотверженно защищают животные и звери своих детенышей, и часто — рискуя жизнью...

Но есть и истории с хорошим концом — например, про громадного оленя Песчаных холмов, которого несколько сезонов старается загнать охотник. (Кто хотел бы быть охотником — не оторвется от этого, да и других рассказов, где преследование зверя или животного — захватывающее приключение; кто не хотел бы — все равно интересно!)

И вот наконец охотник нагнал это прекрасное животное. Надо стрелять. «Олень стоял как изваяние. Он стоял и смотрел прямо в глаза Яну своими большими правдивыми глазами. Ружье дрогнуло в руке Яна. Он поднял его и снова опустил...»

И вот они стоят и смотрят в глаза друг другу. Потрясающий момент! И внутри охотника вдруг заговорил голос, обращенный, к тому, кто только что был для него

только дичью — не больше: «...Ступай, без страха броди по лесистым холмам — никогда более я не стану преследовать тебя. Чем больше я узнаю жизнь — тем ближе становишься ты мне, и я не могу смотреть на тебя как на добычу, как на лакомый кусок мяса.

Ступай спокойно, без страха.

Мы никогда с тобой не встретимся. Прощай!»

———— 3 ————

А в России про животных (и не только про них, но об этом — в следующий раз) замечательно писал **Борис Житков**. И про обезьяну (не одну), и про кошку, и про кенгуру, и про волка (так и называется — «Про волка»), и про слона — так и называется «Про слона».

Дело, конечно, происходит в Индии — там слоны издавна были первыми помощниками человека. И почти такими же ему близкими, как лошадь или собака. Ну, наверно, немного другого требует обхождения — слон все-таки.

Вот пришвартовался пароход — матросы вышли в Индии на берег. Идут по улице — все им в новинку, все интересно. «...Смотрим — навстречу слон. С ним четверо ребят — бегут рядом по дороге. Я прямо глазам не поверил... Слон нас увидел и остановился. Нам жутковато стало: больших при нем никого нет, ребята одни. А кто его знает, что у него на уме? Мотанет раз хоботом — и готово».

Да — это вам не в зоопарке. В зоопарке-то слонов много из вас видели. А тут — по улице идет себе.

«А слон, наверно, про нас так думал: идут какие-то необыкновенные, неизвестные, — кто их знает? И стал. Сейчас хобот загнул крючком, мальчишка старший стал на крюк этот, как на подножку, рукой за хобот придерживается, и слон его осторожно отправил себе на голову. Тот там уселся между ушами, как на столе. Потом слон

тем же порядком отправил еще двоих сразу, а третий был маленький, лет четырех, должно быть, — на нем только рубашонка была коротенькая, вроде лифчика. Слон ему подставляет хобот — иди, мол, садись. А он выкрутасы разные делает, хохочет, убегает. Старший кричит ему сверху, а он скачет и дразнит — не возьмешь, мол. Слон не стал ждать, опустил хобот и пошел — сделал вид, что он на его фокусы и смотреть не хочет. Идет, хоботом мерно покачивает, а мальчишка вьется около ног, кривляется. И как раз, когда он ничего не ждал, слон вдруг хоботом цап! Да так ловко! Поймал его за рубашонку сзади и подымает вверх осторожно. Тот руками, ногами, как жучок. Нет уж! Никаких тебе. Поднял слон, осторожно опустил себе на голову, а там ребята его приняли. Он там, на слоне, все еще воевать пробовал».

И вот слон с мальчишками на спине отправился к лесу.

«Остановился около дерева, взял хоботом ветку и пригнул ребятам». Они стали с нее что-то обирать. «А маленький подскакивает, старается тоже себе ухватить, возится, будто он не на слоне, а на земле стоит». А потом и вообще залез на ветку — и работает. А когда кончили работу и слон отпустил ветку — «а маленький-то, смотрим, так и полетел с веткой. Ну, думаем, пропал — полетел теперь, как пуля, в лес. Бросились мы туда. Да нет, куда там! Не пролезть через кусты: колючие, и густые, и путаные. Смотрим: слон в листьях хоботом шарит. Нащупал этого маленького — он там, видно, обезьянкой уцепился, — достал его и посадил на место».

И отправился к дому — а матросы следом: не могут оторваться, интересно ведь за ним наблюдать! А там дома хозяйка на него за что-то накричала — и отправила к колодцу. «Смотрим, слон взялся хоботом за ручку и стал вертеть; вертит как будто пустую, вытащил — целая бадья там на веревке, ведер десять. Слон уперся корнем хобота в ручку, чтоб не вертелась, изогнул хобот, подцепил бадью и, как кружку с водой, поставил на борт колодца. Хозяйка опять его начала ругать. Слон пустил бадью

в колодец, тряхнул ушами и пошел прочь — не стал воду больше доставать, пошел под навес».

Тут как раз и хозяин появился.

Матросы стали у него спрашивать (по-английски, конечно, — он немного знал язык):

«— Чего это слон не выходит?»

— А это он, — говорит, — обиделся, и, значит, не зря. Теперь нипочем работать не станет, пока не отойдет».

А тут слон вышел из-под навеса, пошел к калитке — «и прочь со двора. Думаем, теперь совсем уйдет». А хозяин только смеется.

«Слон пошел к дереву, оперся боком и ну тереться. Дерево здоровое — прямо все ходуном ходит. Это он чешется так вот, как свинья об забор».

Русские моряки восхищаются: об столбики в сарае не чешется, чтобы не развалить, а ходит чесаться к дереву!

Говорят хозяину:

«Какой он у тебя умный!»

А он хохочет.

— Ну, — говорит, — если бы я полтора ста лет прожил, не тому еще выучился бы».

Слон-то, оказывается, еще его деда нянчил.

Еще рассказано, как слоны на речке мыли своего слоненка. Очень забавно!



Но особенно я любила в детстве (тоже перечитывала не раз!) рассказ Житкова «Мангуста». Там описано, как храбрый мангуста борется с большой змеей. А именно этим они и знамениты, что — не боятся змей, а отважно на них нападают.

С человеком же, оказывается, ведут себя довольно мило. Вот один купил на Цейлоне двух мангуст в клетке и «решил сам узнать, кусаются мангусты или нет. Я просунул палец через прутья клетки. И просунуть-то не успел, как уж слышу — готово: мой палец схватили. Схватили маленькие лапки, цепкие, с коготками. Быстро-быстро кусает меня мангуста за палец. Но совсем не больно — это она нарочно, так — играет. А другая забилась в угол клетки и глядит искоса черным блестящим глазом.

Мне скорей захотелось взять на руки, погладить эту, что кусает для шутки. И только я приоткрыл клетку, как эта самая мангуста — юрк! — и уже побежала по каюте. Она суетилась, бегала по полу, все нюхала и крякала: кррык! кррык! — как будто ворона. Я хотел ее поймать, нагнулся, протянул руку, и вмиг мангуста мелькнула мимо моей руки и уже в рукаве. Я поднял руку — и готово: мангуста уже за пазухой.

Она выглянула из-за пазухи, крякнула весело и снова спряталась. И вот слышу — она уже под мышкой, пробирается в другой рукав и выскочила из другого рукава на волю. Я хотел ее погладить и только поднес руку, как вдруг мангуста подскочила вверх сразу на всех четырех лапах, как будто под каждой лапой пружинка. Я даже руку отдернул, как от выстрела».

Так что это за зверек? Как он выглядит-то? Вот возьмите книжку Б. Житкова — и все там узнаете.



## ПРО ЧЕСТЬ И МУЖЕСТВО

### 1

Про эти замечательные человеческие качества, ради которых люди, ими наделенные, готовы жертвовать решительно всем, особенно охотно писали в первой половине XIX века — в эпоху *романтизма*.

Французский писатель **Проспер Мери́ме**, современник Пушкина (но надолго переживший его — он умер в 1870 году), был тесно связан с русской литературой: он переводил Пушкина, а Пушкин — его. Самая известная новелла Мери́ме — «Кармен», на сюжет которой написана знаменитая опера Ж. Бизе, а в конце XX века снят замечательный фильм К. Сауры.

Но вам, к которым я обращаюсь, стоит в первую очередь прочитать маленькую новеллу «Маттео Фальконе».



На меня в 12 лет она произвела сильнейшее впечатление; с тех пор я не раз ее перечитывала.

Дело происходит на острове Корсика (откуда, кстати сказать, был родом Наполеон), герой новеллы — храбрый корсиканец. Рассказывают, что он довольно круто разделался со своим соперником: «по крайней мере, Маттео приписывали выстрел, поразивший этого соперника, когда тот брился перед зеркальцем, висевшим у окна. Когда это дело забылось, Маттео женился. Его жена Джузеппа подарила ему сначала одну за другой трех дочерей (что приводило его в бешенство), и, наконец, родила сына, которого он назвал Фортунато, — надежду семьи и наследника имени». Вот эти слова про «наследника имени», то есть — *честного* имени, — будут особенно важны для трагического сюжета новеллы. В центре ее — отец и его единственный сын, которому «едва минуло десять лет, но он уже обещал многое». Больше не прибавлю ни слова, но обещаю вам, что, начав читать эту короткую (в ней



всего 12 с половиной страниц) новеллу, вы не оторветесь от нее, пока не дочитаете.

А после этого советую прочитать новеллу «Таманго» — совсем про другое, но главное — также про сильные страсти, владеющие сильными людьми.

— 2 —

Я считаю, что у русского писателя Бориса Житкова (который писал не только про животных, но и про людей) есть по крайней мере одна новелла, не менее сильная, чем новеллы Мериме. И к тому же она — тоже про итальянцев, как «Маттео Фальконе».



Есть у него такие «Морские истории», и среди них — рассказ «Механик Салерно». Начинается он, как обычно у Житкова, очень простыми фразами. И сразу — по сути дела:

«Итальянский пароход шел в Америку. Семь дней он плыл среди океана, семь дней оставалось ходу. Он был в самой середине океана. В этом месте тихо и жарко.

И вот что случилось в полночь на восьмые сутки».

Прямо сразу доставайте сборник рассказов Б. Житкова и читайте о том, что случилось. И другие «Морские истории» — тоже очень интересные. Острые приключения, с риском для жизни. Вообще-то писать он начал в 40 лет — и сразу отлично. Такие истории Житков хорошо знал, а в некоторых сам участвовал. Он вырос в порту, дяди у него были адмиралами, а сам он, закончив кораблестроительное отделение (это у него было второе высшее образование), получил чин мичмана. Море он знал с детства, и учил гребле **Корнея Чуковского** — когда оба были одесскими гимназистами.

Чуковский писал не только замечательные стихи для детей («Муха-Цокотуха», «Тараканище», «Мойдодыр», «Айболит» — все их знают с трех-четырёх лет, я очень удивлюсь, если кто-то не сможет процитировать наизусть), а и много другого. Есть у него, например, мемуарный очерк «Борис Житков», и читать его не менее интересно, чем приключенческие повести.

Чуковский вспоминает: «Требовательность его не имела границ. Когда у меня срывалось весло, он смотрел на меня с такой безмерной гадливостью, что я чувствовал себя негодяем. Он требовал бесперебойной, квалифицированной, отчетливой гребли, я же первое время так сумбурно и неуможно орудовал тяжелыми веслами, что он то и дело с возмущением кричал:

— Перед берегом стыдно!

И хотя на берегу в такой холод не было ни одного человека, мне казалось, что все побережье, от гавани до Малого Фонтана, усеяно сотнями зрителей, которые затем и пришли, чтобы поиздеваться над моей неумелостью».

Мальчишками им «случалось бывать в море по семи, по восьми часов, порою и больше...» — мать Чуковского, раньше никогда не решавшаяся отпускать его к морю, теперь не возражала — «так магически действовало на нее имя Житков». Однажды они попали в шторм:

«Мы гребли из последних сил; все свое спасение мы видели в том, чтобы добраться до гавани прежде, чем нас ударит о камни.



Это оказалось невозможным, и вот нас подняло так высоко, что мы на мгновение увидели море по ту сторону мола, потом бросило вниз, как с пятиэтажного дома, потом обдало огромным водопадом, потом с бешеной силой стало бить нашу лодку о мол то кормою, то носом, то бортом.

Я пробовал было отпихнуться от волнореза веслом, но оно тотчас сломалось. Я одеревенел от отчаяния и вдруг заметил или, вернее, почувствовал, что Житкова уже нет у меня за спиной. Была такая секунда, когда я был уверен, что он утонул.

Но тут я услышал его голос. Оказалось, что в тот миг, когда нас подняло вверх, Житков с изумительным присутствием духа прыгнул с лодки на мол, на его покатую, мокрую, скользкую стену, и вскарабкался на самый гребень. Оттуда он закричал мне:

— Конец!

“Конец” — по-морскому канат. Житков требовал, чтоб я кинул ему веревку, что лежала свернутой в кольцо в носу, но так как в морском лексиконе я был еще очень нетверд, я понял слово “конец” в его общем значении и завопил от предсмертной тоски».

Дальше при помощи сторожа маяка Житков все же втащил его на мол, и все кончилось благополучно. Найдите в библиотеке очерк Чуковского «Борис Житков», только начните читать — наверняка прочитаете целиком.

### — 3 —

И в детстве, и в молодости Борис Житков был человеком храбрым — и еще специально себя проверял на храбрость и даже тренировал!

В Одессе он во время событий 1905 года по несколько дней не ночует дома — в дружинах самообороны воюет с погромщиками. Что это были за дружины и кто такие погромщики?

Поясним: в Российской империи евреям разрешено было жить главным образом на Украине и в Белоруссии (эти территории входили в состав Российской империи, как и впоследствии в состав Советского Союза). В Москве, Петербурге и других крупных городах разрешалось жить из евреев только купцам 1-й гильдии и тем, кто получил диплом об окончании университета. А окончить его еврею было совсем непросто, поскольку существовала так называемая *процентная норма* — и в гимназию, и в университет принимали не более 3—4% евреев от общего числа поступающих. Изменить это положение еврей мог, приняв крещение, — тогда он получал права, равные с другими подданными императора. Но — нередко терял связи с родными, исповедующими традиционную религию этого народа — иудаизм. Трагическая черта дореволюционной жизни — погромы: агрессивные невежественные люди, привыкшие искать в ком-то другом причины своих жизненных трудностей и вообще проблем России, шли громить еврейские лавки, разорять дома, бить и убивать людей чужой веры, иных обычаев. Одни русские убивали, а другие, наоборот, прятали еврейские семьи (обычно многодетные) в своих домах и выставляли иконы в окнах, показывая, что здесь, мол, живут православные. И честные русские молодые люди присоединялись к еврейским *дружинам самообороны* — чтобы защищать женщин, стариков и детей от гибели. Иногда доходило и до настоящих боев.

Житков описал один из эпизодов такого боя в автобиографическом очерке «Храбрость», где главная тема — юношеская проверка своей храбрости, боязнь трусости. Он с детства «не столько боялся самой опасности, сколько самого страха, из-за которого столько подлости на свете делается». Размышлял над примерами храбрости: «Вот черкес — этот прямо на целое войско один с кинжалом. Ни перед чем не отступит. А товарищ мне говорит:

— А прыгнет твой черкес с пятого этажа?

— Дурак он прыгать, — говорю.

— А чего ж он не дурак на полк один идти?

Я задумался. Верно: если бы он зря не боялся, то сказать ему: а ну-ка, не боишься в голову из пистолета стрелять? Он бац! И готово. Этак давно бы ни одного черкеса живого не было». И приходит к такому выводу: «Зря на смерть не идут».

И дальше описывает, как «вот про это зря» видел наглядную картину во время еврейского погрома. «Читали, может быть, про эти времена? Но читать одно. А вот выйдешь на улицу часов в семь хотя бы вечера и видишь: идет по тротуару строем душ двадцать парней в желтых рубахах. <...> Дружина “союза русского народа”. <...> Приходит ко мне товарищ. Приглашает дать бой дружине. Днем, на улице. Я ни о чем другом тогда не подумал, только: неужто струшу? И сказал: “Идет”. Он мне дал револьвер. А за револьвер тогда, если найдут, — ой-ой! Если не расстрел, то каторга... наверняка. Уговорились где, когда. “И Левка будет”. А Левку я знал. И удивился: Левка был известен как трус... Он боялся по доске канаву перейти. Воин! <...> Мы растянулись вдоль улицы под домами. Вот и желтые рубахи. Улица сразу опустела: еврейский квартал. <...> У меня сердце работало во всю мочь: что-то будет? <...> Все равно найдут. Стрельба на улицах... Военный суд. Виселица.

Вдруг один из дружинников поднял камень — трах в окно. В тот же момент выстрелил наш вожак. Это значило — открывай огонь».

Началась стрельба. То есть — дружина самообороны против дружины погромщиков. Те «все встали на колени и стали палить из револьверов. И вдруг Левка выбегает на середину улицы и с роста бьет из своего маузера. Выстрелит, подбежит и снова. Он подбегал все ближе с каждым выстрелом, и вдруг все наши выскочили на мостовую». Погромщики бросились за угол, «Левка побежал вслед, но его догнал наш вожак и так дернул за плечо, что Левка слетел с ног. <...> Через пять минут уже взвод казаков дробно ска-

кал по мостовой. Дали с коней залп. Левку держали, чтобы он не бросился на казаков. А я только со всей силой удерживал ноги на панели, чтоб не понесли назад. А грудь — как железная решетка, через которую дует ледяной ветер».

Какое убедительное описание! Кто рядом хотя бы стоял с мигом смертельного страха — увидит, что с натуры написано. «Мы, отстреливаясь, благополучно отступили. А Левку едва вытолкали с улицы, он плакал и рвался».

И дальше Житков объясняет разницу между своим состоянием — он выстоял до конца, но испытывал сильное искушение убежать, — и Левкиным, который бросался на погромщиков, и его еле увели: «Я испытывал храбрость, а у Левки сестру бросили в пожар. Лез не зря. У него в ушах стоял крик сестры и не замолк вопль народа своего. Это стояло сзади, и на это опирался его дух».

Помню, как действовало это — в 13—14 лет, когда я впервые читала рассказ! Хотелось тоже с оружием в руках защищать людей, которых убивают только за то, что они другой национальности и веры. Отвратительна была эта жестокая несправедливость.

Так что в книгах Бориса Житкова вы найдете и увлекательный сюжет, и примеры человеческого благородства и мужества.

Писатель Александр Грин был уверен, что человек когда-то умел летать. Бесспорным доказательством этого он считал то, что все мы летаем во сне. Это — память об утраченном некогда уменье. Ему было очень печально, что это ни с чем не сравнимое паренье человек заменил самолетом. Он верил — люди снова научатся летать. И описывал тех, кто уже научился:

«Жди, я вернусь, — сказал Друд.

Он сделал внутреннее усилие, подобное глубокому вздоху, вызванному восторгом, — усилие, относительно которого никогда не смог бы точно сказать, как это удастся ему, и стал удаляться; с руками за спиной, сдвинув и укрепив на тайной опоре ноги. Лицо его было обращено к облачной стране, восходящей над зеленоватым утренним небом. Он не оглядывался». Его собеседник видел, «как уменьшалась его фигура, плывущая как бы по склону развеянного туманом холма...» («Блистающий мир»).

А те, кто еще не умеет летать, но умеет по-настоящему полюбить, — испытывают чувство, близкое к ощущению полета. Только не всякому это, наверно, дано. Грин умеет описывать тех, кому дано.

Конечно, обязательно надо прочитать всем известные «Алые паруса» — рано или поздно. На мой взгляд, — лучше всего не позже 15 лет. Но кто не успел прочитать и уже отметил свои 16 или 17 лет — все равно читайте! И поскорей! Про трогательную Ассоль, про всю эту прекрасную историю — как совсем юная девушка встретила все-таки своего принца и как вся деревня, считавшая ее дурочкой, рот открыла, когда тот и правда приплыл к ней под теми алыми парусами, о которых она все твердила, а ей никто не верил.





Но я хочу сказать про гораздо менее известные его рассказы — например, «Позорный столб» и «Сто верст по реке».

Оба они про любовь и кончаются одинаково. Чего вообще-то обычно не позволяют себе такие хорошие писатели, как Грин, но, значит, ему зачем-то было это нужно. И оба рассказа он закончил такими словами: «Они жили долго и умерли в один день».

———— 2 ————

Тут самое интересное в том, что любовь — да еще на всю жизнь! — в обоих рассказах возникает в совершенно необычных обстоятельствах. В одном человек влюбился в девушку, а Дэзи (так ее звали) была к нему (как и ко всем другим, впрочем) вполне равнодушна. Он взял да и похитил ее — увез на лошади. Понятно, что она при этом чувствовала.

Александр Грин так описывает ее: «Она была очень хорошенькая и тихая. Кто долго смотрел на нее, начинал чувствовать себя так, словно все его тело обволакивает дрожащая светлая паутинка». Потом лошадь его оступилась и сломала ногу, его настигли — через час после похищения. «...Девушку, лежащую в обмороке, оттащили к кустам. Братья Дэзи, ее отец и дядя молча били придушенного лошадью Гоана, затем, утомясь и вспотев, отошли, блестя глазами, а с земли поднялся растерзанный облик человека, отплевывая густую кровь». Вот тут, по-видимому, — Грин об этом ни слова не пишет, но мы можем об этом догадываться из дальнейшего, — нежная душа очнувшейся от обморока девушки (а Грин был глубоко уверен, что у девушки должна быть нежная душа) воспротивилась тому, что четверо так жестоко избili одного. Пусть даже он и поступил с ней так плохо.

Потом по обычаю той неведомой страны, которую так красочно описывает Грин, — ближе всего это к Амери-

ке времен ее заселения, когда люди занимали участок земли и ставили там свою палатку, — похитителя привязали к позорному столбу, «скрутив руки на другой стороне столба; в таком виде, без пищи и воды, он должен был простоять двадцать четыре часа и затем убраться подобру-поздорову куда угодно».

И вот ночь. Пленник стоит, облизывает разбитые губы, переминается с ноги на ногу. Думает — как же он простоит, весь избитый, всю ночь и еще целый день?

...И вдруг он видит прямо перед собой лицо девушки. Дэзи! (Это вообще-то любимое женское имя Грина). «И вы... посмотреть!..» А она говорит: «Мне ужасно жаль вас». И гладит его по голове.

Наутро, а не к концу дня, как предполагалось, его развязывают и отпускают. Лошадь за ним сохранили, и вот он едет — неизвестно куда, покинув свой поселок. «На повороте к горам, где за синей далью чащи шла дорога к большому портовому городу, Гоан, услышав сзади неясный шум, повернул голову, продолжая ехать и мрачно думать о будущем. Стук копыт явственнее выделился в лесном гуле». А кто нагонял его и что было дальше — узнаете из самого рассказа.

Второй рассказ — «Сто верст по реке» — начинается так: «Взрыв котла произошел ночью. Пароход немедленно повернул к берегу, где погрузился килем в песок, вдали от населенных мест. К счастью, человеческих жертв не было. Пассажиры, проволновавшиеся всю ночь и весь день в ожидании следующего парохода, который мог бы взять их и везти дальше, выходили из себя. Ни вверх, ни вниз по течению не показывалось никакого судна».

Среди застрявших неизвестно на какое время пассажиров — один, у которого есть серьезные причины торопиться. Наконец он покупает у рыбака лодку, чтобы дальше плыть на ней. Ему не хватает денег. Девушка с этого же парохода, которая очень спешит к больному отцу, дает ему недостающие деньги и просит взять

с собой. Герой — его зовут Нок, но девушке он называет другое имя, Трумвик (и это потом помогает ей его спасти...), — терпеть не может женщин: «Личность, отдельное лицо, вы ли, другая ли кто — для меня все равно, в каждой из вас я вижу, не могу не видеть, представительницу мирового зла». Но все-таки они плывут вместе. Нок рассказывает историю, после которой он и возненавидел женщин: «У меня был приятель. Он безумно полюбил одну женщину. Он верил в людей и женщин. Но эта пустая особа любила роскошь и мотовство. Она уговорила моего приятеля совершить кражу... Этот молодой человек был так уверен, что его возлюбленная тоже сошла с ума от любви, что взломал кассу патрона и деньги передал той — дьяволу в человеческом образе. И она уехала от мужа одна, а я...

Вся кровь ударила ему в голову, когда, проговорившись в запальчивости так опрометчиво, он понял, что рассказ все-таки необходимо закончить, чтобы не вызвать еще большего подозрения. <...>

— Что же, — вполголоса договорил Нок, — он попал на каторгу».

Девушка спрашивает:

«Он и теперь там?» — и говорит, что ей его жалко, но что «человек этот не виноват.

— Кто же виноват?

Нок затаил дыхание.

— Конечно, она.

— А он?

— Он сильно любил, и я бы не осудила его.

Нок смотрел на нее так пристально, что она опустила глаза.

Догадалась или не догадалась?..»

Самое интересное разворачивается в рассказе дальше, и я надеюсь, что вы найдете его и дочитаете.

...Когда я беру в руки повесть Р. Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» — мне снова кажется, что никто не написал лучше о первой любви. А может, и вообще о любви.

Там есть какая-то невидимая связь с Грином — героиня повести, Таня, чем-то напоминает мне Ассоль.

Сам автор вспоминал о том, как была написана эта книга: «Особенно мне трудно начало: написать первую фразу. Она, как мне кажется, имеет решающее значение и определяет тон всей вещи, ее ритм... Я долго раскачивался и перед тем, как начал писать “Динго”. У меня был договор на так называемую школьную повесть. Что это за школьная повесть, ясно никто себе не представлял...» В юности, в студенческие годы (учился будущий писатель в политехническом институте в Харькове) он был на практике у берегов Тихого океана. «Особенно я полюбил тунгусов, этих веселых неумолимых охотников...» (раньше *тунгусами* называли *эвенков*; сейчас их в России примерно 30 тысяч). «Там-то я наблюдал много примеров дружбы тунгусских мальчиков-подростков с русскими девочками, примеры истинного рыцарства и преданности в дружбе и любви. Там я нашел своего Фильку».

Филька — сын охотника — в повести тайно и безответно влюблен в Таню. А она, что называется, с первого взгляда полюбила Колю. Вся повесть пронизана этим сильным и мучительным Таниным чувством.

Ее отец полюбил другую женщину и ушел из семьи, когда Таня была совсем маленькая. У новой его жены — племянник Коля, который растет в их семье. И вот отец, которого Таня никогда не видела, приезжает — вернее, приплывает из Владивостока на пароходе — со своей семьей в их город. Таню все это очень волнует, она уже успела поплакать — от обиды за маму (у которой любовь к бывшему мужу так и не прошла), за себя... Она идет его

встречать — с таежными цветами, выращенными ею на грядке. Но «как в толпе она узнает отца, которого никогда в своей жизни не видала?». А тут санитары несут на носилках мальчика.

«— Что с ним? — спросила Таня.

— На пароходе заболел, малярия, — коротко ответил санитар».

Мальчик «долгим, немного воспаленным взглядом посмотрел на Танино лицо.

— Ты плакала недавно? — спросил он вдруг.

Таня закрыла цветами свой рот. Она прижала их к лицу, словно эти несчастные саранки имели когда-нибудь приятный запах. Но что может знать больной мальчик о запахе северных цветов?

— Ты плакала, — повторил он твердо.

— Что ты, что ты! Тебе кажется это, — ответила Таня, кладя к нему на носилки цветы. — Я не плакала. Это какой-то толстый мальчишка бросил мне в глаза песком.

И человек, последним сбежавший с трапа на пристань, уже никого не увидел, кроме одинокой девочки, печально поднимающейся в гору».

А мальчик — с его необычной репликой — сразу покорил эту девочку.

— 4 —

Девочки в этой повести говорят о любви — трогательно и, может быть, смешно. Но Танино чувство — все-таки очень сильное, захватывающее ее почти целиком.

«Бывают разные виды любви, — сказала толстая девочка Женя». На мой взгляд — уже немного смешно. И одновременно серьезно.

«— А ты любила когда-нибудь? — спросила Таня.

— Любила, — ответила Женя, — только это было давно, еще в третьем классе.

— Но как же ты узнала об этом?

— Очень просто. Он просит, бывало: «Женя, покажи мне задачу». А я знаю, что показывать нельзя. «Не буду», — говорю себе. Но он скажет: «Женя, я больше не буду тебя дразнить». Ну и покажешь. Ничего со своим сердцем поделать не могла. А теперь прошло. Увидела, что плохо стала заниматься, и бросила. Решила — довольно.

— Но как же ты это сделала? — с любопытством спросила Таня.

— Очень просто! Перестала смотреть на него. Не смотрю, не смотрю — и забуду».

Но Таня понимает, что этот рецепт — не для нее.

«Обе они помолчали.

— Да, это правда, — сказала Таня, — бывают разные виды любви, — и внезапно ушла, не промолвив больше ни слова».

ПРО БАРАБАНЩИКА  
И ПРО ПЕТРУШУ ГРИНЕВА В XX ВЕКЕ

— 1 —

Вы, уж наверно, читали в детстве рассказ **Аркадия Гайдара** «Чук и Гек» — книжку, конечно, для семи-восьмилетних, но которую и в старшем возрасте будешь вспоминать с удовольствием:

«Отвечайте, граждане, — отряхиваясь от снега, спросила мать, — из-за чего без меня была драка?»

— Драки не было, — отказался Чук.

— Не было, — подтвердил Гек. — Мы только хотели подражаться, да сразу раздумали.



— Очень я люблю такое раздумье, — сказала мать».

А дело-то было — кто читал, тот помнит, — в том, что почтальон без матери принес телеграмму, Чук уложил ее аккуратно в жестяную коробочку, а Гек, не зная этого, взял да и швырнул назло брату коробочку за окно, в снег. Искали-искали — и не нашли, а матери сказать побоялись. И из-за этого их легкомысленного — по младости лет — поступка вышло потом множество серьезных недоразумений.

И «Голубую чашку» вы, наверно, помните — как отец с дочерью Светланой шести с половиной лет от роду, обидившись на свою маму, отправились с подмосковной дачи в путешествие.





«Что ж, — говорю я Светлана. — С крыши нас с тобой вчера согнали. Банку из-под керосина у нас недавно отняли. За какую-то голубую чашку напрасно выругали. Разве же это хорошая жизнь?»

— Конечно, — говорит Светлана, — жизнь совсем плохая.

— А давай-ка, Светлана, надень ты свое розовое платье. Возьмем мы из-за печки мою походную сумку, положим туда твое яблоко, мой табак, спички, нож, булку и уйдем из этого дома, куда глаза глядят.

Подумала Светлана и спрашивает:

— А куда твои глаза глядят?»

Ну и так далее. Кто читал, тот помнит.

Но есть у Гайдара книжка, которую в восемь лет, может, и прочтешь с удовольствием, но все же полностью не поймешь, верней сказать — не прочувствуешь. Ее лучше бы читать в возрасте более зрелом, скажем, начиная лет с десяти — и хоть до пятидесяти. Всегда будет интересно.

## ———— 2 ————

Это — повесть «Судьба барабанщика».

Гайдар писал ее во второй половине 1930-х годов. Это было в нашей стране, наверно, самое страшное время за весь не очень веселый XX век. В эти годы не десятки, даже не сотни и не тысячи, а миллионы людей, засыпая вечером в своей постели, не знали — не последнюю ли ночь спят они в своем доме, в окружении своей семьи?..

В каждый дом ночью могли войти сотрудники НКВД (Народного Комиссариата внутренних дел) с ордером на обыск и арест. И увести с собой ни в чем решительно не повинного человека — инженера, ученого, учителя, рабочего — от его семьи навсегда (а вслед за ним часто забирали и жену — просто как жену преступника!).

Именно неповинного — ведь двадцать лет спустя практически всех арестованных в те годы реабилитировали, то

есть оправдали. А замученных или убитых в тюрьме или в советском концлагере — посмертно. Выяснилось, что многих арестовывали просто по доносу соседа или сотрудника на службе — по доносу ложному. Доносчики, спору нет, виноваты. Но в первую очередь, конечно, виновата была власть — она создала такую обстановку, что практически любой донос об «антисоветских высказываниях» человека вел безо всякой проверки к его аресту, а дальше к пыткам, концлагерю или расстрелу. И многие сводили таким образом счеты с теми, кто им в чем-то мешал. Или просто — получали комнату арестованного соседа.

Если забирали обоих родителей — детей отправляли в специальный детский дом для детей «врагов народа»: так положено было называть арестованных людей. Причем не дожидались суда, чтобы так назвать, — хотя в правовом обществе только суд может объявить человека преступником. В Советском Союзе 30-х годов человек объявлялся преступником уже в момент ареста. А того, кто сомневался в вине арестованного мужа, жены, отца, друга, могли тут же и арестовать «за компанию» — за недоверие к «органам».

Чекисты пустили тогда в ход такой «афоризм»: «У нас ошибок не бывает». Хотя всем известно, что ошибку может допустить любая судебная система.

И дети должны были называть своих арестованных родителей «врагами народа» и вслух одобрять все, что пишут про них в газетах. А в тогдашних газетах их называли «негодьями» и «бешеными собаками», которых надо беспощадно убивать. И в школе, если попадался подлый человек в должности учителя, то мог прямо при всем классе поносить арестованного отца своего ученика последними словами. Кто хотел — ему поддакивал, а сын арестованного должен был молчать. Вот теперь и попытайтесь представить себе состояние, настроение этих несчастных детей.

Многие из них никак не хотели в детдом — ведь они привыкли жить у себя дома. Они скрывались от милиции,

становились беспризорниками, скитались по стране, боясь буквально всех и каждого: любой милиционер мог их схватить. Гайдар, уже понявший, что творится что-то ужасное и несправедливое, очень жалел детей, у которых государство отняло семью. Многих он знал лично и помогал им.

Была такая очень симпатичная книжка «Приключения Травки» — про маленького мальчика Травку, потерявшегося в Москве. Автором ее был писатель **Сергей Розанов**.

Много лет спустя выросший Травка — Адриан Сергеевич, сын писателя, — вспоминал, как в конце 30-х годов был с Гайдаром в лесу, на рыбной ловле. У этого мальчика тогда совсем недавно арестовали как «врагов народа» и маму, и отчима; арестован был и знакомый семьи, глава всех тогдашних комсомольцев А. В. Косарев. И вот, когда все уснули, Гайдар «вдруг спрашивает меня, мальчишку:

— Слушай, ты веришь, что Косарев — сволочь?..

— Не знаю.

— А что Наташа — сволочь, ты веришь?

Это об арестованной моей матери, вчерашней руководительнице Центрального детского театра.

— Я не понимаю...

— Ты не знаешь, не понимаешь, а я не верю, — лицо Гайдара искажено болью».

Он не верил в вину ни этих людей, ни первой своей жены, матери его сына Тимура, которая тоже была арестована, и Гайдар ходил по краю пропасти, добываясь лично у всесильного «карлика» Ежова (он ведал тогда «органами») ее освобождения.

Родители Травки были тогда в разводе; но после ареста его матери и отчима писатель Сергей Розанов взял сына в свою новую семью — и уже сам ждал ареста: помогать детям «врагов народа» не полагалось, даже если это был твой сын... И мальчик запомнил, как в 1938 году Гайдар читал еще не напечатанную «Судьбу барабанщика» его отцу. «Книга напомнила о том, что в стране тысячи и ты-

сячи детей остаются без родителей...» — то есть о том, о чем писать было нельзя: советская власть не разрешала ни вслух, ни тем более в книжках выражать сочувствие детям «врагов народа». Сталин лицемерно заявил в одном выступлении: «Сын за отца не отвечает». А сам действовал точно наоборот.

Гайдар задумывал написать именно про такой случай — отца мальчика арестовывают по доносу.

Но нельзя было печатать про это.

Как же автор вышел из положения?

Он заменил причину ареста — но все остальное, всю мучительную, тревожную атмосферу повести оставил без изменения.

### ———— 3 ————

На первых же страницах узнаем, что отец мальчика — героя книжки — оказался в тюрьме за растрату казенных денег. А растратил он их главным образом под непрерывным давлением своей любящей роскошь жены Валентины — мачехи героя повести Сергея. Приговор был — пять лет.

«Прощай! — думал я об отце. — Сейчас мне двенадцать, через пять лет — будет семнадцать, детство пройдет, и в мальчишеские годы мы с тобой больше не встретимся.

Помнишь, как в глухом лесу куковала кукушка и ты научил меня находить в небе голубую Полярную звезду? А потом мы шагали на огонек в школе и дружно распевали твои простые солдатские песни.

...Прощай! — засыпал я. — Бьют барабаны марш-поход. Каждому отряду своя дорога, свой позор и своя слава. Вот мы и разошлись. Топот смолк, и в поле пусто.

Так в полудреме прощался я с отцом горько и крепко, потому что — зачем врать? — был он мне старшим другом, частенько выручал из беды и пел хорошие песни,

от которых земля казалась до грусти широкой, а на этой земле мы были людьми самыми дружными и счастливыми.

Утром я проснулся и пошел в школу. И когда теперь меня спрашивали, что с отцом, я отвечал, что сидит за обман и за воровство. Отвечал сухо, прямо, без слез. Потому что два раза подряд искренне с человеком прощаться нельзя!»

Через два года мачеха вышла замуж и, оставив Сергею денег на жизнь, «укатила с мужем на Кавказ».

...Есть такой рассказ у английского фантаста Г. Уэлса, где два путника идут по дороге навстречу друг другу, но в разное время — один в латах римлянина, а другой — в современном костюме. И этот современный человек видит сразу и свое время и сквозь него — далекое прошлое. Так и в этой повести Гайдара рисуется один мир, вернее, туманная, несколько принаряженная картина этого мира, а сквозь него проглядывает или, скорее, подает неясные сигналы другой — реальный и страшный, но который не позволено властью описывать прямо, как он есть.

Сергей читает книжку о мальчике-барabanщике, которого заподозрили в измене, а его смелые поступки (он подавал сигналы о помощи своему отряду) присвоил себе толстый и трусливый музыкант. «Ярость и негодование охватили меня при чтении этих строк, и слезы затуманили мне глаза... Это я... то есть это он, смелый, хороший мальчик, который крепко любил свою родину, опозоренный, одинокий, всеми покинутый, с опасностью для жизни подавал тревожные сигналы».

Живет Сергей летом один в квартире, и становится ему все тоскливей и тоскливей. Какие-то полузнакомые ребята (парень со двора Юрка, «прохвост и выжига», представляет их ему так: «Знакомься... Огонь-ребята и все, как на подбор, отличники») угощают его пивом. «Стало весело. Я смеялся и все кругом смеялись тоже». Как попал домой — уже не помнил.

«Очнулся я уже у себя в кровати. Была ночь. Свет от огромного фонаря, что стоял у нас во дворе, против метростроевской шахты, бил мне прямо в глаза.

Пошатываясь, я встал, подошел к крану, напился...

И опять, как когда-то раньше, непонятная тревога впорхнула в комнату, легко зашуршала крыльями, осторожно присела у моего изголовья и, в тон маятнику от часов, стала меня баюкать:

Ай-ай!

Ти-ше!

Слы-шишь?

Ти-ше!»



А потом появляется в его незапертой квартире веселый незнакомый человек и объясняет — «Так знай же, что я не вор и не разбойник, а родной брат Валентины, следовательно — твой дядя. А так как, насколько мне известно, Валентина вышла замуж и твоего отца бросила, то, следовательно, я твой бывший дядя. Это будет совершенно правильно».

Тут-то и начинают разворачиваться удивительные события и приключения Сергея — со стрельбой в финале.

Но сначала все усиливается замечательно описанная Гайдаром беспричинная, в сущности, тревога, которая преследует его героя. Тревога и страх. Именно те чувства, которые преобладают в самом воздухе тех лет. Боятся почти все — за себя и за близких. Боятся не родные уголовников — этих-то преступников власть считает *социально близкими*. А только те, у кого кто-то из родственников осужден за преступления *политические*. То есть ни за что — за инакомыслие, которое в сегодняшней России, как и в других нетоталитарных странах, не считается преступлением.

Растрата отца Сергея тоже относится «всего лишь» к уголовным преступлениям. И его сыну бояться в общем-то нечего. А он боится. Так пытался писатель передать своим читателям-подросткам, что он знает про их беду, что он — с ними, он сочувствует им...

«Крупные слезы катились по моим горячим щекам, горло вздрагивало, и я крепко держался за водосточную трубу.

— Так будь же все проклято! — гневно вскричал я и ударил носком по серой каменной стене. — Будь ты проклята, — бормотал я, — такая жизнь, когда человек должен всего бояться, как кролик, как заяц, как серая трусливая мышь! Я не хочу так!..»

Всего через несколько лет вы будете — надеюсь! — читать Достоевского.

А кто-то, возможно, уже видел телесериал по его роману «Идиот» с прекрасной игрой наших замечательных актеров — Инны Чуриковой, Евгения Миронова, Владимира Ильина и других. Но надо помнить — это, наверно, помогает чтению романа, но ни в коем случае его не заменяет. Ведь в фильме вы слышите голоса героев, их разговоры, но не слышите главного — голоса самого писателя! Рассказ Достоевского о своих героях, его особенный слог, который ни с чем не спутаешь, — его вы найдете только на страницах его романов.

Достоевский мечтал изобразить прекрасного человека. «Труднее этого нет ничего на свете и особенно теперь, — признавался он в одном из писем. — Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только ни брался за изображение *положительно* прекрасного, — всегда пасовал. Потому что эта задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал — ни наш, ни цивилизованной Европы — еще далеко не выработался».

Он попробовал это сделать в герое «Идиота» — князе Мышкине. У князя нет ни к кому злобы. Он готов помочь любому. Своими удобствами, своей выгодой он совершенно не озабочен. А вокруг него люди или заняты поисками этой выгоды, или, если даже равнодушны к выгоде, то агрессивны, ничего не прощают другим. Но многие из них все равно восхищаются князем, симпатизируют ему. Оказывается, пример добросердечия многих очаровывает. Добро — обаятельно. Но князь — болен. Ему не по силам, собственно, та ноша помощи людям, которую он на себя взвалил. Его отчаянное стремление сделать так, чтобы всем, решительно всем было хорошо, завершается в конце концов трагедией.

Достоевский написал свой роман в 1868 году. Думал ли он, что через 70 лет другой русский писатель попро-



бует воплотить этот намеченный им замысел — «изобразить положительно прекрасного человека»?..

— 6 —

Сначала читатель встречается с этим героем заочно — тринадцатилетняя Женя, переночевав в неведомом доме недалеко от своей дачи, читает наутро записку, написанную кем-то, совсем не похожим на тех людей, которых она встречала до сих пор. Человеком, который ведет себя каким-то непривычным для нее образом.

«Девочка, когда будешь уходить, захлопни крепче дверь». Ниже стояла подпись «Тимур».

В этой записке — полное доверие к незнакомой ему девочке, которая случайно оказалась на его даче (она зашла в пустой дом — а большая собака ее не выпустила; она легла в горе на диван — и проспала всю ночь...).

Но этого мало. Получилось так, что в панике покидая этот дом (почему в панике — я вам рассказывать не буду, а то неинтересно будет читать), она оставляет там ключ от своей московской квартиры и текст телеграммы, которую старшая сестра просила отправить отцу.

И вот в тот самый момент, когда она — уже на своей даче — начинает признаваться старшей сестре во всех своих прегрешениях, вдруг у нее в руках появляется (как именно — я тоже рассказывать не буду) забытый ею в чужом доме ключ от московской квартиры, квитанция на отправленную телеграмму (которую сама она отправить не успела) и новая записка!

А в ней — угаданное до тонкостей ее состояние и вся ее ситуация: «Девочка, никого дома не бойся. Все в порядке, и никто от меня ничего не узнает»; и снова подпись — «Тимур».

Наивная Женька, пораженная этой загадочной добротой, неожиданным присутствием в своей жизни кого-то,

кто ее теперь опекает, «потрогала лежащую в кармане записку и спросила:

— Оля, бог есть?

— Нет, — ответила Ольга и подставила голову под умывальник.

— А кто есть?

— Отстань! — с досадой ответила Ольга. — *Никого нет*».

(А тот из вас, кто, опередив ровесников, уже успел прочитать роман Булгакова «Мастер и Маргарита», — про него у нас еще пойдет речь особо, — обязательно вспомнит знаменитую сцену на Патриарших прудах, открывающую роман. И — вопросы Воланда Берлиозу и Ивану Бездомному: «Вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете? ...Я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще и не верите в Бога? ...Клянусь, я никому не скажу.

— В нашей стране атеизм никого не удивляет, — дипломатически вежливо сказал Берлиоз, — большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге. <...>

— А дьявола тоже нет?»

И когда Иванушка кричит: «Нет никакого дьявола!», — следует знаменитая реплика «профессора», таинственным образом будто отвечающая на реплику Ольги в совсем другом произведении... Оно писалось одновременно с романом, но Булгакову уж точно не было известно: «*Что же это у вас, чего нихватишься, ничего нет!*»

...А уж о том, что Булгаков в Мастере тоже стремится изобразить необычного и «положительно прекрасного» человека — и говорить нечего.)

Но Женька не унимается.

«Женя помолчала и опять спросила:

— Оля, а кто такой Тимур?

— Это не бог, это один царь такой, — намыливая себе лицо и руки, неохотно ответила Ольга, — злой, хромой, из средней истории.

— А если не царь, не злой и не из средней, тогда кто?

— Тогда не знаю. Отстань! И на что это тебе Тимур дался?

— А на то, что, мне кажется, я очень люблю этого человека.

— Кого? — И Ольга недоуменно подняла покрытое мыльной пеной лицо».

Ну и так далее. Почитайте.

— 7 —

«А в комнате той самой дачи, где ночевала Женя, стоял высокий темноволосый мальчуган лет тринадцати». Там происходит другой разговор. Загримированный под старика (он готовится к выступлению) дядя таинственного Тимура, Георгий Гараев, держит в руках обнаруженную им записку.

«Девочка, когда будешь уходить, захлопни крепче дверь», — насмешливо прочел старик. — Итак, может





быть, ты мне все-таки скажешь, кто ночевал у нас сегодня на диване?»

Тимур отвечает «неохотно»: «Одна знакомая девочка».

«Если бы она была знакомая, то здесь, в записке, ты назвал бы ее по имени.

— Когда я писал, то я не знал. А теперь я ее знаю.

— Не знал. И ты оставил ее утром одну... в квартире? Ты, друг мой, болен, и тебя надо отправить в сумасшедший». (Напомню, что князь Мышкин-то как раз едет в Россию, можно сказать, из сумасшедшего дома — из психиатрической лечебницы...)

Поступки Тимура взрослым чем дальше, тем больше непонятны.

«— К этой девочке ты больше не лезь: тебя ее сестра не любит.

— За что?

— Не знаю. Значит, заслужил.

— Если ей что непонятно, она могла бы позвать меня, спросить. И я бы ей на все ответил.

— Хорошо. Но пока ты ей еще ничего не ответил, я запрещаю тебе подходить к их даче, и вообще если ты будешь самовольничать, то я тебя тотчас же отправлю домой к матери».

А эти фразы заставляют уже вспомнить шестнадцатилетнего пушкинского героя — Петра Гринева, и несправедливые против него обвинения, которые только Маша Миронова, «капитанская дочка», его невеста, сумела рассеять — как делает это в повести «Тимур и его команда» отважная и справедливая Женька.

## — 8 —

Гайдару была уже узка советская, тем более узко «пионерская» система морали. В поисках бесспорных этических ценностей он обратился к книге, которая очень хорошо была знакома каждому, кто учился в российской гимназии или в реальном училище. Эпиграфом к этой книге была поговорка «Береги честь смолоду».

Гайдар, конечно, не «списывал» с нее, а — брал пример.

Временами Тимур говорит не на языке своих современников — ровесников: «Это затея совсем пустая». Но это ему идет. «Мы с тобой знакомы. Я — Тимур», «Кто кричит? — гневно спросил Тимур».

Это близко к языку героев «Капитанской дочки».

Тимур сам, без помощи взрослых, борется с хулиганом Квакиным. Он пишет ему грамоту — стилизованную под эпоху «Капитанской дочки».



«Атаману шайки по очистке чужих садов Михаилу Квакину». Это мне, — громко объяснил Квакин. — С полным титулом, по всей форме. — «...И его, — продолжал он читать, — гнуснопрославленному помощнику Петру Пятакову, иначе именуемому просто Фигурой...» Это тебе, — с удовлетворением объяснил Квакин Фигуре. — Эк они завернули: «гнуснопрославленный»! Это уж что-то очень по-благородному, могли бы дурака назвать и по-проще».

И вдруг спрашивает у своего сподвижника:

«Слушай, это ты в сад лазил, где живет девчонка, у которой отца убили?»

— Ну, я.

— Так вот, — с досадой пробормотал Квакин. — Мне, конечно, на Тимкины знаки наплевать, и Тимку я всегда бить буду...

— Хорошо, — согласился Фигура. — А что ты мне пальцем на чертей тычешь?

— А то, — скривив губы, ответил ему Квакин, — что ты мне хоть и друг, Фигура, но никак на человека не похож ты, а скорей вот на этого толстого и поганого черта».

Это — отношение Пугачева к своим соратникам и, в противовес им, — к благородному Гриневу: «Ребята мои умничают. Они воры. ...Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку».

Тимур попадает в опалу — взрослые его несправедливо причисляют к банде (как царская власть — Гринева), считают вором. Ольга говорит:

«У тебя на шее пионерский галстук, но ты просто... негодяй.

Тимур был бледен.

— Это неправда, — сказал он. — Вы ничего не знаете».

Сочувствующий читатель-современник просто не мог не думать при чтении повести про свежие в памяти расстрелы на Лубянке тех, кого еще недавно называли самыми преданными делу революции...

За разговором Тимура с Квакиным — тени героев Пушкина, законнопопослушного сына империи Гринева и вольного атамана Пугачева.

«Ну что, комиссар? — спросил Квакин. — Вот и тебе, я вижу, бывает невесело?»

— Да, атаман, — медленно поднимая глаза, ответил Тимур. — Мне сейчас тяжело, мне невесело.

— ...Гордый, — тихо сказал Квакин. — Хочет плакать, а молчит».

Все происходит всерьез, и так и выглядит: «Пленников толкнули внутрь маленькой часовни с наглухо закрытыми ставнями. Обе двери за ними закрыли, задвинули засовы и забили деревянным клином. <...>

— Как оно теперь: по-нашему или по-вашему выйдет?

И из-за двери глухо, едва слышно донеслось:

— Нет, бродяги, теперь по-вашему уже никогда и ничего не выйдет».

Слышен отзвук знакомого с детства: «Присягай— сказал ему Пугачев — “государю Петру Федоровичу!” — Ты нам не государь, — отвечал Иван Игнатьевич, повторяя слова своего капитана. — Ты, дядюшка, вор и самозванец!»

— 9 —

Гайдар писал свою повесть в конце 30-х годов, когда жестокая советская власть призывала тысячами плакатов быть бдительными и не доверять никому. Она учила ужасному — твой отец, мать, брат, друг может оказаться врагом! И если его арестуют и объявят врагом народа — ты должен этому сразу поверить и публично, на собрании отречься от своих близких.





Сотни тысяч людей были безвинно расстреляны за два с лишним года — 1936—1938. Миллионы (вдумайтесь в эти цифры) погибли в лагерях Колымы, Магадана и других суровых по климату мест — от голода и непосильной работы по 16 часов в сутки на пятидесятиградусном морозе.

А Аркадий Гайдар упрямо и бесстрашно противопоставил всеобщему недоверию в качестве новой нормы и образца для подражания полное доверие человека человеку.

Он был в этом наследником русской классики — от Пушкина до Достоевского. Но в отличие от князя Мышкина его герой — сильный и уверенный в себе.

Увлекательную и обаятельную повесть про «положительно прекрасного» человека успеете, пожалуйста, прочитать вовремя. Не пожалеете.



## О БЛАГОРОДСТВЕ

— 1 —

Один из самых замечательных русских писателей XX века — *Михаил Михайлович Зощенко*.

Отец его был художник; из дворян. Жили они в Петербурге. Когда началась первая мировая война, Зощенко — еще не писатель, а студент юридического факультета Петербургского университета — в 1915 году отправился добровольцем на фронт.

Он так отважно воевал, что получил несколько орденов. На одном из них — ордене св. Анны 4-й степени — была надпись «За храбрость».

Друзья молодости считали Зощенко человеком биологической храбрости. В. А. Каверин, будущий автор «Двух капитанов» (об этом замечательном романе для подрост-

ков у нас когда-нибудь еще пойдет речь), рассказывал мне, как однажды шли они, несколько молодых людей, по ночному Петрограду (так переименовали в начале войны с Германией Петербург — чтобы заменить данное Петром Великим немецкое слово «бург» славянским «град»). И навстречу им кинулся человек с ножом. Все оцепенели. Один Зоценко шагнул навстречу и мгновенно обезоружил его.

———— 2 ————

Прославился Зоценко почти с самых первых своих литературных шагов. Маленькие сборники его рассказов выходили огромными тиражами. Люди раскупали их, чтобы читать в поезде, на отдыхе.

Его имя было известно решительно всем в стране. Так и говорили про какой-нибудь комический случай: «Ну, это просто Зоценко!»

А ведь тогда не было ни телевидения, ни разнообразного пиара. Зоценко достиг этой славы исключительно своим литературным талантом. И ловкие молодые люди, ухаживая за барышнями, выдавали себя за Зоценко — это имя магическим образом вело их к успеху. А потом Зоценко получал письма от этих барышень с упреками в вероломстве — «Как же так — у нас с вами на теплоходе было все так чудесно, вы обещали звонить...» А он и не был ни на каком теплоходе.

———— 3 ————

Его рассказы были настолько смешные, что сам автор, как признавался он много позже, безудержно смеялся над ними во время работы.

«Уже первые строчки смешат меня. Я смеюсь. Смеюсь все громче и громче. Наконец хохочу так, что карандаш

и блокнот падают из моих рук. ...В стену стучит сосед. Он бухгалтер. Ему завтра рано вставать. Я мешаю ему спать. Должно быть, я его разбудил. Досадно.

Я кричу:

— Извините, Петр Алексеевич...

Снова берусь за блокнот. Снова смеюсь, уже уткнувшись в подушку. ...Переписывая, я продолжаю тихонько смеяться. А завтра, когда буду читать этот рассказ в редакции, я уже смеяться не буду. Буду хмуро и даже угрюмо читать».

И как, действительно, можно не смеяться над Петюшкой Ящиковым, который попал в не очень-то приятную историю по причине... Впрочем, сейчас сами поймете, по какой причине.

Грубоватый, далеко не литературный язык рассказов близок к уровню образования и культуры этого самого Петюшки и его компании. Так, конечно, еще смешней. Отношение автора к этому языку вполне понятно.

Вот герой рассказа «Операция» размышляет — то ли сразу после работы ехать на «глазную» операцию (удалить ячмень), то ли заехать домой?

«Дело это хотя глазное и наружное, и операция, так сказать, не внутренняя, но пес их знает — как бы не приказали костюм раздеть. Медицина — дело темное. Не заскочить ли в самом деле домой — переснять нижнюю рубашку?»

Побежал Петюшка домой.

Главное — что докторша молодая. Охота было Петюшке пыль в глаза ей пустить — дескать, хотя снаружи и не особо роскошный костюм, но зато, будьте любезны, рубашечка — чистый мадеполам.

Одним словом, не хотел Петя врасплох попасть».

Приходит он в больницу. И вот доктор ему говорит: «Снимите сапоги и ложитесь на этот операционный стол.

Петюшка даже слегка растерялся.

«То есть, — думает, — прямо не предполагал, что сапоги снимать. Это же форменное происшествие. Ой-ёй, —

думает, — носочки-то у меня неинтересные. Если не сказать хуже»».

Начал Петюшка все-таки свою китель сдирать, чтоб, так сказать, уравновесить другие нижние недостатки.

Докторша говорит:

— Китель оставьте трогать. Не в гостинице. Снимите только сапоги».

Далее Петюшка так объясняет ей ситуацию:

«Прямо, — говорит, — товарищ докторша, не знал, что с ногами ложиться. Болезнь глазная, верхняя — не предполагал. Прямо, — говорит, — товарищ докторша, рубашку переменял, а другое, извиняюсь, не трогал. Вы, — говорит, — на них не обращайтесь внимания во время операции.

Докторша, утомленная высшим образованием, говорит:

— Ну, валяй скорей. Время дорого.

Так и резала ему глаз. Режет и хохочет. На ногу посмотрит и от смеха задыхается. Аж рука дрожит».

Давненько, видно, Петя не менял свои носочки.

В общем, находите сборник рассказов Зощенко и читайте дома прямо вслух. Не только вам, а всем в вашей семье будет интересно послушать.

#### — 4 —

У Зощенко немало рассказов для детей. Одни — для самых маленьких. Например — «Глупая история». Ее можно читать хоть в три, четыре, в пять лет. А там уж у кого какой вкус. Даже и в десять лет забавно, по-моему, почитать.

«Петя был не такой уж маленький мальчик. Ему было четыре года.

Но мама считала его совсем крошечным ребенком. Она кормила его с ложечки, гулять водила за ручку и по утрам сама одевала его». Вот однажды Петя проснулся,

мама «одела его и поставила на ножки около кровати. Но Петя вдруг упал». И так он падал три раза подряд, и тогда мама испугалась и позвонила папе на службу, чтоб скорей приезжал — их сын «на ножках стоять не может.

Вот папа приезжает и говорит:

— Это глупости. Наш мальчик хорошо ходит и бегаёт, и не может быть, чтоб он у нас падал.

И он моментально ставит мальчика на ковер.

Мальчик хочет пойти к своим игрушкам, но снова, в четвёртый раз, падает.

Папа говорит:

— Надо скорей позвать доктора. Наверно, наш мальчик захворал. Наверно, он вчера конфетами объелся».

Но доктор не мог понять, в чём дело, и решили звонить профессору.

«...А в этот момент к Пете в гости приходит маленький мальчик Коля.

Коля посмотрел на Петю, засмеялся и говорит:

— А я знаю, почему у вас Петя падает.

Доктор говорит:

— Смотрите, какой нашёлся учёный карапуз — он лучше меня знает, почему дети падают.

Коля говорит:

— Поглядите, как у вас Петя одет».

А дальше — самое интересное. Просите родителей взять детские рассказы Зощенко — и читайте, пока не выросли.

— 5 —

Когда же подрастёте лет до семи-восьми или до десяти-двенадцати, тоже ещё не поздно, — берите сборник его рассказов, который называется «Леля и Минька». Они автобиографичны — то есть писатель рассказывает запомнившиеся ему истории из собственного детства.

Когда он был маленький и чем-нибудь заболел, родители буквально засыпали его подарками. «А я почему-то очень часто хворал. Главным образом свинкой или ангиной.

А моя сестренка Леля почти никогда не хворала».

И вот однажды она заявила, что нечаянно проглотила бильярдный шарик. «Я держала его во рту, и он у меня через горло провалился вовнутрь».

«Леля легла на диван и стала охать». Пришли родители, мать испугалась, стала плакать, спрашивать, что она чувствует. «И Леля сказала:

— Я чувствую, как шарик катается там у меня внутри. И мне от этого щекотно и хочется какао и апельсинов».

И тут у нее из кармана передника выпадает шарик. Тогда отец, уже собравшийся бежать за врачом, догадывается пересчитать шарики. Все на месте...

«Мама сказала:

— Это ненормальная или даже сумасшедшая девочка. Иначе я не могу ничем объяснить ее нелепый поступок!

Папа нас никогда не бил, но тут он дернул Лелю за косичку и сказал:

— Объясни, что это значит!

Леля захныкала и не нашлась, что ответить».

И вот, делится с нами автор этого детского рассказа, «представьте себе дети, прошло тридцать лет!» И он припомнил это событие, стал об этом думать.

«И мне показалось, что Леля обманула родителей совсем не для того, чтобы получать подарки, которые она и без того имела. Она обманула их, видимо, для чего-то другого».

И вот он едет в Симферополь к своей сестре, напоминает историю с шариком и спрашивает, зачем она это сделала.

И Леля, у которой было уже трое детей, «покраснела и сказала:

— Когда ты был маленький, ты был такой славенький, как кукла. И тебя все любили. А я уже тогда выросла

и была нескладная девочка. И вот почему я тогда соврала, что проглотила бильярдный шарик, — я хотела, чтоб и меня так же, как тебя, все любили и жалели, хотя бы как больную.

И я ей сказал:

— Леля, я для этого приехал в Симферополь.

И я поцеловал ее и крепко обнял. И дал ей тысячу рублей.

И она заплакала от счастья, потому что она поняла мои чувства и оценила мою любовь».

Потом он дал еще деньги «на кино и конфеты» ее детям — своим племянникам. «...И сказал им:

— Глупые маленькие сычи! Я дал вам это для того, чтобы вы лучше запомнили переживаемый момент, и для того, чтобы вы знали, как вам надо в дальнейшем поступать.

На другой день я уехал из Симферополя и дорогой думал о том, что надо любить и жалеть других, хотя бы тех, которые хорошие. И надо дарить им иногда какие-нибудь подарки. И тогда у тех, кто дарит, и у тех, кто получает, становится прекрасно на душе».

———— 6 ————

Его жизнь разделилась как бы на две части. Слава и уважение сменились огромной несправедливостью, которые допустил по отношению к нему единолично и жестоко управлявший страной Сталин. Его не только совершенно перестали печатать (а в советское время для этого достаточно было отдать приказ с самого верху — и любое издательство шарахалось от такого писателя как от зачумленного), но даже отняли «хлебные карточки» — в прямом смысле слова оставили без хлеба. И многие добрые знакомые перестали узнавать его на улице — чтоб не навлечь на себя неприятности. А другие — как, например, автор «Двух капитанов» Каверин — регулярно посылали ему деньги.



Потом умер Сталин, ситуация стала полегче. Но горькое чувство в душе Михаила Михайловича осталось: он увидел многих людей с неприглядной стороны.

Свидетель разговора Самуила Яковлевича Маршака с Зощенко рассказал мне, как Маршак стал было его мягко укорять — что же Вы, Михаил Михайлович, не пришли вчера туда-то? Там были хорошие люди... И тогда оба они услышали тихий голос Михаила Михайловича: «Хорошие люди, Самуил Яковлевич, хороши в хороших ситуациях, в плохих — плохи, а в ужасных — ужасны».

А ведь он-то всю жизнь старался научить людей вести себя благородно — всегда. В любой ситуации.

Опять отправимся в Америку — в ту эпоху, когда в ней еще было рабство. А Калифорния, хотя и прошла свое время «золотой лихорадки», но оставалась краем, в котором вдруг находили золото... Она по-прежнему притягивала тех, для кого главной жизненной целью было, во-первых — разбогатеть, а во-вторых — быстро. То есть — чтобы как в сказке. Недаром это время было неиссякаемым источником для литературы *приключений*, интересной для всех решительно возрастов, — тогда и начал писать свои рассказы тот, о котором пойдет речь.

Но все-таки — чем раньше вы познакомитесь с американским писателем второй половины XIX века, мастером захватывающих новелл **Брет Гартом** — тем лучше. Потому что доберетесь ли вы до него взрослым, вернувшись домой с работы, — это еще большой вопрос.

Скажу одно — Россия зачитывалась им около ста лет — с середины XIX до середины XX века. И в последующие десятилетия этот писатель хуже не стал.

### — 1 —

А теперь представьте себе человека, который уже в одиннадцать лет публикует во вполне «взрослой» газете свою поэму! Да еще под таким вполне взрослым названием — «Осенние размышления» (для знающих английский даю название в оригинале — «Autumn Musings»). В тринадцать лет Фрэнсис Брет Гарт вынужден оставить школу и начать работать. Понятно, что в семнадцать лет (в начале 1854 года) такой юноша кинулся в Калифорнию не за несметными богатствами, а чтоб попробовать выбиться из нужды.

О том, насколько ему это удалось, он сам рассказывает — как с двумя долларами в кармане отправился на

прииски: «Там я надеялся разыскать одного старателя, с которым встречался в Сан-Франциско... Ничего не зная о нем, кроме имени, я рассчитывал, подобно брошенной девушке в одной восточной балладе, найти своего друга среди толпы золотоискателей».

Денег на дилижанс нет. Идет пешком — ему надо пройти сорок миль. А миля, как решительно всем известно, — это более полутора километров. Ему, короче говоря, надо пройти примерно 70 км. Идет — сначала в единственных ботинках. К концу первого дня стирает ноги до волдырей; дальше идет босиком. В общем, к утру третьего дня добирается до прииска. Моет распухшие ноги в ручье, надевает ботинки. В приличном виде входит в бар отеля «Магнолия» — ему сказали, что бармен укажет, как найти его знакомого. Он постеснялся просто обратиться к бармену за справкой — «нет, по глупости я заказал выпивку».

У стойки толпится множество людей — «вдруг все как один поставили свои стаканы на стойку и торопливо отступили в промежутки между колоннами. В тот же миг с улицы раздался выстрел через широко распахнутую дверь...» А в ответ — выстрел из глубины бара. «Только тут я заметил двух человек с нацеленными револьверами, которые стреляли друг в друга...».

Мы не раз видели такое в голливудских фильмах, но Брет Гарт описывает явно с натуры, по личной памяти.

Никто не пострадал. «Разбилось одно из зеркал, а в моем стакане пуля начисто срезала ободок и расплескала влагу». Все произошло так неожиданно и быстро, что он даже не успел струснуть. «Моей первейшей заботой было: как бы не выдать хотя бы словом или движением свою юность, удивление или незнакомство с такими делами. Думаю, что любой застенчивый тщеславный школьник поймет меня, — он, вероятно, чувствовал бы себя так же. Настолько сильным было это чувство, что запах порохового дыма еще не растаял у меня в ноздрях, как я уже вплотную подошел к стойке и, протягивая разбитый

стакан, обратился к бармену, быть может слишком тихо и неуверенно:

— Налейте мне, пожалуйста, другой стакан. Не моя вина, что этот разбит.

Бармен, весь красный и взволнованный, поднялся из-за стойки; он глянул на меня с подозрительной улыбкой, а затем раздались смех и проклятье. Одним махом я проглотил огневую жидкость и с побагровевшими щеками устремился к выходу. От приступа боли в стертых ногах на пороге я захромал.

Тут я почувствовал на плече чью-то руку и услышал торопливый вопрос:

— Вы не ранены, приятель?»

Тот самый человек, который смеялся, усаживает его в экипаж и отправляет на нужный ему прииск.

«Пока мы ехали, я узнал от кучера, что оба противника поссорились еще за неделю до этого и поклялись пристрелить друг друга «без предупреждения», то есть при первой же случайной встрече. Он с презрением добавил, что «стрельба была ни к черту», и я с ним согласился».

Но в конце такого путешествия героя (скорей всего — самого автора) ждал большой удар — «всего несколько дней назад Джим отказался от своей доли и уехал в Сан-Франциско!» Но вдруг новые знакомые — товарищи уехавшего — выслушав всю историю юноши, предлагают



ему — за так! — свободный пай «на пробу». То, что «могло произойти, как я думаю, только в Калифорнии, в те времена простоты и доверчивости».

Ему предлагают остаться. «В эту ночь я спал на койке отсутствующего Джима уже в качестве владельца одной четверти домика и участка, о котором я пока ничего не знал».

Проснулся он в полдень — настолько намучился накануне. А его новые товарищи и, в сущности, партнеры в нетерпении ждали его: «Завтрак готов. Им не терпится рассказать мне нечто “забавное”. Я стал героем!

Оказывается, мое поведение в “Магнолии” во время перестрелки уж обсуждалось, причем было весьма усердно преувеличено очевидцами. Последняя версия гласила, что я спокойно стоял у стойки бара и хладнокровнейшим образом требовал услуг от бармена, припавшего от страха к земле, а в это время над нами гремели выстрелы!»

Ну а дальше новые сотоварищи ему сказали, что он может пойти искать золото прямо сегодня. Что же касается того, что он никогда еще этого не делал — так это замечательно, потому что именно таким неумехам и выпадает с первого раза удача. И вот что было дальше — когда он впервые в жизни отправился мыть золото, — вы, надеюсь, захотите узнать сами. Скажу только название рассказа — «*Как я попал на прииски*». Найдете.

## — 2 —

А какой замечательный рассказ про Малыша!

«Из-за топчана стало появляться что-то похожее на огромную муфту. Наконец оно совсем вылезло...

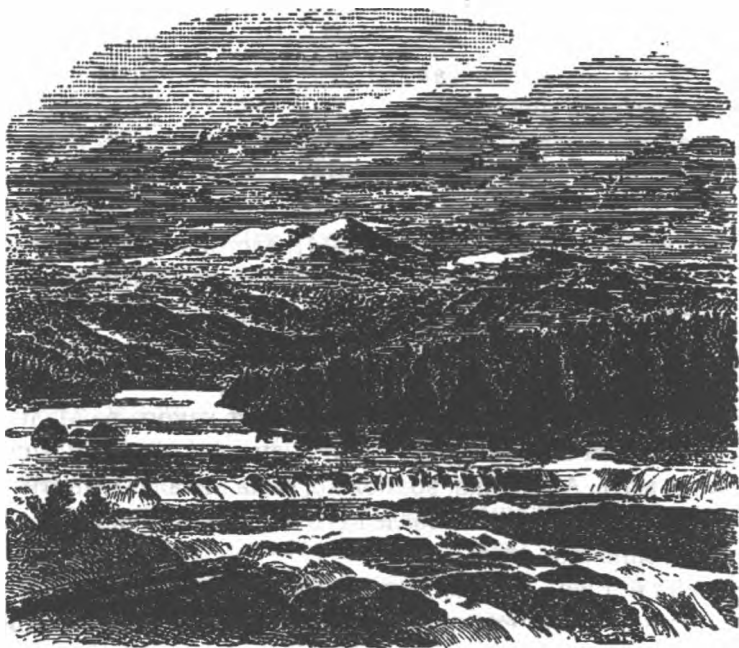
Трудно представить себе что-нибудь потешнее этого медвежонка, когда он медленно поднял на меня удивленный взгляд своих маленьких глазенок. Задние лапы у него были настолько длиннее передних, что при ходь-

бе то и дело путались и лезли вперед. Он опрокидывался, натыкаясь на свой остренький добродушный носик, и, невольно кувыркнувшись, каждый раз поднимал голову с видом полнейшего недоумения». Этого медвежонка старатели вынули из-под убитой медведицы — и забрали к себе на прииски, чтоб не погиб. «Я взял лапку и торжественно пожал ее. С этой минуты мы стали друзьями... Он был еще так мал, что почти человеческие ступни его были нежны, как у ребенка. Кроме стальных голубых коготков, наполовину скрытых в пальцах, во всем его толстеньком тельце не было ничего твердого. ...Когда рука погружалась в его шерстку, вы испытывали какое-то сладостное чувство. На него прямо нельзя было наглядеться, гладить его было очень приятно, а возиться с ним можно было без конца». И вот, навозившись и наигравшись с Малышом, на другой день человек этот уезжает. Но накануне вечером он взял со своего приятеля Дика Сильвестра (тот спрашивал про Малыша вполне серьезно — «Говорят, он похож на меня. Не находишь?») клятву — «если ему когда-нибудь придется расстаться с Малышом, медвежонок перейдет ко мне».

Тот поклясться-то поклялся, но добавил следующее: «О смерти мне думать еще рано, а кроме смерти не знаю, что может нас разлучить».

И вдруг через два месяца приходит в Сан-Франциско от Сильвестра письмо. «Фрэнк! Ты помнишь наш уговор насчет Малыша? Ну так считай, что я на ближайшие полгода умер, или отправился туда, куда медвежатам хода нет, — на Восток».

А Восток Америки — это в те времена был совсем-совсем не Запад (то есть — побережье Тихого океана). Вообще у них там все наоборот. Запад у них в то время — это как у нас сегодня Восток: наша Сибирь, Азия, так сказать. А их Восток — это как в Европе Запад: чем дальше от Смоленска и Белоруссии на Запад — тем чище улицы, воспитаннее люди. Хотя исключений и здесь и там сколько угодно — человек все-таки сам за себя отвечает, сам



себя воспитывает. И если предпочел остаться грубияном и нахалом, то нечего тут сваливать на меридиан.

И все же — недаром главную часть североамериканского побережья Атлантического океана называли тогда (да и сейчас называют) «Новая Англия». Там по улицам Бостона ходили во второй половине XIX века благовоспитанные джентльмены в белых воротничках (сейчас они, конечно, по этим улицам мчатся на красивых машинах — точно так, как у нас в крупных городах). И показаться там на улице с медвежонком, как в известной вольными нравами Калифорнии, было совершенно не с руки.

Вот почему Дик Сильвестр и спрашивал Фрэнка (а это, напомним, имя самого Брет Гарта — Фрэнсис) — сможет ли он «стать хранителем, добрым гением и опекуном такого молодого и неискушенного создания?» И пояснил между прочим: «Он выучился новым штукам.

Ребята показали ему приемы бокса. Левой он бьет недурно».

Фрэнк не раздумывал долго — тут же телеграфировал Дику о своем согласии.

И через несколько часов получил ответ: «По рукам. Малыш едет вечерним пароходом. Заменяю ему отца».

«Значит, он будет здесь в час ночи. На секунду я ужаснулся, что так поспешил». Предстояли объяснения с хозяйкой — причем срочные. «Миссис Браун прочла телеграмму с очень серьезным видом, подняла свои хорошенькие бровки ...затем холодным, отчужденным тоном спросила, надо ли понимать так, что и мать тоже едет». Логика понятная: раз посылают какого-то Малыша и просят заменить ему отца, — значит, где-то рядышком и мать. А хозяйка, возможно, сама питала симпатию к жильцу, и появление возле него еще одной женщины ее не устраивало.

«Да нет же, — воскликнул я с чувством глубокого облегчения. — Матери ведь нет в живых. Сильвестр — мой приятель, который прислал эту телеграмму, застрелил ее, когда Малышу было только три дня.

Тут миссис Браун изменилась в лице».

Представляете, да?

Понятно, что пришлось все объяснять не наспех.

И миссис Браун в конце концов даже согласилась ждать приезда Малыша до глубокой ночи. «Пробило два, три часа. Было уже около четырех, когда раздался страшный стук копыт». Отворили дверь, там стоял незнакомый человек. «Вид незнакомца производил впечатление по меньшей мере странное. Одежда его была вся изорвана, разодранная брезентовая куртка свисала с плеч, как накидка герольда, одна рука была забинтована, лицо исцарапано, всклокоченная голова непокрыта». Цепляясь за ручку двери, он «хриплым голосом заявил, что на улице для меня «кое-что есть».

Не успел он это сказать, как лошади снова рванулись.

Миссис Браун предположила, что они чем-то напуганы.



— Напуганы! — с горькой иронией засмеялся незнакомец. — Куда там! Куда там напуганы! Пока доехали, лошади четыре раза понесли. Куда там напуганы! Полный порядок. Так я говорю, Биль? Вываливались два раза, в люк сбиты один раз. Только и всего. В Стоктоне двоих в больницу положили. Только и всего. Шестьсот долларов — и все убытки покрыты.

— Вы что, хотите взять зверя сами? — спросил он, оглядывая меня с головы до ног.

Я ничего не сказал и с храбрым видом, который совсем не соответствовал моему самочувствию, подошел к повозке и позвал:

— Малыш!

— Ну, если так... Что ж... Разрежь ремни, Биль, и отходи в сторону.

Ремни разрезали, и Малыш, неумолимый, ужасный Малыш тихонько вывалился на землю, подкатился ко мне и стал тереться об меня своей глупой головой.

Провожатые онемели от удивления».

Ну а дальше — масса интересного. Найдите рассказ «Малыш Сильвестр» (это у него фамилия прежнего хозяина) и обязательно прочитайте.

### — 3 —

Но есть у Брет Гарта и рассказы трагические. Тогда — полтора года лет назад — в Америке еще вовсю проявляли себя расисты, и власти еще не умели с ними справляться. Расисты — это те, кто могут убить человека только за то, что у него кожа другого цвета или волосы жесткие — хотя сам человек, может быть, мягче, умнее и благороднее любого из них.

«Язычник Вань Ли» — рассказ о том, как у фокусника на носовом платке, расстеленном на полу и покрытом шалью, вдруг появляется под этой шалью мирно спящий неизвестно откуда взявшийся годовалый китайчонок. Он

подрастает, становится очень забавным и трогательным мальчиком с всякими смешными проделками, на груди же всегда носит фарфорового божка (он же «язычник», то есть — не христианин).

А в конце рассказа автор видит его мертвого. «Мертвого, уважаемые друзья, мертвого! Убитого на улицах Сан-Франциско в год от Рождества Христова 1869-й толпой мальчишек и учеников христианской школы, закидавших его камнями!

Благоговейно положив руку ему на грудь, я почувствовал там под шелковой блузой какие-то осколки. ... Это был фарфоровый божок Вань Ли, разбитый камнем, брошенным рукой христианского изувера!»

Как и Марк Твен, Брет Гарт не переносил расизм. И чуть не поплатился за это. В приисковом городе, где он работал в газете, местные расисты устроили массовую резню мирных индейцев. Брет Гарт, потрясенный гибелью ни в чем не виноватых людей, сумел напечатать в газете гневную статью о погромщиках. А те пригрозили ему смертью — и ему пришлось бежать из этого городка в Сан-Франциско.



В детстве — в шесть-семь лет — я очень любила одну сказку. Помню, она была в отдельной, очень тоненькой книжке, в бумажной обложке — тогда много детских книжек были не в твердых переплетах, а в «мягких» обложках; зато и стоили недорого. Ну, конечно, требовали бережного отношения. Но с книжками так и надо обращаться.

Сказка называлась «Ашик-Кериб». Я любила разглядывать обложку — на ней всадник в черной бурке мчался на белом коне над высокими, заснеженными горами, в поднебесье... У коня, кажется были крылья.

Начиналась сказка так: «Давно тому назад... (уже этот необычный оборот речи казался мне таинственным) в городе Тифлизе...» (старший брат объяснил мне, что это — Тифлис, раньше так назывался грузинский город Тбилиси) «...жил один богатый турок; много аллах ему дал золота, но дороже золота была ему единственная дочь Магуль-Мегери: хороши звезды на небеси, но за звездами живут ангелы, и они еще лучше, так и Магуль-Мегери была лучше всех девушек Тифлиза. Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб; пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца — дара песен...» Он ходил на свадьбы — играть на сазе (такая турецкая балалайка) и петь. «На одной свадьбе он увидел Магуль-Мегери, и они полюбили друг друга».

Красавица Магуль-Мегери (и это необычное, сказочное имя мне тоже очень нравилось) уговаривала Ашик-Кериба просить ее руки у отца, уверяя, что тот сыграет свадьбу на свои деньги «и наградит меня столько, что нам вдвоем достанет». Бедный, но гордый Ашик-Кериб не согласился на это — «кто знает, что после ты не будешь меня упрекать, что я ничего не имел и тебе всем обязан».



Он решил «Семь лет странствовать по свету и нажить себе богатство либо погибнуть в дальних пустынях». Магуль-Мегери поставила свое условие — «если в назначенный день он не вернется, то она сделается женою Куршудбека, который давно уж за нее сватается».

Куршудбек уже в первый же день его путешествия совершил подлость, сумев убедить мать Ашик-Кериба, что ее сын утонул. И мать, рыдая, сказала его невесте, что раз так — она свободна. Но умная (вроде Василисы Премудрой из русских сказок) Магуль-Мегери «улыбнулась и отвечала: “Не верь, это все выдумки Куршудбека; прежде истечения семи лет никто не будет моим мужем”».

И вот Ашик-Кериб так прославился в дальних странах своими песнями, что стал богатым. «Забыл он свою Магуль-Мегери или нет, не знаю, только срок истекал, последний год скоро должен был кончиться, а он и не готовился к отъезду». Но умная Магуль-Мегери сумела послать с купцом, отправлявшимся из Тифлиса с караваном в дальние страны, некий предмет, наказав выставить в каждом городе в лавке... В общем, встретился он в конце концов с Ашик-Керибом, и тот услышал: «Ступай же скорей в Тифлиз, твоя Магуль-Мегери велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в назначен-

ный день, то она выйдет за другого»; в отчаянии Ашик-Кериб схватил себя за голову: оставалось только три дни до рокового часа». И когда он доскакал до одной горы и скакун его пал — от этого места было «до Тифлиза два месяца езды, а оставалось только два дни».

Дальше и начинаются самые интересные события. Сказку эту не раз слышал на Кавказе Лермонтов — и написал ее. Найдите и дочитайте!

———— 2 ————

Вообще Лермонтов в школьные годы так и тянул на чтение вслух, разыгрывание в лицах не только «Маскарада» (к которому когда-нибудь еще обращусь специально), но и поэм. В старших классах я любила читать вслух — просто самой себе — «Тамбовскую казначейшу»:

Пускай слыву я старовером,  
Мне все равно — я даже рад:  
Пишу Онегина размером;  
Пою, друзья, на старый лад.

Да, вся поэма написана «Онегинской строфой» — ямбом с особой, только пушкинскому «роману в стихах» свойственной рифмовкой. Но Лермонтов сам об этом весело оповещает — он рад подражать Пушкину, своему кумиру.

Тамбов на карте генеральной  
Кружком означен не всегда;  
Он прежде город был опальный,  
Теперь же, право, хоть куда.  
Там есть три улицы прямые,  
И фонари, и мостовые,  
Там два трактира есть, один  
Московский, а другой Берлин.

Ну и конечно — скука: в те времена принято было, чтобы поэты в стихах непременно жаловались на скуку жизни (и не в маленьком городке, а в губернском городе Тамбове и в великосветском Петербурге):

Но скука, скука, Боже правый,  
Гостит и там, как над Невой,  
Поит вас пресною отравой,  
Ласкает черствую рукой.

Но вот все оживилось — в Тамбове должен зимовать уланский полк! Девушки и дамы только и любят посажку кавалеристов — усатых уланов и молодых корнетов, поселившихся в городской гостинице.

Против гостиницы Московской,  
Притона буйных усачей,  
Жил некто господин Бобковский,  
Губернский старый казначей.

Описывается его старый дом —

Меж двух облупленных колонн  
Держался кое-как балкон.  
.....  
Хозяин был старик угрюмый  
С огромной лысой головой.  
От юных лет с казенной суммой  
Он жил, как с собственной казной.

Только не подумайте, что был казнокрадом! Бывало, конечно, и такое, но уж не поголовно; вообще-то брали расписку — и с казначеев, и — с членов их семьи! — что не тронут казенные деньги и не будут отдавать их в рост...

В пучинах сумрачных расчета  
Блуждать была его охота,  
И потому он был игрок  
(Его единственный порок).

А жена его — молода и привлекательна:

В Тамбове не запомнят люди  
Такой высокой полной груди:  
Бела, как сахар, так нежна,  
Что жилка каждая видна.

Долго ли, коротко ли, хоть и через окно, но между нею и одним уланом назревают нежные отношения. И уже супруг застаёт его перед ней на коленях... Но вместо вызова на дуэль присылает... приглашение на игру в карты — на *вистик* (вист — это сложная карточная игра на деньги — в ней нужны обычно четыре партнера).

Идет игра. Казначею не везет.

Он взбесился  
И проиграл свой старый дом,  
И все, что в нем или при нем.

Но остановиться, естественно, не может — на то и игрок.

Он проиграл коляску, дрожки,  
Трех лошадей, два хомута,  
Всю мебель, женины сережки,  
Короче — всё, всё дочиста.

Он просит у гостей вниманья.

И просит важно позволения  
Лишь талью прометнуть одну,

Но с тем, чтоб отыграть именье,  
Иль «проиграть уж и жену».  
О страх! о ужас! о злодейство!  
И как доньне казначейство  
Еще терпеть его могло!  
Всех будто варом обожгло.  
Улан один прехладнокровно  
К нему подходит. «Очень рад, —  
Он говорит, — пускай шумят,  
Мы дело кончим полюбовно,  
Но только чур не плутовать,  
Иначе вам не сдобровать!»

Нет места для передачи всей этой сцены, описанной  
Лермонтовым, —

...И вся картина перед вами,  
Когда прибавим вдалеке  
Жену на креслах\* в уголке.

Ну, словом, казначей проиграл улану обещанное.  
И дальнейшее я с давних пор люблю в этой поэме больше  
всего:

Тогда Авдотья Николавна,  
Встав с кресел, медленно и плавно  
К столу в молчанье подошла —  
Но только цвет ее чела  
Был страшно бледен. Обомлела  
Толпа. Все ждут чего-нибудь —  
Упреков, жалоб, слез... Ничуть!  
Она на мужа посмотрела  
И бросила ему в лицо  
Свое венчалное кольцо —  
И в обморок.

---

\* Тогда это слово употреблялось во множественном числе. — М. Ч.



А вот уж что было дальше — вы прочитаете сами. Лермонтов должен быть в каждом доме. Не так уж много в России *таких* поэтов.



— 3 —

В восьмом классе — то есть в 13—14 лет — я сходила с ума (как и положено) от его любовных стихов. В моей тетрадке тех лет их выписано немало. Почему-то переписывать своей рукой волнующие строки очень хотелось. И на большой перемене у моей последней парты собиралось восемь-десять любительниц стихов, и я читала («с выражением») иногда по несколько строф из стихотворения, иногда — только одну строфу (я выписывала с разбором!..):

Я не унижусь пред тобою.  
Ни твой привет, ни твой укор  
Не властны над моей душою,  
Знай, мы чужие с этих пор!

Иногда это было длинное стихотворение, которое девочки слушали не дыша:

Я к вам пишу случайно; право,  
Не знаю как и для чего.  
Я потерял уж это право.  
И что скажу вам? — ничего!  
Что помню вас? — но, Боже правый,  
Вы это знаете давно;  
И вам, конечно, все равно.  
И знать вам также нету нужды,  
Где я? что я? в какой глуши?  
Душою мы друг другу чужды,  
Да вряд ли есть родство души.

Ах, как трогали нас, четырнадцатилетних, эти горестные и горькие строки! Через несколько лет, уже на филологическом факультете того самого Московского университета, в котором учился и Лермонтов, я узнала, что стихотворение обращено было к Вареньке Лопухиной, тогда уже Бахметевой. Четыре года после их встречи и взаимной влюбленности она ждала от Лермонтова каких-либо шагов. И, не дождавшись, вышла в двадцать лет (тогда это был едва ли не предельный возраст для *барышни на выданье*) за немолодого и, видимо, безразличного ей Бахметева. Лермонтов горевал; посвятил ей немало стихотворений, рисовал ее портреты — карандашом и акварелью. «Валерик» написан на Кавказе, куда



офицер Лермонтов был выслан, именно в том 1840 году, когда он был прямым участником боевых действий. Стихотворение написано через пять лет после замужества Лопухиной; у нее была уже трех- или четырехлетняя дочь.

И как печально-смирнен конец стихотворения (не напечатанного, заметим, при жизни поэта):

Теперь прощайте: если вас  
Мой безыскусственный рассказ  
Развеселит, займет хоть малость,  
Я буду счастлив. А не так? —  
Простите мне его как шалость  
И тихо молвите: чудак!..

Повторю — это надо читать до 16 лет! Позже уже так не взволнует.

А чем же, собственно, надеялся поэт развеселить адресатку?

В этом же стихотворении он рассказывает о жестоком бое с чеченцами у реки Валерик (с ударением на последнем слоге) — эпизоде той бесконечно долгой (семидесятилетней) войны, которую вела Россия в XIX веке на Северном Кавказе. В те школьные годы эта, серединная часть длинного стихотворения читалась девочками невнимательно (не знаю про мальчиков). Сегодня мимо нее не пройдешь.

...Вот разговор о старине  
В палатке ближней слышен мне;  
Как при Ермолове ходили  
В Чечню, в Аварию, к горам;  
Как там дрались, как мы их били,  
Как доставалось и нам...

«При Ермолове» — значит, довольно давно. Генерал А. П. Ермолов был назначен главнокомандующим на Кав-

каз в 1815 году и через три года уже приступил к своему плану покорения горских народов Северного и Центрального Кавказа — что выражено у Пушкина в двух строках «Кавказского пленника»:

Поникни снежною главой,  
Смирись, Кавказ: идет Ермолов!

А в 1827-м, то есть за 13 лет до событий, в которых участвовал (и описал их) Лермонтов, Ермолов уже уволен в отставку (видимо, Николай I припомнил ему некоторую близость к декабристам).

...Нам был обещан бой жестокий.  
Из гор Ичкерии далекой  
Уже в Чечню на братний зов  
Толпы стекались удалцов.

.....

И Казбек

Сверкал главой остроконечной.  
И с грустью тайной и сердечной  
Я думал: жалкий человек.  
Чего он хочет!.. небо ясно,  
Под небом места много всем.  
Но беспрестанно и напрасно  
Один враждует он — зачем?  
Галуб прервал мое мечтанье,  
Ударив по плечу; он был  
Кунак\* мой: я его спросил,  
Как месту этому названье?  
Он отвечал мне: Валерик,  
А перевесь на ваш язык,

---

\* Кунак — приятель; в данном случае — «свой», не воюющий с русскими чеченец. — М. Ч.

Так будет речка смерти: верно,  
Дано старинными людьми.  
— А сколько их дралось примерно  
Сегодня? — Тысяч до семи.  
— А много горцы потеряли?  
— Как знать? — зачем вы не считали?  
«Да! Будет, — кто-то тут сказал, —  
Им в память этот день кровавый!»  
Чеченец посмотрел лукаво  
И головою покачал.

Тут хочешь не хочешь, а согласишься с Белинским — он именно по поводу этого стихотворения сказал, что одна из замечательных черт таланта Лермонтова «заключалась в его мощной способности смотреть прямыми глазами на всякую истину, на всякое чувство, в его отвращении приукрашивать их».

Есть вещи, которые нужно знать, потому что нельзя не знать.

Вот идете вы с приятелями куда-нибудь — скажем, в театр, а с вами некоторое количество родителей. Образованных. Закончивших что-нибудь качественное, да к тому же гуманитарное.

И идет навстречу какая-нибудь мама со своим сыном, который в десять лет уже такой толстый, что неизвестно, что же дальше-то будет. И вот ваша, скажем, мама говорит (потихоньку, конечно — не в лицо же!) маме вашего приятеля:

— Что же она его, бедного, так раскормила? Просто Гаргантюа!

Та понимающе, сочувственно к мальчику, кивает. А вы думаете: «Ничего себе! Что это такое за гаргантюа еще?..»

Или, кто постарше, встречает в книгах слово «раблезианство», «раблезианский» — и не понимает значения. И в словарях, между прочим, не очень-то найдешь (проверено).

Хотя бы поэтому надо взять в руки и почитать роман Франсуа Рабле (по-французски пишется «Rabelais», отсюда и «раблезианский»: учитывается непроемное «с» на конце, а заодно и то, что у французов, если это «с» попадает между двумя гласными, то произносится как «з») под названием «Гаргантюа и Пантагрюэль». Тогда и станет все ясно, а заодно получите немало удовольствия.

Рабле жил и писал в первой половине XVI века, в основном на родине, во Франции, но много бывал и в Италии, в Риме. В 16 лет его постригли в монахи, но потом он сбежал из монастыря — потому что там запрещено было что-либо изучать. А он мечтал знать как можно больше, что ему и удалось. Но все-таки много лет спустя, уже выучившись, кажется, всему на свете (сам читал уже лекции в университете) и став доктором медицины, он отправился в Рим просить у Римского Папы прощения за то, что сбежал из католического монастыря. Получив прощение (и уже напечатав свои веселые сочинения), стал священником — в Медоне, совсем недалеко от Парижа. Его называли «веселый медонский священник».

В общем, берите поскорей его книжку, тем более что она недавно вышла с иллюстрациями Гюстава Доре, — он тоже француз, но только уже XIX века. Это — лучший иллюстратор и Рабле, и «Божественной комедии» Дан-



те, и «Дон Кихота» Сервантеса, и даже Библии. Без его черно-белых иллюстраций книгу Рабле просто не стоит брать в руки.

(К слову сказать, такой совет совсем не к каждому художнику и не к каждому писателю относится. Гоголя, например, я советую вам читать безо всяких иллюстраций — только мешают.)

Сначала вы почитаете про Гаргантюа. Про то, как и сколько он всего ел, что и сколько пил, какой был огромный и что творил. Непомерные плотские удовольствия, которым он предавался, и получили именование «раблезианства».

Потом пойдет речь про его сына Пантагрюэля — тоже, прямо сказать, не маленького: он высасывал по утрам молоко из 4 600 коров. Всего лишь.

А когда подросток — отправился на корабле в путешествие с друзьями и тут уж насмотрелся всего.

### — 3 —

«На третий день плавания, на рассвете, мы увидели треугольный остров, очень похожий на Сицилию. Его называли островом Родственников. На этом острове все жители были в родстве друг с другом. Удивительно было также, что они никогда не называли друг друга «мой отец», «моя дочь», «моя мать», как это всюду полагается. На острове Родственников жители носили странные клички.

— Здорово, Угорь, — приветствовал один из родственников другого родственника.

— Здорово, Морж, — отвечал тот.

— Как поживаешь, Письменный Стол? — спрашивал другой.

— Отлично, Скамейка, а как ты?..»

Старый Сапог женился на молодой красивой Ботинке, а молодой Носок на старой Туфле. И так далее.



Насмотревшись на все это, они отправились дальше, и на следующий день приплыли к острову Ябедников!..

Там люди зарабатывали на жизнь тем, что давали себя бить.

А ябедниками их называли потому, что они специально писали на людей жалобы, то есть «ябеды».

Раньше *ябедой* называли клевету, напраслину, возведенную на человека. А людей, которые этим занимались, и называли ябедниками. Вот человека затаскают по судам, изведут, он выйдет из себя и избьет ябедника палкой. А тогда его приговорят к штрафу в пользу побитого. «Ябедник после этого месяца на четыре разбогатеет и живет себе в полное удовольствие».

Узнав про такие чудные дела, один из путешественников, решив проверить, правда ли это, «вынул из кармана кошелек с червонцами и закричал громким голосом:

— Эй, кто хочет заработать золотой за хорошую потасовку?

— Я! Я! Я! — закричали ябедники. — Бейте нас, сударь, как вам угодно, только не скупитесь на денежки».

А когда выбрали одного здорового, краснорожего — то в толпе поднялся завистливый ропот. Особенно был недоволен один, высокий и худой.

«Что же это такое? — жаловался он. — Красная рожа отбивает у нас последних клиентов! Ведь из тридцати ударов двадцать восемь приходится на его долю. Опять мы останемся небитые!»

Один из путешественников все-таки отдубасил Красную Рожу, да так, что отбил себе правую руку.

«После этого он дал ябеднику золотой, и вот наш дурак вскочил как встрепанный, довольный-предовольный, что его так знатно вздули».

А другие ябедники кричат:

«Не желаете ли побить еще кого-нибудь? Мы готовы, хоть со скидкой! Выбирайте кого-нибудь еще!»

Ну, вы сами понимаете, что путешественники «поспешили на корабль и поскорее отплыли от этого отвратительного острова».

И в конце концов попали на остров Ветряный, жители которого питаются одним только ветром.

Больше ничего не пьют и не едят. Причем «простые» люди, то есть те, что победней, добывают себе пищу веерами... А богатые — ветряными мельницами. Когда у них пир — столы ставят прямо под мельничные крылья и угощаются ветром до отвала. «За обедом обыкновенно спорят, какой ветер вкуснее. Один хвалит сирокко, другой — юго-западный ветер, третий — юго-восточный и так далее».

*Для любознательных: сирокко* — это такой сильный ветер, который на юге Франции дует прямо со Средиземного моря, но несет отнюдь не морскую прохладу, а зной и мелкий-мелкий песок прямо из африканских пустынь.

Вообще в Средние века много смеялись. Большинство народа было неграмотным, книжек потому не читали, но устраивали карнавалы и потешались над всем решительно. Не зазорными считались и грубые шутки, и рассуждения о том, что называется естественными отправлениями организма. (На то это и были *Средние века* — не путать с XXI веком, где то, что прощалось в те далекие времена неграмотным людям, уже непростительно).

Потому не удивляйтесь, встречая все это в романе Рабле — он тесно связан с фольклором, с народной культурой.

А вот чему невозможно не удивляться — в то самое время, когда Рабле писал один из самых веселых романов в истории мировой литературы, в Европе был полный разгул (по-другому не хочется называть) инквизиции, то есть жесточайших наказаний за отклонение от «правильной», с точки зрения инквизиторов, веры, религии. Что такое *свобода совести* — то есть свобода исповедовать или не исповедовать ту или иную веру, — тогда не знали вовсе. Человечеству предстояло пройти

долгий путь, чтобы это узнать и включить в свои Конституции в виде отдельной статьи. А пока людей подвергали страшным пыткам и по всей Европе горели костры, на которых *по закону, по приговору* сжигали тех, кто — как показалось (чаще всего) инквизиторам — верил не так, как принято.

———— 4 ————

Прочсть перевод всего большого романа вам не по силам. Но на ваше счастье, есть замечательный сокращенный его *пересказ* — как раз для вашего возраста. Очень легкий, очень увлекательный. Короткие главки, масса событий.

Пересказал роман прекрасный русский поэт XX века **Николай Заболоцкий**. Что именно он убирал? Он сам написал об этом: «Рабле на каждой странице играет с читателем, он шутит с ним, делает тысячи намеков, играет в слова, высмеивает нечто неуловимое, позабытое, непонятное для нас, но, конечно, совершенно понятное для современников». Вот это он и убирал, ничего не разрушая при этом.

Тем более сам он, вместе со своими друзьями-поэтами, образовавшими в конце 20-х годов особую поэтическую группу и назвав ее ОБЭРИУ, был совсем не чужд веселой и в то же время серьезной словесной игры:

Меркнут знаки Зодиака  
над просторами полей,  
спит животное Собака,  
дремлет птица Воробей.

.....

Колотушка тук-тук-тук.  
Спит животное Паук.  
Спит Корова, Муха спит.  
Над землей луна висит.

Над землей большая плошка  
опрокинутой воды.  
Спит растение Картошка.  
Засыпай скорей и ты!

Через несколько лет после перевода-пересказа «Гаргантюа и Пантагрюэля», в 1938 году, Заболоцкого арестовали, уведя из дома на глазах тихо плакавшего шестилетнего сына и годовалой дочки, которая, когда отец ее поцеловал на прощанье, впервые пролепетала «папа».

К этому времени были арестованы многие его друзья (все решительно совершенно безвинно — такова была «внутренняя политика» Сталина; образцом ему служила средневековая инквизиция) и некоторые уже расстреляны, хотя об этом не сообщалось: человек просто исчезал, а его родным сообщали — «Десять лет без права переписки».

Первый же допрос поэта шел около четырех часов без перерыва. Следователи сменялись, а он сидел на стуле без пищи и сна под ослепительным светом направленной в лицо лампы. От него, как в средние века, требовали признания почти в том, что он водится с нечистой силой, — состоит членом контрреволюционной организации. Да еще добивались, чтоб назвал других членов... Через много лет поэт вспоминал эти дни в «Истории моего заключения»: «Ноги мои стали отекают, и на третьи сутки мне пришлось разорвать ботинки, так как я не мог более переносить боли в стопах... На четвертые сутки в результате нервного напряжения, голода и бессонницы я начал постепенно терять ясность рассудка. Помнится, я уже сам кричал на следователей и грозил им. Появились признаки галлюцинации: на стене и паркетном полу кабинета я видел непрерывное движение каких-то фигур». Его начали избивать. Он терял сознание, его отливали водой и снова били, уже ду-

бинками и сапогами, так что потом, как описывает сын в его биографии, «врачи удивлялись, как остались целы его внутренности». В бессознательном состоянии его уволокли в тюремную больницу судебной психиатрии. Там он провел около двух недель — сначала в буйном, потом в тихом отделении.

Потом тюрьма, советский концлагерь — в Комсомольске-на-Амуре, с лозунгом на заборе «Смерть врагам народа!». Он и был осужден как враг народа, это ему сулили смерть.

Но он выжил. Через восемь лет оказался на свободе. Написал в 1946 году прекрасные стихи, а напечатать их стало можно лишь через десять лет, уже после смерти Сталина.

«Не понять» эти стихи, по-моему, невозможно — ведь это родной, с году жизни нам известный язык, только в высшем своем цветении — в поэтических строках:

Уступи мне скворец, уголок,  
Посели меня в старом скворешнике.  
Отдаю тебе душу в залог  
За твои голубые подснежники.  
И свистит, и бормочет весна.  
По колено затоплены тополи.  
Пробуждаются клены от сна,  
Чтоб, как бабочки, листья захлопали.

И такой на полях кавардак,  
И такая ручьев околесица,  
Что попробуй, покинув чердак,  
Слома голову в рощу не броситься!

.....

А весна хороша, хороша!  
Охватило всю душу сиренями.

Поднимай же скворешню, душа,  
Над твоими садами весенними.  
Поселись на высоком шесте,  
Польхая по небу восторгами,  
Прилепись паутинкой к звезде  
Вместе с птичьими скороговорками...

И начало еще одного, моего любимого:

В этой роще березовой  
Вдалеке от страданий и бед,  
Где колеблется розовый  
Немигающий утренний свет,

Где прозрачной лавиною  
Льются листья с высоких ветвей, —  
Спой мне, иволга, песню пустынную,  
Песню жизни моей.

«В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появилось двое граждан».

Магия этой первой фразы и сегодня, спустя 46 лет после первого появления ее на печатной странице, действует безотказно. Это уж тайна писателя — почему мы, начиная с этой совсем простой, казалось бы, фразы начинаем ждать необыкновенных событий. И они не замедлят.

«Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Малой Бронной улице, не оказалось ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, — никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея». Вот у нас и начинается потихоньку захватывать дыхание — вечер-то уже назван *страшным* (а может дело в особом ритме фразы?). К тому же явно начинаешь чувствовать эту, хорошо известную москвичам, вечернюю духоту раскалившейся за день летней Москвы.

Но и не москвичам тоже становится не по себе.

Да тут еще одного из двух «граждан», появившихся на Патриарших, — Михаила Александровича Берлиоза, известного в литературных кругах редактора журнала, вообще такого, что ли, важного литературного чиновника — неожиданно «охватил необоснованный, но столь сильный страх, что ему захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки». А что его так напугало — он сам не понимает. Но испуг не проходит, а нарастает. Тем более — вдруг «знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский кар-

тузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок... Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прощу заметить, глумливая.

Жизнь Берлиоза складывалась таким образом, что к необыкновенным явлениям он не привык. Еще более побледнев, он вытаращил глаза и в смятении подумал: «Этого не может быть!..»

Но это, увы, было, и длинный, сквозь которого видно, гражданин, не касаясь земли, качался перед ним и влево и вправо.

Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза».

И как, повторим, не ужаснуться, если вдруг перед тобой — человек выше двух метров роста (сажень).

Да еще неимоверно худой и насквозь просвечивающий! Любой испугается.

«...А когда он их открыл, увидел, что все кончилось, марево растворилось, клетчатый исчез...»

Да, все кончилось, но только не для Берлиоза. Для него все только начиналось.

Потому что в разгар беседы Берлиоза со своим спутником — молодым поэтом Иваном Бездомным — «в аллее показался первый человек».

## — 2 —

Внимательный читатель немного удивится: что это за фамилия такая — Бездомный?

Это, конечно, не фамилия, а литературный псевдоним. Еще до революции 1917 года некоторые писатели, которые хотели заявить себя близкими к революционерам, защитниками «угнетенных» — рабочих и крестьян, как бы готовыми разделить с ними их нищету, их, как тогда говорили, «горькую долю», брали себе «говорящие» псевдонимы: *Демьян Бедный* (настоящее имя Ефим Придворов), *Максим Горький* (Алексей Пешков).



А в конце 20-х годов XX века, когда начал писать свой роман **Михаил Булгаков**, таких литературных псевдонимов было полно. Потому что советская власть, установившаяся в России в начале 20-х, после победы в гражданской войне Красной армии над Белой, всячески поощряла бедных и малообразованных, внушая им, что сама их бедность — уже замечательное качество. Богатые же, сколько бы пользы не принесли они ранее своей стране, ничёго, кроме тюрьмы и пули, не заслуживают. А кто читал повесть Булгакова «Собачье сердце» или хотя бы смотрел замечательный фильм по ней, знает, как относился Булгаков к тем, кто заявлял себя «трудовым элементом» безо всяких на то оснований.

Были известны поэты *Иван Приблудный*, *Михаил Голодный*. И любовь к таким именно псевдонимам уже изображалась некоторыми писателями — современниками Булгакова — сатирически. Например, в романе *Н. Никандрова* действуют молодые — ну, не писатели, а скорее решившие, что они писатели, — *Антон Нелюдимый*, *Анна Новая*, *Антон Тихий*, который рвется в дом писателей в галошах на босу ногу — примерно так, как вскоре в романе Булгакова явится в специально писательский ресторан (куда пускали только по удостоверениям) *Иван Бездомный* в нижнем белье... Литераторы в этом романе знакомятся, называя свои «литературные имена»: «Я Иван Бездомный. — А я Иван Бездольный. — А я Иван Безродный». Есть там *Антон Нешамавший* и *Антон Неевший*...

В первой редакции своего романа Булгаков дает герою — довольно невежественному человеку, пишущему стихи, которые он сам же потом в порыве откровенности назовет «чудовищными», — имя «*Антоша Безродный*». А потом останавливается на «*Иване Бездомном*». Как вы уже заметили, имена «*Антон*» и «*Иван*» почему-то пользовались особенным спросом у молодых поэтов.

Так вот, появился в этот страшный вечер в аллее на Патриарших прудах (до сих пор, заметим, любимых москвичами, но с легкой руки автора романа «Мастер и Маргарита» и не только москвичами) человек. «Он был в дорогом костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях».

Ну кого сегодня можно удивить «заграничными туфлями»? А вот когда Булгаков писал свой роман, а также и тогда, когда роман печатался — через 25 лет после смерти автора! — эти туфли в цвет дорогого костюма были, представьте себе, очень и очень необычной для повседневной советской жизни деталью. И недаром они обратили на себя внимание двух собеседников — как и весь облик незнакомца. Потому что один из этих собеседников — Иван Бездомный — одет так: «в заломленной на затылок клетчатой кепке», а также в «жеванных белых брюках и черных тапочках». Вот по этому костюму в те годы сразу было видно — *наш* человек, советский!

Вернемся к портрету незнакомца: «Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя». Замечу, что пудель этот — непростой: при его помощи людям начитанным, таким, кто читал знаменитого «Фауста» знаменитого Гёте, автор «Мастера и Маргариты» давал некий знак — будьте настороже!

«По виду — лет сорока с лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, левый — почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом — иностранец».

На мой вкус, последняя фраза — очень, очень смешная. Почему если разные глаза, кривая улыбка и одна бровь выше другой, то «словом — иностранец»?! Но Булгаков хорошо знал советский быт. В то время, когда он писал свой роман, уже возник типовой облик советского человека. И неписаной особенностью этого человека было — *не выделяться, быть похожим на всех остальных.*

Потому что те, кто как-то выделялись — костюмом или даже просто внешностью, — недолго гуляли на свободе. Рассказывают, что замечательного поэта и писателя Даниила Хармса (мы с вами к нему еще когда-нибудь обратимся), который выглядел как иностранец, — и иностранный псевдоним взял нарочно (Хармс, а не какой-нибудь Безродный или Разутый), хоть был вполне русским, — добрые советские люди не раз сдавали милиции как «иностранного шпиона». А разве много надо ума, чтобы понять, что шпион будет стараться одеться так, чтоб его ни в коем случае не приняли за иностранца? Но велико было недоверие советских людей ко всякому, кто не похож на других. (В конце концов Хармс был арестован и расстрелян.)

Иностранцы же попадались на улицах Москвы и тем более других городов крайне редко — и обязательно в сопровождении приставленных к ним специальных людей: чтобы не допустить непредусмотренных контактов с советскими людьми. Все было под контролем.

Сейчас, через двадцать с лишним лет после конца советской власти и полученной всеми нами в результате этого, среди прочих свобод, и свободы любых «контактов» одного человека с другим, не так-то легко все это себе представить, вообразить. Но Булгаков среди этого жил — и пытался описать.

— 4 —

И вот предполагаемый иностранец (далее его автор так и называет — будто под влиянием своих героев) усаживается «на соседней скамейке, в двух шагах от приятелей.

“Немец...” — подумал Берлиоз.

“Англичанин... — подумал Бездомный. — Ишь, и не жарко ему в перчатках”.

А иностранец окинул взглядом высокие дома, квадратом окаймлявшие пруд, причем заметно стало, что видит это место он впервые и что оно его заинтересовало».

А вот теперь — внимание! Кто еще не читал романа — читайте нижеследующий абзац особенно внимательно.

«Он остановил взор на верхних этажах, ослепительно отражающих в стеклах изломанное и навсегда уходящее от Михаила Александровича солнце, затем перевел его вниз, где стекла начали предвечерне темнеть, чему-то снисходительно усмехнулся, прищурился, руки положил на набалдашник, а подбородок на руки».

Ничто вас здесь не удивило?

Конечно, кое-кто из внимательных читателей споткнулся на этих словах: «...навсегда уходящее от Михаила Александровича солнце».

Вот вам и еще один сигнал о том, что этот вечер кончится страшно.

«Иностранец вдруг поднялся и направился к писателям.

Те поглядели на него удивленно.

— Извините меня, пожалуйста, — заговорил подошедший с иностранным акцентом, но не коверкая слов, — что я, не будучи знаком, позволяю себе... но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что...

Тут он вежливо снял берет, и друзьям ничего не оставалось, как приподняться и раскланяться».

Ну а дальше события идут по нарастающей — и вечер кончается трагическим образом, как не раз намекнул автор. Пересказать эти первые, да и последующие главы нет никакой возможности, а надо просто читать. Тогда узнаете, что это за иностранец (подсказка: помните пуделя? В образе пуделя появляется у Гёте Мефистофель в комнате Фауста) и чем кончился этот душный вечер для Берлиоза. И конечно, впервые встретитесь с котом, спокойно сующим кондуктору трамвая гривенник за проезд...

На разных страницах романа идет тонкая игра с тем, что можно назвать словами *советского языка*, т. е. *советизмами*. Это не тот язык, на котором в советское время говорили люди дома или в дружеских компаниях, а тот, на котором делали доклады генеральные секретари коммунистической партии, выступали люди на официальных митингах, писались газетные «передовицы» — статьи без подписи, исходившие «сверху», от самой власти.

Булгаков высмеивает этот язык.

На сеансе в Варьете (где произойдут потрясающие события), идет, например, такой диалог. Поглядывая на зрительный зал, Воланд спрашивает у Коровьева (он же Фагот) — «Ведь московское народонаселение значительно изменилось?» — и сам продолжает свою мысль: «Горожане сильно изменились... внешне, я говорю, как и сам город, впрочем. О костюмах нечего уж и говорить, но появились эти... как их... трамваи, автомобили...

— Автобусы, — почтительно подсказал Фагот».

А конференсье Жорж Бенгальский обеспокоен. Он чувствует, что диалог какой-то не такой. И решает вмешаться.

«Иностранный артист выражает свое восхищение Москвой, выросшей в техническом отношении, — тут Бенгальский дважды улыбнулся, сперва партеру, а потом галерке.

Воланд, Фагот и кот повернули головы в сторону конференсье.

— Разве я выразил восхищение? — спросил маг у Фагота.

— Никак нет, мессир, вы никакого восхищения не выражали, — ответил тот.

— Так что же говорит этот человек?

— А он попросту соврал! — звучно, на весь театр сообщил клетчатый помощник».

Обращу ваше внимание только на слово *выросшей*.

Идеей непрерывного *роста* новой, советской России был проникнут весь общественный быт. О «ростках нового» постоянно говорил и писал Ленин. Газеты заклинали: «*Выросла* пролетарская литература, *вырос* и пролетарский писатель», «В СССР не только русские, но ни одна национальность... не думает останавливаться в своем *росте*... в *росте* не в западного европейца, а в человека будущего коммунистического общества». Излюбленные заголовки газетных статей — «*За дальнейший рост советской литературы*».

«Расти» было неременной обязанностью всех и каждого. Уже в 1950-е — 60-е годы «оттепели» — поэт А. Твардовский высмеивал это слово в поэме «Теркин на том свете», рисуя некоего деда, который «Близ восьмидесяти лет / он не рос уже нисколько, / Укорачивался дед».

Таких советизмов в романе Булгакова немало — *вредитель, вылазка, маскирующийся, массы, протащить, разоблачить* и т. п., и со всеми с ними идет тонкая стилизованная игра: Булгаков, в отличие от большинства, не принимает советского языка.

———— 6 ————

Этот роман — и о любви.

«Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!

За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!»

Вполне в соответствии с названием в романе вы встретитесь с историей потрясающей любви Мастера и его Маргариты, начавшейся внезапно. О ней Мастер рассказывает Ивану Бездомному — в психиатрической клинике, где оба они, прежде незнакомые, оказались из-за Понтия Пилата.

«Она повернула с Тверской в переулок и тут обернулась. Ну, Тверскую вы знаете? По Тверской шли тысячи

людей, но я вам ручаюсь, что увидела она меня одного и поглядела не то что тревожно, а даже как будто болезненно. И меня поразила не столько ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах!»

Тут-то все и произошло.

«Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож!»

Словом — читайте роман. Ведь он удивительным образом остается, по всем опросам, любимой книгой людей от 12 до 17 лет.



*Мастер задумался*



### «БЕДНЫЙ РОБИН КРУЗО!»

— 1 —

Примерно триста пятьдесят лет тому назад, в сентябре 1659 года люди плыли на корабле, нагруженном товаром. И как только они пересекли экватор, налетел ураган — и бушевал в течение двенадцати дней.

Наконец корабль бросило на мель. Надо было спешно покидать его, потому что в любой момент корабль могло расколоть надвое. Ничего не оставалось, как спуститься в единственную уцелевшую шлюпку — и отдаться на волю бушующих волн.

И все одиннадцать человек оказались в ловушке. Их вот-вот должна была захлестнуть огромная волна. «Мы гребли к берегу с отчаянием в сердце, как люди, которых ведут на казнь. Мы все понимали, что едва только шлюпка подойдет ближе к земле, прибой тотчас же разнесет ее в щепки».

Бывают положения, из которых действительно нет хорошего выхода (хотя вообще-то его надо искать до последнего).



«Вдруг разъяренный вал, высокий, как гора, набежал с кормы на нашу шлюпку. Это был последний, смертельный удар. Наша шлюпка перевернулась. В тот же миг мы очутились под водой. Буря в одну секунду раскидала нас в разные стороны. ...Я очень хорошо плаваю, но у меня не было сил сразу вынырнуть из этой пучины, чтобы перевести дыхание, и я чуть не задохся. Волна подхватила меня, протащила по направлению к земле, разбилась и отхлынула прочь, оставив меня полумертвым, так как я наглотался воды». Много раз волна накрывала его и тащила назад прежде, чем ему удалось выкарабкаться на сушу.

Сначала он бегал и прыгал и даже пел и плясал от радости. А потом до него дошло, что его одежда промокла насквозь, а переодеться не во что, что у него нет ни пищи, ни пресной воды — и никакого оружия, чтобы обороняться от диких зверей.

«Вообще при мне не оказалось ничего, кроме ножа, трубки да жестянки с табаком.

Это привело меня в такое отчаяние, что я стал бегать по берегу взад и вперед, как безумный».

Он ждал, что ночью его растерзают хищные звери — ведь они выходят на охоту по ночам. Решил взобраться на большое ветвистое дерево — и спать на нем.

«Спал я сладко, как не многим спалось бы на такой неудобной постели, и вряд ли кто-либо после такого ночлега просыпался таким свежим и бодрым».

Так началась долгая и необычайно деятельная жизнь на необитаемом острове того, кого английский писатель начала XVIII века Даниэль Дефо изобразил в романе под длинным названием:

*«Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове, у берегов Америки, близ устья великой реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами. Написано им самим».*

В те времена, когда Дефо писал эту свою книгу, читатели не признавали никакого вымысла. Серьезные, трудолюбивые люди, они полюбили мемуары, достоверное, обстоятельное изложение реальных событий. И история злоключений и поразительных успехов Робинзона Крузо описана так, что в реальности излагаемого совершенно невозможно усомниться.

Писателю было почти 60 лет, когда вышла эта книга. Он никак не ожидал такого большого успеха, который выпал на ее долю.

На долгие времена герой Дефо стал примером человека, не впавшего в уныние — когда все решительно его к этому располагало, не согнувшегося перед тяжелейшими обстоятельствами, а превозмогшего их.

Поговорка «Терпение и труд все перетрут» могла бы быть одним из эпиграфов к его книге.

## — 2 —

В отрочестве все — и девочки, и мальчики, — размышляют над тем, что же такое — *настоящий мужчина*? Кого и за что можно так назвать?

Если кому-то кажется, что *настоящий мужчина* — тот, у кого много или очень много денег, — это ошибка. Потому что любые деньги можно отнять — тем или иным способом.

Некоторые думают, что это — тот, кого все *боятся*. И опять невпопад — всегда найдется кто-то, кто его не испугается. И вообще это малоприятный тип — такой, кого *все боятся*. Все *уважают* — это можно понять.

Я бы сказала, что *настоящий мужчина* — это тот, с кем не страшно оказаться на необитаемом острове.

Про которого точно знаешь — он сумеет там выстроить для тебя дом. А если не хватит материала на стены — он будет держать крышу над твоей головой руками.



Все матросы и пассажиры погибли, а корабль уцелел. Прилив снял его с мели и пригнал довольно близко к берегу. Робинзон сплавал на корабль и понял, что оттуда есть что перевезти на берег. Связав запасные мачты канатом, он соорудил плот и стал перевозить на берег припасы. Большой удачей стало то, что, выброшенный на остров в чем был, Робинзон нашел на корабле ящик корабельного плотника. «Это была для меня поистине драгоценная находка, которой я не отдал бы в то время за целый корабль, наполненный золотом». Все относительно, мои юные друзья!

В течение последующих лет Робинзон выстроил себе хижину, выдолбил пирогу, приручил диких коз, сеял злаки, собирал урожай, молот зерно и пек хлеб... И не видел много лет ни одного человека.

Описание того, как он обживал остров и в одиночку, своими руками устраивал себе жизнь все лучше и луч-

ше — это и есть самое интересное в этой книге. Она показывает наглядно — человек может все, если не теряет присутствия духа.

Из шкур убитых им зверей Робинзон сшил себе куртку, штаны и меховую шапку и выглядел в этом наряде очень экзотично, а впоследствии кое для кого — и устрашающе. Однажды на лодке его чуть не унесло в океан. И когда он вновь наконец оказался на твердой земле своего острова — радовался, что снова увидит свои поля, свои рощи, своего верного пса и своих коз! Повалился около своего домика в тени и заснул. «Но каково было мое изумление, когда меня разбудил чей-то голос. Да это был голос человека! Здесь, на острове, был человек, и он громко кричал среди ночи:

— Робин, Робин, Робин Крузо! Бедный Робин Крузо! Куда ты попал, Робин Крузо? Куда ты попал?»

Только представьте себе состояние того, кто много лет не слышал человеческого голоса!



«Первым моим чувством был страшный испуг. Я вскочил, дико озираясь кругом, и вдруг, подняв голову, увидел на ограде своего попугая.

Конечно, я сейчас же догадался, что он-то и выкрикивал эти слова: таким же точно жалобным голосом я часто говорил ему эту самую фразу, и он отлично ее затвердил. Сядет бывало мне на палец, приблизит клюв к самому моему лицу и причитает уныло: «Бедный Робин Крузо! Где ты был и куда ты попал?»

Но даже убедившись, что это был попугай, и понимая, что, кроме попугая, некому тут и быть, я еще долго не мог успокоиться».

И опять потекли долгие годы одиночества.

И «случилось событие, которое совершенно нарушило спокойное течение моей жизни.

Было около полудня. Я шел берегом моря, направляясь к своей лодке, и вдруг, к великому своему удивлению и ужасу, увидел след голой человеческой ноги, ясно отпечатавшийся на песке!

Я остановился и не мог сдвинуться с места, как будто меня поразил гром, как будто я увидел привидение.

Я стал прислушиваться, я озираясь кругом, но не слышал и не видел ничего подозрительного».

Он изучил окрестности — других отпечатков не было. Однако он понимал, что не ошибся: «Это был несомненно след ноги человека: я отчетливо различал пятку, пальцы, подошву. Как он сюда попал? Откуда здесь взялся человек? Я терялся в догадках и не мог остановиться ни на одной».

Шли дни, загадка не разгадывалась, никаких людей не было видно, и Робинзону стало уже казаться — не его ли это собственный след? И когда он пришел на то место и поставил свою ногу на след — его нога оказалась значительно меньше!

...Тогда он стал превращать свой дом в настоящую неприступную крепость — обнес двумя оградами и так далее.

Прошло еще два года. И однажды он добрался до западной оконечности своего острова, где никогда не бывал. «То, что я увидел, когда спустился с пригорка и вышел на берег, ошеломило меня. Весь берег был усеян человеческими костями: черепами, скелетами, костями рук и ног».

Он понял, что, после своих морских сражений, дикие племена высаживаются на этот берег и съедают плененных, поскольку все они — людоеды... «С омерзением отвернулся я от этого зрелища. Меня стошнило. Я чуть не лишился чувств. Мне казалось, что я упаду».

— 4 —

Можно сказать, что на этих страницах кончается одна часть жизни Робинзона на острове — одинокой и успешной борьбы за существование. Начинается другая — со сражениями с людьми и спасением людей. «Пусть я погибну в неравном бою, пусть они растерзают меня, — говорил я себе, — но не могу же я допустить, чтобы у меня на глазах люди безнаказанно ели людей!»

И наступает день, когда он спасает одного дикаря от тех, кто хотел его съесть. А тот не может понять, как удалось Робинзону убить человека на расстоянии — он никогда не видел ружья.

Спасенный человек станет самым верным другом и помощником Робинзона. Дальше события пойдут по нарастающей.

Робинзон с новым товарищем, которого он назвал Пятницей, уже спасает других людей от верной и страшной смерти — и наконец находит возможность для своего спасения: он может, наконец, покинуть остров, на котором провел много-много лет, и отправиться на родину, в Англию — конечно, со своим верным Пятницей! Ведь родился Робинзон в Йорке — том самом старом английском городе, который и дал имя главному городу Америки — Нью-Йорк, то есть — Новый Йорк.

Не прочесть книжку про удивительные приключения морехода Робинзона Крузо, — невозможно. Все-таки это — одна из самых знаменитых и самых увлекательных книг в мировой литературе.

И напоследок — один совет. Если вам не более двенадцати лет и вы собрались читать эту книжку — ищите ее в переводе Корнея Чуковского. Прекрасный перевод дает большой роман в сокращении — это скорее *переложение*, чем перевод: убраны детали, которые в вашем возрасте не очень интересны.

Но если вы не успели прочесть роман до двенадцати-тринадцати лет и захотели, поверив мне, прочитать его сейчас, в четырнадцать-шестнадцать лет — ищите более полный текст, в переводе (тоже очень хорошем) М. А. Шишмаревой. Там вы узнаете и о том, что было с собственностью Робинзона — плантациями в Брази-



лии, и многое другое из жизни купца XVII века. Раньше, в советское время все это нам, тогдашним детям, было непонятно, поскольку не было никакого предпринимательства и ни у кого не было никакой собственности, кроме одежды, посуды да постели. Ну, еще книг.

А тут — компаньоны честно следили за прибылью пропавшего Робинзона, ничего не присвоили — и, когда он неожиданно для всех вернулся на родину, послали ему на кораблях разные товары в счет его прибыли. И вот бразильские корабли с его богатствами прибыли в гавань. «Узнав об этом, я побледнел, почувствовал дурноту, и если бы старик-капитан не подоспел вовремя с лекарством, я, пожалуй, не вынес бы этой неожиданной радости и умер тут же на месте».

Вот какие страсти!



...Сегодня многие терпеть не могут, чтобы их *учили*, то есть *поучали*. Чтобы их воспитывали.

Пушкин никого не учил своими стихами. А вот воспитывает он нас ими или нет?

Вот вам мораль: по мнению моему,  
Кухарку даром нанимать опасно;  
Кто ж родился мужчиною, тому  
Рядиться в юбку странно и напрасно...

«Домик в Коломне» — поэма, которую мы цитируем, так и кончается:

...Больше ничего  
Не выжмешь из рассказа моего.

Не знаю, хорошо ли мужчине «рядиться в юбку».

А насчет нанимать даром — над этим еще стоит подумать. Ведь про это же — и «Сказка о попе и работнике его Балде»:

Нужен мне работник:  
Повар, конюх и плотник.  
А где мне найти такого  
Служителя не слишком дорогого?

И Балда ему предлагает служить за три щелчка по лбу в год (само же предложение проистекает, пожалуй, из того, что Балда-то по рынку навстречу попу «идет, сам не зная куда», — ментальность, однако).

Невеселый конец истории всем, надеюсь, памятен с детства:

Со второго щелка  
Лишился поп языка;  
А с третьего щелка  
Вышибло ум у старика,  
А Балда приговаривал с укоризной:  
«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».

Нравоучительно и при этом современно звучит, почти «рыночно». При желании можно услышать некое предостережение — очень даже по делу.

———— 2 ————

«Сказку о рыбаке и рыбке», хочется верить, родители вам прочитали одной из первых.

Тут все вроде ясно — старик внял мольбе рыбки и отпустил ее. Да не просто — а на все ее предложения:

Дорогой за себя дам откуп:  
Откуплюсь чем только пожелаешь

не поддался —

И сказал ей ласковое слово:  
«Бог с тобою, золотая рыбка!  
Твоего мне откупа не надо;  
Ступай себе в синее море,  
Гуляй там себе на просторе».

Как же не читать эту сказку детям вслух!..

Кроме как у Пушкина, где же еще сегодня услышишь, что бывают добрые поступки безо всяких условий — без откупа (по-нынешнему — без *отката*), просто — ступай (как чудесно это «ступай», обращенное к *рыбке!*..) да гуляй...

«Не посмел я взять с нее выкуп» — не побоялся, а — не решился: что-то внутри не пустило. То самое, наверно, что в давнее время называли *совестью*: говорили — «совесть не позволила». И сегодня многим все-таки не позволяет делать плохое.

Это потом старуха принудила старика вернуться к морю и добирать шаг за шагом *упущенную выгоду*.

И тут уже автор и жалеет старика, и в то же время — посвоему суров к нему за податливость к чужой злой воле.

Потом Чехов изобразит этого старика из пушкинской сказки в своих «Трех сестрах» — он отнесется к Андрею, посадившему на голову сестрам свою жену Наташу, так же жалостливо-пренебрежительно: это безвольный тип русского человека, человек-тряпка, потекающий своим безволием деспотам, губящий тем самым лучшее вокруг себя и себя самого...

(Это только кажется, что быть безвольным — ничего особенного, ни для кого не опасно. Такой человек может оказаться очень даже опасным — и для себя самого, и для других. Почти так же, как такой, кто, наоборот, обладает железной волей, но лишен всякой морали и занят только своей выгодой.)

Но до Чехова, который рождается в 1860 году, через двадцать три года после гибели Пушкина, еще далеко. И на другой год после «Сказки о рыбаке и рыбке», в 1834 году, Пушкин пишет «Сказку о золотом петушке» (помните, я упоминала ее в связи с Вашингтоном Ирвингом?)

### — 3 —

...Про царя Дадона, который воевал-воевал, сам напал на соседей,

Но под старость захотел  
Отдохнуть от ратных дел  
И покой себе устроить;

Тут соседи беспокоить  
Стали старого царя,  
Страшный вред ему творя.

И тогда он

...с просьбой о помощи  
Обратился к мудрецу  
Звездочету и скопцу.

И тот сразу разрешил проблему.

Вот мудрец перед Дадоном  
Встал и вынул из мешка  
Золотого петушка.  
«Посади ты эту птицу, —  
Молвил он царю, — на спицу...»

И поясняет, что теперь уж никто не нападет на царя  
внезапно — чуть откуда-нибудь грозит опасность —

«Вмиг тогда мой петушок  
Приподымет гребешок,  
Закричит и встрепенется,  
И в то место обернется».

Понятно, как обрадовался старик.

Царь скопца благодарит,  
Горы золота сулит.  
«За такое одолженье, —  
Говорит он в восхищеньи, —  
Волю первую твою  
Я исполню, как мою».

Но, оказывается, обещание это не безусловно. А на-  
ходится в зависимости от того, какова будет эта пер-

вая воля, — не разойдется ли решительно с интересами самого царя. И когда царь узнает, что именно просит звездочет-мудрец за то, что дал ему полный покой:

Подари ты мне девицу,  
Шамаханскую царицу,

то возмущается, потому что девица (о ней — особая история, берите скорей «Сказку о золотом петушке» и читайте — даже если уже читали раньше: Пушкина надо перечитывать!) как раз ему самому очень понравилась:

Что ты в голову забрал?  
Я конечно обещал,  
Но всему же есть граница.  
И зачем тебе девица?  
Полно, знаешь ли, кто я?  
.....  
Убирайся, цел пока;  
Оттащите старика!»  
Старичок хотел заспорить,  
Но с иным накладно вздорить;  
Царь хватил его жезлом...

Ну и так далее. Сам же пережил вздорного старичка не намного — видимо, на несколько минут. Петушок оплатил ему за вероломство — полной мерой.

За неисполнение обещанного царь оказывается наказанным еще злее, чем хозяин Балды за жадность и за некоторое прохиндейство.

Так «учит» или «не учит» Пушкин?

Обратимся еще к прозе — хотя бы к «Станционному смотрителю».

Вообще «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» — это семейное чтение. Хотя бы одну из них детям лет до двенадцати (а с какого возраста — дело сугубо индивидуальное) надо прочесть дома вслух. Тогда совсем иным будет отношение и к повести, и к Пушкину, и вообще к русской классике. А может быть, и к жизни.

«Вышла из-за перегородки девочка лет четырнадцати и побежала в сени. Красота ее меня поразила. “Это твоя дочка?” — спросил я смотрителя. — “Дочка-с, — отвечал он с видом довольного самолюбия...”»

А несколько лет спустя рассказчик, остановившись у того же почтового домика, «не мог надивиться, как три или четыре года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика». История бедного Самсона Вырина именно в отрочестве должна войти в сознание — и как мастерски выписанное повествование, и как моральный урок — вплоть до щемящего финала, где мальчик показывает приезжему «грудку песку, в которую врыт был черный крест с медным образом», и рассказывает, как приходила сюда барыня. «Она легла здесь и лежала долго».

Говорят и пишут об этой небольшой повести вот уже около двух веков, и в каждое время проступают новые оттенки ее смыслов. Сегодня я лично выделила бы такие: вы имеете право устраивать жизнь как вам нравится, выбирать по вкусу друзей, возлюбленных, места для жизни, платья и украшения. Но чтобы быть полноценным человеком, должны помнить о тех, кто слабее, кто одинок, кому больно. Нельзя не задумываться о той боли, которую можем причинить мы — молодые, сильные, идя вперед и вверх; не задумываться над тем, не были ли мы глухи к страданиям того, кто рядом? Для кого в нас именно — смысл и возможная (иногда из-за нас уже утерянная) хотя бы скудная радость жизни?

Повесть Пушкина дотягивается до наших дней в первую голову мыслью о родителях, да и о дедушках-бабушках. О тех, которых во все времена многие молодые плохо понимают и, главное, не стараются понять, привычно считая «стариков», «предков» и т. п. отставшими от современных запросов и скучными. (Письма двух чем-то близких отечественных литераторов — Пушкина и Чехова — показывают у обоих естественное сознание долга перед родителями, притом, что обоим были родители достаточно чужды.)

Первый поэт, знавший толк в земных удовольствиях, показывает нам (во всяком случае, тем, кто способен видеть что-то дальше своего носа), что выше всего — человечность и сострадание. Что так называемый маленький человек (с этих повестей и вошел он в русскую литературу — и жил в ней вплоть до советского времени) не менее ценен в моральном смысле, чем большой, сильный и богатый.

Он дает нам понять — трудно примирить, согласовать интересы и устремления разных людей — в том числе разных по возрасту, образованию, по доходам и возможностям. Но думать о том, как это сделать, — необходимо. Всегда. Во все времена.

И уж во всяком случае — учиться с отроческих лет понимать *другого*, его чувства — как бы ни были мы погружены в собственные эмоции и заботы. И как бы ни вбили себе в голову в один отнюдь не прекрасный день сомнительный афоризм, издавна не раз мною слышанный: «Я никому ничего не должен!» (Иногда добавлялось: «Был должен — и уже расплатился»).

Необходимость видеть вокруг себя кого-то еще, необходимость и умение сочувствовать — качество, без которого не обойтись в становлении личности. Если только не решили обойтись без самого становления.

Так учит все-таки Пушкин или это что-то другое?

Он сам об этом сказал, и каждый москвич, равно как и приезжий, может прочитать эти слова на его памятнике:

И долго буду тем любезен я народу,  
Что чувства добрые я лирой пробуждал...

«Пробуждал» — не прививал, не воспитывал... Знал, что эти чувства дремлют едва ли не в каждом человеке, — только надо *пробудить*.

И всю жизнь боготворивший Пушкина Михаил Булгаков идет за ним, формируя своего Иешуа, — тот, как многие помнят, верил, что всякий человек *по природе своей добр*.







«ВОТ НАСТОЯЩАЯ ВЕСЕЛОСТЬ...»

— 1 —

Родился Николай Васильевич Гоголь, — как вы, конечно, знаете, — в небольшом украинском местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской области. Окончив Нежинскую гимназию высших наук в 1828 году, девятнадцатилетний юноша из теплых южных мест двинулся вместе с приятелем в поместительной кибитке на север — в Петербург, тогдашнюю столицу России. Он хотел поступить там на государственную службу — стать чиновником.

Это был декабрь — самый, пожалуй, негостеприимный месяц для тех, кто едет в Петербург впервые.

Биографы Гоголя описывают, как «по мере приближения к Петербургу нетерпение и любопытство путников возрастало с каждым часом. Наконец издали показались бесчисленные огни, возвещавшие о приближении к столице. Дело было вечером. Обоими молодыми людьми владел восторг: они позабыли о морозе, то и дело высывались из экипажа и приподнимались на цыпочки, чтобы получше рассмотреть столицу. Гоголь совершенно не мог прийти в себя; он страшно волновался и за свое пылкое увлечение поплатился тем, что схватил насморк и легкую простуду. Но особенно обидная неприятность была в том, что он, отморозив нос, вынужден был первые дни просидеть дома».

Всю зиму он пробует поступить на службу. Но не очень-то получается. А жизнь в Петербурге очень и очень дорогая. Он живет на деньги, присылаемые матерью, и пишет ей, что только и думает, «как бы добыть этих проклятых, подлых денег, которых хуже я ничего не знаю в мире». Отчитываясь ей в расходах, Гоголь надеется, что мать увидит — «умереннее меня вряд ли кто живет в Петербурге. <...> Я еще до сих пор хожу в том самом платье, которое я сделал по приезду своем в Петербург из дому, и потому вы можете судить, что фрак мой, в котором я хожу повседневно, должен быть довольно ветх и истерся также не мало, между тем как до сих пор я не в состоянии был сделать нового, не только фрака, но даже теплого плаща, необходимого для зимы. Хорошо еще, я немного привык к морозу и отхватал всю зиму в летней шинели».

...Когда будете читать в знаменитой повести Гоголя «Шинель», как мерз бедный петербургский чиновник Акакий Акакиевич Башмачкин в своей старой, насквозь продуваемой шинели, — знайте, что Гоголь, приехавший с юга в петербургскую стужу, писал это, можно сказать, с натуры.

Однако холод не вытеснил из сознания главных его целей и мыслей. Иначе, как вы сами понимаете, он и не стал бы великим писателем.

Сохранился записанный с его слов смешной рассказ (наверняка украшенный, как обычно, неистощимой выдумкой): «Тотчас по приезде в Петербург Гоголь, движимый потребностью видеть Пушкина, который занимал все его воображение еще на школьной скамье, прямо из дома отправился к нему. Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, тем более овладевала им робость и наконец у самых дверей квартиры развилась до того, что он убежал в кондитерскую и потребовал рюмку ликера. Подкрепленный им, он снова возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос свой: “Дома ли хозяин?” услышал ответ слуги “почивают!” Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил: “Верно, всю ночь работал?” — “Как же, работал, — отвечал слуга, — в картишки играл”. Гоголь признавался, что это был первый удар, нанесенный школьной идеализации его. Он иначе не представлял себе Пушкина до сих пор, как окруженного постоянно облаком вдохновения».

## ———— 2 ————

Постепенно Гоголь, потерпев ряд неудач, в том числе и литературных (его юношеская поэма не имела никакого успеха, и больше он к стихам уже не обращался), познакомился с поэтом Жуковским. И тот стал ему помогать.

Наконец в мае 1831 года Гоголь, не без участия Жуковского, был представлен Пушкину. В это время поэт с молодой женой приехал из Москвы (где в поныне стоящей у Никитских ворот церкви Вознесения состоялось венчание) в Петербург.

Вскоре вышла первая книжка прозы Гоголя — под таким длинным названием: «Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные пасичником Рудым Пань-

ком» (если попытаться перевести это имя или прозвище с украинского на русский язык, то получится нечто вроде Рыжего Афона). Он подарил ее Жуковскому и Пушкину.

И Пушкин сразу по прочтении пишет издателю одного известного журнала: «Сейчас прочел Вечера близь Диканьки. Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что, когда Издатель вошел в типографию, где печатались *Вечера*, то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою». Гоголю объяснили, что «наборщики помирали со смеху, набирая его книгу». И Пушкин поздравлял публику «с истинно веселою книгою», а автору сердечно желал дальнейших успехов. А издателя журнала просил — «ради Бога, возьмите его сторону, если журналисты, по своему обыкновению, нападут на неприличие его выражений, на дурной тон и проч.».

Письмо Пушкина тут же было опубликовано. И в сторону никому еще неведомого не просто молодого, а юного писателя (Гоголю — двадцать два года!) обратились заинтересованные взоры.

Читали первую книгу «Вечеров» — и не знали, чем восхищаться больше. Фантазией ли автора, рассказывающего такие страшные истории, что холод бежит по спине?.. «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь, или Утопленница» — скорей начинайте читать! Особенно рекомендую тем, кто любит читать и трястись от страха. «Вспомнил, вспомнил!» — закричал он в страшном весельи и, размахнувши топор, пустил им со всей силы в старуху. Топор на два вершка вбежал в дубовую дверь. Старуха пропала, и дитя лет семи, в белой рубашке, с накрытою головою, стало посреди хаты... Простыня слетела. «Ивась!» — закричала Пидорка и бросилась к нему; но привидение всё, с ног до головы, покрылось кровью и осветило всю хату красным светом...»

Иные же читатели «Вечеров» наверняка не менее восхищались умением Гоголя живописать природу и повседневную жизнь своих героев.

«Земля сделалась крепче и местами стала прохватываться морозом. Уже и снег начал сеяться с неба, и ветви деревьев убрались инеем, будто заячьим мехом. Вот уже в ясный мороз красногрудый снегирь, словно щеголеватый польский шляхтич, прогуливался по снеговым кучам, вытаскивая зерно, и дети огромными киями гоняли по льду деревянные кубари, между тем как отцы их спокойно вылеживались на печке, выходя по временам, с зажженной люлькою в зубах, ругнуть добрым порядком православный морозец или проветриться и промолотить в сенях залежалый хлеб».

(Поясню: шляхтич — это польский дворянин, а люлька — трубка по-украински. И еще замечу, что мы сохраняем у Гоголя написание его времени — «в страшном весельи»; сегодня здесь — не спутайте! — пишется окончание «е». «Чорт» мы также вслед за ним здесь пишем через «о», тогда как по сегодняшним правилам — «черт». И «пасичник» — сохраняем гоголевский украинизм.)

А через полгода подоспела и вторая книга «Вечеров». И тут уже многие схватились читать первую же повесть — «Ночь перед Рождеством». Смело можно сказать, что не менее ста лет читающая Россия не выпускала эту увлекательную повесть из рук. Да еще опера Римского-Корсакова, написанная в конце XIX века, добавила ей популярности.

«Мороз увеличился, и вверху так сделалось холодно, что чорт перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь согреть мерзнувшие руки. Не мудрено, однако ж, и смерзнуть тому, кто толкался от утра до утра в аду, где, как известно, не так холодно, как у нас зимою...

Ведьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то, что была тепло одета; и потому, поднявши руки вверх, отставила ногу и, приведши себя в такое положение, как человек, летящий на коньках, не сдвинувшись ни од-

ним суставом, спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горе, и прямо в трубу.

Чорт таким же порядком отправился вслед за нею. Но так как это животное проворнее всякого франта в чулках, то не мудрено, что он наехал при самом входе в трубу на шею своей любовницы, и оба очутились в просторной печке между горшками.

Путешественница отодвинула потихоньку заслонку, поглядеть, не назвал ли сын ее Вакула в хату гостей, но, увидевши, что никого не было, выключая только мешки, которые лежали посередине хаты, вылезла из печки, скинула теплый кожух, оправилась, и никто бы не мог узнать, что она за минуту назад ездила на метле».

Вот эти-то мешки и будут вскоре главными действующими лицами в повести...



Упомянем и повесть «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» — о том, как тетушка задумала женить своего тридцативосьмилетнего племянника и как из этого ничего не получилось, кроме страшных снов бедного Шпоньки: «Он снял шляпу, видит: и в шляпе сидит жена. Пот выступил у него на лице. Полез в карман за платком — и в кармане жена...» Тетушка пыталась было оставить его наедине с возможной невестой — но дело не двинулось, поскольку «Иван Федорович сидел на своем стуле, как на иголках, краснел и потуплял глаза», а белокурая барышня «равнодушно сидела на диване, рассматривая прилежно окна и стены или следуя глазами за кошкою, трусливо пробегавшею под стульями». Наконец он «собрался с духом».

— Летом очень много мух, сударыня! — произнес он полудрожащим голосом.

— Чрезвычайно много! — отвечала барышня».

Вот такой состоялся между ними содержательный диалог.

### — 3 —

А нападки на «неприличие выражений» Пушкин предвосхищал не даром.

Он сам уже не раз встречался с подобными нападками критиков — больше всего на «Евгения Онегина».

Какая радость: будет бал!  
*Девчонки прыгают заране.*

Про выделенный нами курсивом стих Пушкин пишет: «Наши критики, верные почитатели прекрасного пола, сильно осуждали неприличие сего стиха».

Такие тогда были строгие нравы. И не поймешь даже, что же тут неприличного? По-видимому, благородных барышень — таких, как Татьяна и Ольга Ларины, — нельзя было, по мнению критиков, называть «девчонками» да



еще писать, что они «прыгают». Но у Пушкина на этот счет было свое мнение. Он упорно раздвигал рамки поэтического языка. В его стихах этот язык соприкасается с живым разговором. В том «шалаше», где во сне Татьяны беснуется «шайка» Онегина, —

Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,  
Людская молвь и конский топ!

И Пушкин в примечании сообщал — «В журналах осуждали слова: хлоп, молвь и топ, как неудачное нововведение» — и возражал критикам, приводя примеры из фольклора: «Слова сии коренные русские». И заключал: «Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка».

...А насчет «девчонок» — судите сами, как им было не прыгать, когда на именины к Лариным

Приехал ротный командир;  
Вошел... Ах, новость, да какая!  
Музыка будет полковая!  
Полковник сам ее послал.  
Какая радость: будет бал!

———— 4 ————

А у Гоголя за двумя книжками «Вечеров на хуторе...» последовал сборник «Миргород» — и очень разнообразно составленный.

Открывался он трогательной повестью «Старосветские помещики» — как в любви и дружбе жили-поживали Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна. Оторваться нельзя от одних только описаний их бесконечных трапез — завораживают!

«— А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?»

— Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? разве коржиков с салом, или пирожков с маком, или, может быть, рыжиков соленых?

— Пожалуй, хоть и рыжиков, или пирожков, — отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками.

За час до обеда Афанасий Иванович закушивал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибами, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в двенадцать часов. Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками, чтоб не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду.

— Мне кажется, как будто эта каша, — говаривал обычно Афанасий Иванович, — немного пригорела; вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна?

— Нет, Афанасий Иванович; вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелою, или вот возьмите этого соуса с грибами и подлейте к ней.

...После обеда Афанасий Иванович шел отдохнуть один часик, после чего Пульхерия Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила:

— Вот, попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз.

— Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный в середине, — говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломоть, — бывает, что и красный, да нехороший.

Но арбуз немедленно исчезал. После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пульхерией Ивановной. ...Немного погода... говорил:

— Что бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна?

— Чего же бы такого? — говорила Пульхерия Ивановна. — Разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых приказала я нарочно для вас оставить?

— И то добре, — отвечал Афанасий Иванович.

— Или, может быть, вы съели бы киселику?

— И то хорошо, — отвечал Афанасий Иванович.

После чего всё это немедленно было приносимо и, как водится, съедается.

Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине десятого садились ужинать. После ужина тотчас отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворялась в этом деятельном и вместе спокойном уголке».

За «Старосветским помещиками» в сборнике «Миргород» шел «Тарас Бульба», где вместо «всеобщей тишины» бушевали страсти: и бескрайнее мужество гордых «козаков» — запорожцев, и их жестокость — бросали младенцев вражеского стана пиками в огонь, и немислимая любовь Андрия к прекрасной полячке, и его измена, потрясшая отца... И гибель Андрия от руки отца, и дальнейшие трагические события.

А дальше — самая страшная и самая фантастическая повесть Гоголя — «Вий». Главное — не читать ее на ночь! Заснуть потом точно невозможно.

«...Труп уже стоял перед ним на самой черте и вперил на него мертвые, позеленевшие глаза. Бурсак содрогнулся, и холод чувствительно пробежал по всем его жилам».

От этой повести пошли самые страшные страницы в литературе следующего, ХХ века.

———— 5 ————

Тот, кто хорошо помнит «Мастера и Маргариту» М. Булгакова, давно, наверно, увидел сходство с «Вием» некоторых сцен знаменитого романа. Например — свет настольной лампы, освещающей кабинет финансового директора театра Варьете Римского, когда пред ним сидит администратор театра Варенуха. Он уже превратился в вампира, но Римский этого еще не знает. Он только смутно и с ужасом догадывается о чем-то непонятном и страшном, «ни на мгновение не сводя глаз с админи-

стратора, как-то странно корчившегося в кресле, все время стремящегося не выходить из-под голубой тени настольной лампы...».

Темный кабинет — и только свет лампы, от которого прикрывается газеткой Варенуха... Вспоминаются свечи в церкви в «Вие», которые освещают «только иконостас и слегка середину церкви». А потом начинаются всякие страшные вещи.

Во вторую ночь гоголевский Хома «слышал, как бились крыльями в стекла церковных окон и в железные рамы, как *царапали с визгом когтями по железу...*» Нельзя не вспомнить, как у Булгакова в кабинете Римского голая девица, к его полному ужасу, «*ногтями начала царапать шпингалет и потрясать раму*», стремясь проникнуть внутрь.

А на третью ночь у Гоголя уже внутри самой церкви «все летало и носилось, ища всюду философа».

У Булгакова все совершается в одну ночь, ускороенно. Варенуха подпрыгивает возле двери, «подолгу застревая в воздухе и качаясь в нем». Это — сильно уменьшенная картина того, что происходило в церкви в повести Гоголя. И когда в романе Булгакова с распахнувшейся рамой «в комнату ворвался *запах погребца*», то и здесь пахнуло Гоголем — от его «приземистого, дюжего, косолапого человека», который, как помнит всякий читавший Гоголя, весь был «в черной земле».

«...С треском лопнула железная крышка гроба, и поднялся мертвец. Еще страшнее был он, чем в первый раз. *Зубы его страшно ударялись ряд о ряд, в судорогах задергались его губы и, дико взвизгивая, понеслись заклинания*» («Вий»). От повести Гоголя и его страшных мертвецов ведет свое происхождение нечисть — свита Воланда: «...Она испустила хрипкое ругательство, а Варенуха *взвизгнул... девица щелкнула зубами...*»

Напомним и «*петуший крик*» в «Вие». «Это был уже второй крик», и под него «испуганные духи *бросились кто как попало, в окна и двери, чтобы поскорее выле-*

теть». И прямо-таки вслед за ними — тоже после повторного крика петуха — у Булгакова и мертвая девица, и Варенуха *вылетают из окна*, оставляя в комнате «седого, как снег, без единого черного волоса старика, который недавно еще был Римским...». Напомним, что это же случилось столетием раньше с Хомой Брутом — героем «Вия»: «Да ты весь поседел. <...> половина волос его точно побелела».

Персонаж Булгакова, получается, оказался покрепче Хомя Брута — все-таки остался жив. Но ужасы, от которых седеют мужчины, переняты Булгаковым непосредственно у Гоголя — его самого любимого писателя. Гоголь, можно сказать, показал дорогу к этим ужасам в литературе — всегда кто-то первым пролагает путь новациям.

Первая репетиция ужасов у Булгакова — в его повести «Роковые яйца» (задолго до начала работы над «Мастером и Маргаритой»). Там сначала из лопухов подымается какое-то огромное «сероватое и оливковое бревно», потом «на верхнем конце бревна оказалась голова... Лишенные век, открытые ледяные и узкие глаза сидели в крыше головы, и в глазах этих мерцала совершенно невиданная злоба». А дальше — «змея приблизительно в пятнадцать аршин и толщиной в человека, как пружина, выскочила из лопухов».

Умножаем 15 на 70 см (длина аршина) — получаем змейку длиной в десять метров...

И на глазах у Александра Семеновича Рокка змея толщиной в человека стала давить его жену Маню. «Изо рта у Мани плеснуло кровью, выскочила сломанная рука, и из-под ногтей брызнули фонтанчики крови. Затем змея, вывихнув челюсти, раскрыла пасть и разом надела свою голову на голову Мани и стала налезать на нее как перчатка на палец... Вот тут-то Рокк и поседел. Сначала левая и потом правая половина его черной, как сапог, головы покрылась серебром...»

Тожe — как не вспомнить тут Хомя Брута!

Зато последняя повесть в сборнике Гоголя «Миргород» сразу меняет настроение читателя — приносит ему какой-то душевный отдых после ужасов «Вия».

«Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнейшая! А какие смушки! Фу ты пропасть, какие смушки! сизые с морозом! Я ставлю Бог знает что, если у кого-нибудь найдутся такие! Взгляните, ради Бога, на них, — особенно если он станет с кем-нибудь говорить, — взгляните сбоку: что это за объядение! Описать нельзя: бархат! серебро! Господи Боже мой! Николай чудотворец, угодник Божий! отчего у меня нет такой бекеши!»

Чтобы у вас не было недоумения, поясню сразу же: бекеша — это такое зимнее короткое, выше колен, мужское пальто, а смушка — овчина из шкурки маленького ягненка, с мелкими завитками. И вот этой смушкой бекеша всегда была оторочена по всем краям — воротник, рукав, борт, полы, карманы...

Это — начало «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», которую с удовольствием рассказывает нам вот этот самый Рудый Панько, старый пасичник, прекрасно знающий всех обитателей Миргорода и их жизнь. Он знает даже, когда именно Иван Иванович сшил свою бекешу — «тогда еще, когда Агафия Федосеевна не ездила в Киев. Вы знаете Агафию Федосеевну? та самая, что откусила ухо у заседателя».

Гоголь вообще постоянно любит разными вещами. Его герои очень серьезно относятся к своим вещам. Помните в «Тарасе Бульбе» — про любимую, видимо, трубку («люльку») Тараса?

«И пробились было уже козаки, и, может быть, еще раз послужили бы им верно быстрые кони, как вдруг среди самого бегу остановился Тарас и вскрикнул: “Стой! выпала люлька с табаком; не хочу, чтобы и люлька досталась вражьим ляхам!” И нагнулся старый атаман и стал отыскивать в траве свою люльку с табаком, неотлучную

сопутницу на морях и на суше, и в походах, и дома. А тем временем набежала вдруг ватага и схватила его под могучие плечи. Двинулся было он всеми членами, но уже не посыпались, как бывало прежде, схватившие его гайдуки. “Эх, старость, старость!” — сказал он, и заплакал дебелый старый козак. Но не старость была виною: сила одолела силу. Мало не тридцать человек повисли у него по рукам и по ногам».

Как написал когда-то преподаватель Московского университета В. Н. Турбин — может быть, напрасно даже мы видим у Гоголя в его восхвалении бекеша иронию? Может, Гоголь устами своего пасичника вполне всерьез ею восторгается? «Вещь, ту же трубочку-люльку, шинель, бекешу кто-то трудолюбиво делал: кроил, шил, изобретательно украшал. В создании ее участвовали люди, участвовала природа; в конечном счете весь мир трудился для того, чтобы одарить какого-то человека, Ивана Ивановича красивой и радостной вещью. И вещь родилась, возникла. И неужели она не заслуживает похвалы — такой же похвалы, какую расточают прекрасным произведениям зодчества?..»

— 7 —

Критик Белинский был особенно поражен первой и последней повестями, резко отличными и от жуткой фантастики «Вия», и от героики «Тараса Бульбы». «Возьмите его “Старосветских помещиков” — что в них? Две пародии на человечество в продолжение нескольких десятков лет пьют и едят, едят и пьют, а потом, как водится исстари, умирают. Но отчего же это очарование? ...О, г. Гоголь истинный чародей, и вы не можете представить, как я сердит на него за то, что он и меня чуть не заставил плакать о них, которые только ели, пили и потом умерли!»

Но впечатление от повести о том, как поссорились навеки из-за полнейшей чепухи два помещика, было еще

более новым для русской литературы и удивительным для читателя.

«В самом деле, — писал Белинский все в той же статье, поднявшей двадцатилетнего Гоголя на неожиданный для всех пьедестал, — заставить нас принять живейшее участие в ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, насмешить нас до слез глупостями, ничтожеством и юродством этих живых пасквилей на человечество — это удивительно; но заставить нас потом пожалеть об этих идиотах, пожалеть от всей души, заставить нас расстаться с ними с каким-то глубоко грустным чувством...»

Так в чем же все-таки тайна обаяния этой повести, посвященной, в сущности, бессмыслице — ссоре на всю жизнь добрых соседей только из-за того, что один сказал другому, что тот сердится как гусак? Почему едва ли не всякий русский читатель вот уже третье столетие в выпавшую свободную минуту берется ее прочитать? А кто-то, глядишь, и перечитает. И вам я непременно советую ее прочитать. Почему?..

Первое — это потрясающее гоголевское владение безграничными возможностями русской речи. Какая-то поразительная словесная вязь опутывает нас при чтении и берет в плен. Мы, как заколдованные, вчитываемся в исполненные пленительной абсурдности и внутреннего комизма строки:

«...Эта выдумка так нелепа и вместе гнусна и неприлична, что даже не почитаю нужным опровергать пред просвещенными читателями, которым, без всякого сомнения, известно, что у одних только ведьм, и то у весьма немногих, есть назади хвост...»

Но есть еще что-то, чем привлекают нас и «Старосветские помещики», и повесть о двух Иванах. Знаете что? Ну вот то самое, что мы чувствуем, читая роман Гончарова «Обломов», — не каждый ведь признается, что в глубине души он чувствует себя немножко Обломовым...

Жара в Миргороде, от которой почти что и нет спасения, описана в повести со знанием дела — как и средства



спасения, которые ищут гоголевские герои. «Иван Иванович только после обеда лежит в одной рубашке под навесом; ввечеру же надевает бекешу (зимнюю одежду! — М. Ч.) и идет куда-нибудь...», «Иван Никифорович лежит весь день на крыльце, — если не слишком жаркий день, то обыкновенно выставив спину на солнце, — и никуда не хочет идти»; «Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться и, когда сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар, и очень любит пить чай в такой прохладе».

Кто ж не позавидует — хотя бы в душе?.. И сами герои явно довольны такой жизнью — и мы, читая, так или иначе радуемся за них. (Как не вспомнить глубокую народную поговорку: «Кто малым не доволен — тот большого недостоин»?) Испытываем, как сказали бы сегодня, позитивные эмоции — пока сами герои не разрушают свою идиллию...

...За год до напечатания Гоголь читал свою повесть вслух Пушкину. Читал же он необыкновенно артистично.



Современники вспоминают: «Когда Гоголь читал или рассказывал, он вызывал в слушателях неудержимый смех, в буквальном смысле слова смешил их до упаду. Слушатели задыхались, корчились, ползали на четвереньках в припадке истерического хохота».

И Пушкин записал в дневнике: «Вчера Гоголь читал мне сказку...» (так определил он эту повесть) — «очень оригинально и очень смешно».

А первый рецензент повести написал в известном московском журнале: «Я уверен, что Иван Иванович и Иван Никифорович существовали. Так они живо написаны. Но общество наше не может поверить в их существование»...

Да, недаром Белинский объявил — с его немалым авторитетом критика — во всеулышание, что его надежды на молодого писателя «велики, ибо г. Гоголь обладает талантом необыкновенным, сильным и высоким. По крайней мере, в настоящее время он является главой литературы...»

Можете вообразить себе, как был потрясен такой оценкой молодой писатель?.. И он не обманул этих ожиданий. Впереди были и петербургские повести — «Нос» (как нос взял да и сбежал от своего владельца!), «Шинель» — ну, тут и говорить нечего: просто невозможно русскому человеку не прочитать историю Акакия Акакиевича Башмачкина, которой уже более полутора веков не устает восхищаться весь просвещенный мир! Ну и, конечно, «Записки сумасшедшего» — куда же нам без них?

———— 8 ————

Про «Мертвые души» вы, наверное, много уже знаете. Но, может быть, не знаете главного — что их надо в первую очередь просто читать. Читать — и все, и не думать во время чтения ни про какие «образы» — просто получать удовольствие от того, как пишет Гоголь.

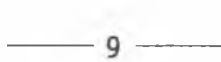
Когда-то, еще в конце XIX века, замечательный литератор Василий Васильевич Розанов заметил такую особенность этой книги — что все мы, русские читатели, «открыв случайно “Мертвые души”, к какому бы нужному делу не спешили, перевернем еще и еще страницу...»

Действительно — здесь какая-то тайна. Многие мне это подтверждали — специально спрашивала. Проверьте сами. Представьте, например, что вы захотели вспомнить, какого цвета был фрак у Чичикова. И вот вы нашли это место в поэме «Мертвые души». И все равно не удержитесь — прочитаете одну-две страницы. Гоголь затягивает в свои словесные сети — если, конечно, вы любите родной язык и способны наслаждаться демонстрацией его богатства. И еще — особым, ни на кого не похожим гоголевским комизмом.

Да вот наудачу — хотя бы описание дам города N. на балу у губернатора (девочкам особенно будет интересно, но и мальчикам, по-моему, тоже). «В нарядах их вкусу было пропасть: муслины, атласы, кисеи таких были модных цветов, каким даже и названья нельзя было прибрать (до такой степени дошла тонкость вкуса). ...Талии были обтянуты и имели самые крепкие и приятные для глаз формы (нужно заметить, что вообще все дамы города N. были несколько полны, но шнуровались так искусно и имели такое приятное обращение, что толщины никак нельзя было приметить). Все было у них продумано и предусмотрено с необыкновенною осмотрительностью; шея, плечи были открыты именно настолько, насколько нужно, и никак не дальше; каждая обнажила свои владения до тех пор, пока чувствовала по собственному убеждению, что они способны погубить человека; остальное все было припрятано с необыкновенным вкусом... Длинные перчатки были надеты не вплоть до рукавов, но обдуманно оставляли обнаженными возбуждательные части рук повыше локтя, которые у многих дышали завидною полнотою; у иных даже лопнули лайковые перчатки, побужденные надвинуться далее, — словом, кажется, как

будто на всем было написано: нет, это не губерния, это столица, это сам Париж!»

Поневоле вспомнишь еще несколько фраз Розанова: «...Страницы как страницы. Только как-то словечки поставлены особенно. Как они поставлены — секрет этого знал один Гоголь».



Напоследок — о том, как хорошо знал Гоголь людей и каким замечательным актерским талантом был наделен.

Ехал он как-то с друзьями в город Торжок и все обещал накормить их знаменитыми котлетами. Приехали поздно ночью, заказали на всех котлеты, они были и правда необыкновенно вкусны, но... во всех оказались «длинные белокурые волосы... Шутки Гоголя придали столько комического этому приключению, что несколько минут мы только хохотали как безумные». Они послали за половым (служащим гостиницы и кухни) — для объяснений. «...А Гоголь предупредил нас, какой ответ мы получим от полового: “Волосы-с? Какие же тут волосы-с? Откуда прийти волосам-с? Это так-с, ничего-с! Курины перушки или пух”, и проч., и проч. В самую эту минуту вошел половой и на предложенный нами вопрос отвечал точно то же, что говорил Гоголь, даже теми же словами. Хохот до того овладел нами, что половой и наш человек (то есть, слуга, который с ними путешествовал. — М. Ч.) посмотрели на нас, выпуча глаза от удивления».

Около середины XIX века во французском городе Нанте, в семье адвоката Верна, жил да был мальчик Жюль. И в одиннадцать лет он взял да и нанялся, не спросясь родителей, юнгой на шхуну, отправлявшуюся не более не менее как в Индию. Ну конечно, через несколько часов был он возвращен домой, но ничуть не выкинул из головы мысли о кругосветном путешествии.

Получил в Париже образование, но в Нант по требованию отца не вернулся, на его стезю не встал, а погрузился в изучение достижений человечества в области географии, физики и математики. И накопил в конце концов двадцать тысяч карточек с разными интересными выписками (ведь компьютера-то тогда не было, до его изобретения еще больше столетия оставалось). Да еще сдружился с известным путешественником Жаком Араго и, что называется, рот раскрыв, слушал его рассказы о дальних странах.

И в конце концов написал роман про ученого — «Пять недель на воздушном шаре». Его напечатали в «Журнале воспитания и развлечения» — ну, вроде современного очень хорошего, на мой взгляд, журнала «Семья и школа», только потолще.

Роман имел невероятный успех. И открыл целую серию романов Жюля Верна под общим названием «Необыкновенные путешествия». Это был совсем новый жанр, в тогдашней литературе его еще не было.

Лучшим был признан роман «Таинственный остров».

Я уже писала, что это как раз была первая прочитанная мною по-настоящему толстая книга — в первом классе, в сентябрьские теплые дни московской золотой осени, я еле высидев на уроках, со всех ног мчалась домой, чтобы узнать, что же дальше?! Что происходит со смелыми

людьми, оказавшимися, как и Робинзон Крузо, на необитаемом острове?

— 2 —

Только они оказались там не в результате кораблекрушения, а совсем иным образом.



Дело происходило в 60-е годы XIX века в Северной Америке. Тогда там шла война между «северянами» — противниками рабовладельчества — и «южанами», которые не мыслили себе своих плантаций без рабского бесплатного труда негров.

И вот несколько «северян» разных профессий и разного возраста оказались в плену у «южан». (Туда же по доброй воле пробрался и негр Наб, давно отпущенный своим господином — инженером Сайресом Смитом — на свободу, но бесконечно ему преданный.) И сумели улететь из этого плена на воздушном шаре, сделанном «южанами», естественно, вовсе не для них.

В последнюю минуту — представьте себе! — «в гондолу прыгнула собака. Это был Топ, любимый пес инженера, — оборвав свою цепь, он прибежал вслед за хозяином. Боясь, что собака окажется лишним грузом, Сайрес Смит хотел ее прогнать.

— Не беда, возьмем и собаку! — сказал Пенкроф и выбросил из гондолы два мешка с песком. Потом он отвязал канат, и шар, взлетев по косо́й, с яростной силой взвился в поднебесье, сбив при взлете две дымовые трубы».

Впоследствии Топу, как вы, конечно, понимаете, предстояло сыграть немалую роль — ведь умный пес в трудных ситуациях гораздо сообразительней некоторых тяжелодумов!

Когда все пятеро окажутся на необитаемом острове посреди океана, к их компании примкнет и еще одно симпатичное существо.

«...В эту пору Юпа — он оказался очень сообразительным — возвели в должность камердинера. Его нарядили в куртку, штаны, сшитые из белого полотна, и передник с карманами, которые ему очень нравились. Он ходил, заложив руки в карманы, и никому не позволял проверять их содержимое».

Кто это такой, по-вашему?

«...Наб хорошо вымуштровал смышленого орангутанга — когда Наб разговаривал с Юпом, казалось, что они превосходно понимают друг друга.

...Как-то во время обеда он принялся прислуживать за столом с салфеткой в руке. Он был так ловок, так внимателен, так безукоризненно выполнял свои обязанности — менял тарелки, приносил блюда, наливал напитки, — делал все это с таким важным видом, что поселенцы от души забавлялись...

— Юп, еще супу!..

— Юп, тарелку!

— Юп, славный Юп, молодец Юп!

Только эти возгласы и раздавались за столом, а Юп, ничуть не растерявшись, все выполнял, за всем следил и с понимающим видом кивнул головой, когда Пенкроф пошутил:

— Право, Юп, жалованье вам придется удвоить!»

А когда на поселенцев напала огромная стая очень опасных диких американских собак, Юп нещадно бил их дубиной — «его невозможно было оттащить назад. Он, очевидно, обладал способностью видеть в темноте; он был в самой гуще боя, то и дело пронзительно свистел, а это означало у него высшую степень возбуждения».

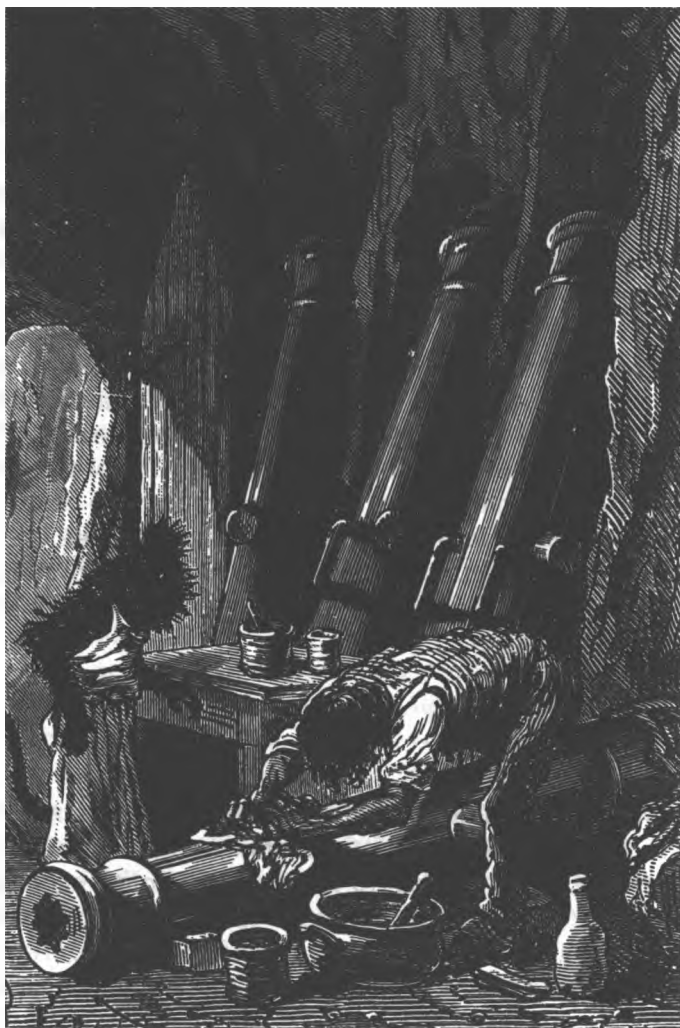
В результате он, защищая своих двуногих друзей от четвероногих хищников, пострадал больше всех, и его долго выхаживали.

### — 3 —

Умелые, знающие (каждый из них знал какое-нибудь дело или отрасль науки в совершенстве) и дружные люди сумели организовать на острове вполне удобную жизнь — и даже нашли растение с гроздьями благоухающих цветов, которое знатоком растений пятнадцатилетним Гербертом было определено как табак. С большими



предосторожностями сохраняя секрет, они приготовили сюрприз единственному среди них курильщику — моряку Пенкрофу, ужасно страдавшему от отсутствия курева (вот что такое зависимость!). И однажды, когда, пообедав, он собрался было встать из-за стола, кто-то положил ему руку на плечо.



«— Пойдите, дорогой Пенкроф, что же вы убегаете? А десерт?»

— Благодарю, мистер Спилет, — ответил моряк, — мне некогда.

— Ну хоть чашечку кофе, дружище?

— Ну, трубочку?

Пенкроф вдруг вскочил, и его широкое добродушное лицо побледнело: он увидал, что журналист протягивает ему набитую трубку, а Герберт — уголек.

Моряк хотел что-то сказать, но не мог вымолвить ни слова; он схватил трубку, поднес ее к губам, прикурил об уголек и сделал несколько затяжек.

Сизый душистый дымок за клубился облаком, и из этого облака раздался радостный голос:

— Табак, воистину табак!.. О Божественное Провидение! Творец всего сущего!.. Теперь на нашем острове есть все, что душе угодно!»

Между тем их жизнь была полна опасностей — и в то же время накапливались случаи, когда какая-то неведомая сила помогала им от них спастись. Люди в толк не могли взять, что — или кто — так благотельно участвует в их жизни. Наконец стало ясно, что это не что, а — кто. Но — кто?!

— 4 —

Самый младший из поселенцев, общий любимец Герберт умирал от злокачественной лихорадки (так называли раньше малярию), подхваченной на болотах.

Он тяжело перенес первый приступ, но за ним должен был последовать второй, а там и третий — смертельный.

— Нужны противолихорадочные средства, — повторял Гедеон Спилет Сайресу Смиту, а тот отвечал:

«— Где же их взять? У нас нет ни хинной корки, ни серноокислого хинина!»

И вот, когда никто уже не верил, что мальчик доживет до завтрашнего утра, был момент, когда он на несколько секунд остался в комнате один.

И в тот же самый момент «Топ как-то странно зала-ял...

Все кинулись в спальню и успели подхватить умирающего — в бреду он хотел соскочить с постели на пол...

Было пять часов утра... Наступал ясный, погожий день, последний день жизни несчастного мальчика.

Солнечный луч осветил столик, стоявший у кровати умирающего. И вдруг Пенкроф, вскрикнув, указал на продолговатую коробочку, откуда-то взявшуюся на столике...

На крышке коробочки стояли два слова: «Сернокислый хинин».

\* \* \*

Поняли, почему книга названа — «Таинственный остров»?

И единственная возможность узнать все его тайны — спешно начать читать этот, а за ним и другие увлекательнейшие романы Жюль Верна.

Если начать — оторваться от них уже невозможно.

## ПРО КУКЛУ НАСЛЕДНИКА ТУТТИ И ДЕВОЧКУ ПО ИМЕНИ СУОК

— 1 —

К третьему классу все книги, которые были у нас дома, я уже перечитала. А читать мне хотелось так, как хочется иногда пить, — когда просто ни о чем не можешь думать, пока не выпьешь холодненькой водички.

И родители сказали:

— Иди и запишись в районную детскую библиотеку!

Мы жили в Сокольниках — одном из самых зеленых районов Москвы. Библиотека была на улице Короленко, очень близко и от дома, и от школы.

И вот я стою в очереди — чтобы записаться в библиотеку и тут же взять в абонементе какую-нибудь книжку. Но какую? Ведь у меня нет никакого списка интересных книг — вроде того, который я составляю для вас, рассказывая о тех книжках, которые непременно нужно прочитать.

Передо мной стоит девочка и держит книжку, которую будет сдавать. Вывернув голову, читаю название. Оно очень странное — «Три толстяка». Странное — но чем-то притягательное. Фамилия автора (я всегда смотрела фамилию автора — приучил старший брат) еще страннее: «Олеша». Алеша, что ли? Тогда почему через «о»?..

Я вежливо спрашиваю у девочки:

— Не дашь посмотреть книжку?

Она протягивает ее мне.

Открываю книжку наугад.

«И тут из темноты чей-то хриплый голос сказал:

— Суок!

...Большое черное существо стояло в клетке, подобно медведю, держась за прутья и прижав к ним голову...

Суок готова была заплакать.

— Наконец-то ты пришла, Суок, — сказала странное существо. — Я знал, что я тебя увижу... Подойди, Суок.

Суок подошла. Страшное лицо смотрело на нее. Конечно, это было не человеческое лицо. Больше всего оно походило на волчью морду. И самое страшное было то, что уши этого волка имели форму человеческих ушей, хотя и покрыты были короткой жесткой шерстью.

— ...Ты боишься меня, Суок... Я потерял человеческий облик. Не бойся! Подойди... Ты выросла, похудела. У тебя печальное личико...

Он говорил с трудом...»

дома гвардейцы Трех Толстяков. Я — Туб, ученый. Меня привезли во Дворец. Мне показали маленькую Суок и Тутти. Три Толстяка сказали так: вот видишь девочку. Сделай куклу, которая не отличалась бы от этой девочки. Я не знал, для чего это было нужно. Я сделал такую куклу. Я был большим ученым. Кукла должна была расти, как живая девочка. Суок исполнится пять лет, и кукле тоже. Суок станет взрослой — хорошенькой и печальной — девочкой, и — кукла станет такой же. Я сделал эту куклу. Тогда вас разлучили. Тутти остался во Дворце с куклой, а Суок отдали бродячему дядьку, в обмен на попугая редкой породы, с длинной красной бородой. Три Толстяка приказали мне: вынь сердце мальчика и сделай для него железное сердце. Я отказался. Я сказал, что нельзя лишать человека его человеческого сердца. Что никакое сердце — ни железное, ни ледяное, ни золотое — не может быть дано человеку вместо простого, настоящего человеческого сердца. Меня посадили в клетку, и с тех пор мальчику начали внушать, что сердце у него железное. Он должен был верить этому и быть жестоким и суровым. Я просидел среди зверей восемь лет. Я оброс шерстью, и зубы мои стали длинными и желтыми, но я не забыл вас. Я прошу у вас прощения. Мы все были обездолены Тремя Толстяками, угнетены богачами и жадными обжорами. Прости меня, Тутти, что на языке обездоленных значит — «разлученный». Прости меня, Суок, что значит — «вся жизнь»...

1924 г.

**ЧИТАТЕЛЬ!** Сообщите Ваш отклик об этой книге, указав Ваш возраст и Вашу профессию, по адресу: Москва, центр, Николаевская, 10, БИК «ЭИФ»

Понятно, что я прямо впилась в книжку.

Стала листать ее — и наткнулась на сцену совсем другого рода — как продавец детских шаров был унесен своими шарами в воздух.

«— Ура! Ура! — кричали дети, наблюдая фантастический полет.

Они хлопали в ладоши: во-первых, зрелище было интересно само по себе, а во-вторых, некоторая приятность для детей заключалась в неприятности положения летающего продавца шаров. Дети всегда завидовали этому продавцу. Зависть — дурное чувство. Но что же делать! Воздушные шары — красные, синие, желтые — казались великолепными. Каждому хотелось иметь такой шар. Продавец имел их целую кучу. Но чудес не бывает! Ни одному мальчику, самому послушному, и ни одной девочке, самой внимательной, продавец ни разу в жизни не подарил ни одного шара: ни красного, ни синего, ни желтого.

Теперь судьба наказала его за черствость. Он летел над городом, повиснув на веревочке, к которой были привязаны шары. Высоко в сверкающем небе они походили на волшебную летающую гроздь разноцветного винограда.

— Караул! — кричал продавец, ни на что не надеясь и дрыгая ногами».

И вот продавец влетел во дворец — точнее, прямо в окно дворцовой кухни, в ее кондитерское отделение. «Сладкое головокружительное благоухание ударило ему в нос; жар и духота сперли ему горло...

Продавец со всего размаху сел во что-то мягкое и теплое. Шаров он не выпускал...

Он зажмурил глаза и решил их не раскрывать — ни за что в жизни».

И не удивительно! Мы бы с вами тоже, наверно, так решили.

«Он сидел в царстве шоколада, апельсинов, гранатов, крема, цукатов, сахарной пудры и варенья, и сидел на троне, как повелитель пахучего разноцветного царства. Троном был торт...

— Торт погиб, — сказал младший кондитер сурово и печально.

Потом наступила тишина. Только лопались пузыри на шипящем шоколаде.

— Что будет? — шептал продавец шаров, задыхаясь от страха и до боли сжимая веки. Сердце его прыгало, как копейка в копилке.

— Чепуха! — сказал старший кондитер так же сурово. — В зале съели второе блюдо. Через двадцать минут надо подавать торт. Разноцветные шары и глупая рожа летающего негодяя послужат прекрасным украшением для парадного торта.

И, сказав это, кондитер заорал:

— Давай крем!!

И действительно дали крем.

Что это было!

Три кондитера и двадцать поварят набросились на продавца...

В одну минуту его облепили со всех сторон. Он сидел с закрытыми глазами, он ничего не видел, но зрелище было чудовищное. Его залепили сплошь. Голова, круглая рожа, похожая на чайник, расписанный маргаритками, торчала наружу. Остальное было покрыто белым кремом, имевшим прелестный розоватый оттенок...

— Так, — сказал главный кондитер тоном художника, любующегося собственной картиной.

И потом голос, так же как и в первый раз, сделался свирепым и заорал:

— Цукаты!!

Появились цукаты, всех сортов, всех видов, всех форм: горьковатые, ванильные, кисленькие, треугольные, звездочки, круглые, полумесяцы, розочки.

Поварята работали вовсю. Не успел главный кондитер хлопнуть три раза в ладоши, как вся куча крема, весь торт оказался утыкан цуккатами.

— Готово, — сказал главный кондитер. — Теперь, пожалуйста, нужно сунуть его в печь, чтобы слегка подрумянить.

«В печь? — ужаснулся продавец. — Что? В какую печь? Меня в печь?!»

Тут в кондитерскую вбежал один из слуг».

— 3 —

Что случилось с продавцом шаров дальше — я, конечно, рассказывать не буду, а то вам неинтересно будет читать.

Но расскажу, что случилось со мной — в процессе судорожного листания и чтения отдельных страниц.

Я совершенно влюбилась в эту книжку. Отдала девочке, которая должна была ее сдавать, и начала волноваться — да так, что у меня, кажется, даже пот на лбу выступил. «А вдруг, — думаю, — мне она не достанется?..» А как это может быть — ведь девочка стоит непосредственно передо мной?.. Она сдает, а я прошу записать меня — и дать книжку мне! Никак не получается, чтоб мне она не досталась. И все равно — боюсь, что-то такое произойдет, что помешает мне взять эту замечательную книжку и сегодня же начать ее читать — уже не с середины, а самых первых страниц...

Так я промучилась не меньше получаса — пока дошла до меня очередь. И я сказала строгой библиотекарше дрожащим голосом, что прошу записать меня — и дать мне вот эту самую книгу, которую только что сдала девочка.

И мне ее дали. И я побежала домой читать.



С первых страниц я полюбила доктора Гаспара Арнери.

Он был ученый. (А я, между нами говоря, тоже мечтала стать ученым — женский род для этого слова как-то не очень годился. Мне было тогда десять лет, и я уже выбрала свою судьбу...)

«Пожалуй, он изучил около ста наук. Во всяком случае, никого не было в стране мудрей и ученый Гаспара Арнери.

Об его учености знали все — и мельник, и солдат, и дамы, и министры. А школьники распевали про него песенку с таким припевом:

Как лететь с земли до звезд,  
Как поймать лису за хвост,  
Как из камня сделать пар —  
Знает доктор наш Гаспар».

А в городе, где он жил, правили Три Толстяка. И книжка потому и называлась «Три Толстяка».

Они жили во дворце (в том самом, в кухню которого влетел продавец шаров). И вот на страницах книги появился мальчик. «Он горько плакал.

— В чем дело? — спросил Первый Толстяк.

— Почему наследник Тутти плачет? — спросил Второй.

А Третий надул щеки.

Наследнику Тутти было двенадцать лет. Он воспитывался во Дворце Трех Толстяков. Он рос как маленький принц. Толстяки хотели иметь наследника. У них не было детей. Все богатство Трех Толстяков и управление страной должно было перейти к наследнику Тутти».

У него была любимая кукла — такого же роста, как он. И она сломалась. Вот о чем он плакал.

И тогда решили обратиться к доктору Гаспару.



Дальше разворачивается очень сложная и интересная история.

Доктор Гаспар не успевает к сроку вылечить любимую куклу наследника Трех Толстяков — Тутти. Он доставляет во дворец живую девочку по имени Суок, которая как две капли воды похожа на сломанную куклу.

И вот навстречу ей спускается по широчайшей дворцовой лестнице наследник Тутти, про которого девочка много слышала, но никогда его не видела.

«Перед ней стоял худенький, похожий на злую девочку, мальчик, сероглазый и немного печальный, наклонивший растрепанную голову набок».

Когда она шла во дворец, она думала, что он будет ей противен, потому что Толстяков почти никто не любил.

«Но никакого отвращения она не почувствовала. Скорее ей стало приятно от того, что она его увидела.

Она смотрела на него веселыми серыми глазами.

— Это ты, кукла? — спросил наследник Тутти, протягивая руку.

«Что же мне делать? — испугалась Суок. — Разве куклы говорят? Ах, меня не предупредили!..»

Но на помощь пришел доктор Гаспар.

— Господин наследник, — сказал он торжественно, — я вылечил вашу куклу. Как видите, я не только вернул ей жизнь, но и сделал эту жизнь более замечательной. Кукла, несомненно, похорошела, затем она получила новое великолепное платье, и самое главное — я научил вашу куклу говорить, сочинять песенки и танцевать.

— Какое счастье! — тихо сказал наследник».

———— 5 ————

Напоследок скажу, что у этой книжки есть одна особенность — чем раньше вы ее прочтете, тем она будет для вас интересней. Лучше всего успеть ее прочесть лет до двенадцати.

Берите — в библиотеке или у друзей — и читайте!

И вы узнаете тайну девочки Суок (кстати сказать, это странное имя писатель не выдумал — это была девичья фамилия его жены и двух ее сестер) и многие другие тайны. А по ходу дела будете наслаждаться (быть может, сами того не замечая) замечательным мастерством писателя Юрия Олеши, который так умел описывать разные вещи, что вы просто *видите* и иногда даже *слышите* их. А это не каждому писателю дано.

Да вот хотя бы: «Уже подымался ветер. Исковерканный дуб скрипел, как качели. Расклейщик афиш никак не мог справиться с листом, приготовленным для наклейки. Ветер рвал его из рук и бросал в лицо расклейщику. Издали казалось, что человек вытирает лицо белой салфеткой».

Или, например, — Суок идет по дворцовым залам: «Сверкали паркеты. Она отражалась в них розовым облаком. Она была очень маленькая среди высоких залов, которые увеличивались от блеска паркетов в глубину, а в ширину — от зеркал.

Можно было подумать, что это маленькая цветочная корзинка плывет по огромной тихой воде...»

Был такой очень хороший человек и хороший писатель — Вениамин Александрович Каверин. Он жил и писал в то время, когда даже и не делать плохого — и то было порою очень трудно. Например, людей заставляли выступать на собраниях и говорить, что таких-то и таких-то надо обязательно расстрелять. А не скажете этого уверенно и громко — вам самим худо придется. (А потом, много позже, оказалось, конечно, что расстрелянные ни в чем не были виноваты.) Вениамин Александрович же не только старался ничего такого не говорить и не писать, но еще и делал немало хорошего — помогал, например, деньгами своему старшему товарищу, Михаилу Зощенко, когда власть лишила замечательного писателя всяких источников существования. Вступался за гонимых и обиженных.

И писал хорошие книги.

Моей любимой из всех его книг осталась — «Два капитана». Читала я ее в двенадцать лет, а потом до конца школы перечитывала еще два раза.

Начинается она так:

«Я помню просторный грязный двор и низкие домики, обнесенные забором. Двор стоял у самой реки, и по веснам, когда спадала полая вода, он был усеян щепой и ракушками, а иногда и другими, куда более интересными вещами. Так, однажды мы нашли туго набитую письмами сумку, а потом вода принесла и осторожно положила на берег и самого почтальона...

Сумку отобрал городской, а письма, так как они размокли и уже никуда не годились, взяла себе тетя Даша. Но они не совсем размокли: сумка была новая, кожаная и плотно запиралась. Каждый вечер тетя Даша читала вслух по одному письму, иногда только мне, а иногда все-

му двору... Одно из этих писем тетя Даша читала чаще других — так часто, что в конце концов я выучил его наизусть. С тех пор прошло много лет, но я еще помню его от первого до последнего слова.

*Глубокоуважаемая Мария Васильевна.*

*Спешу сообщить Вам, что Иван Львович жив и здоров. Четыре месяца назад я, согласно его предписаниям, покинул шхуну и со мной тринадцать человек команды...»*

Автор письма, штурман дальнего плавания, надеялся лично рассказать своей адресатке (ответа ее он ожидал в Архангельске, в больнице, где ему должны были отнять отмороженные ноги), о «нашем тяжелом путешествии на Землю Франца-Иосифа по плавучим льдам», о том, какие «невероятные бедствия и лишения приходилось терпеть» и о том, что шхуна «Святая Мария» «замерзла еще в Карском море и с октября 1913 года беспрестанно движется на север вместе с полярными льдами».

С этого никогда не доставленного адресату письма, которое герой книги, Саня Григорьев, тогда восьмилетний мальчик, вспомнит много лет спустя, все и началось.

Саня приедет в свой город из Москвы, куда он сбежал, уже восемнадцатилетним, станет перечитывать уцелевшие письма (часть давно пропала, но выяснилось, что некоторые он помнит наизусть) и вдруг поймет, что это — следы погибшей экспедиции капитана Татаринова, отца девушки Кати, которую он полюбил...

— 2 —

И разворачивается потрясающая история его разысканий — сначала того, кто был виновником гибели экспедиции, а затем, через много лет, — и поиски самой экспедиции, открывшей новые земли.

Из-за открытого Саней имени виновника происходят большие несчастья. Оказывается, это не такое простое



и однозначное дело — восстановление правды и справедливости. Последствия могут быть неожиданными, трагическими...

Ему отказывают от дома любимой девушки.

И вновь приезжает он из Москвы в родной город Энск; находит среди книг своей сестры роман «Овод». Кто автор — в книге «Два капитана» не упоминается, потому что в детстве писателя Каверина решительно все русские гимназисты знали этот роман. Но я все-таки назову автора — вдруг вы захотите прочитать книгу, которой много десятилетий зачитывались в России, с тех пор, как в самом конце XIX века ее перевели на русский язык, все ваши ровесники. Это — английская писательница Этель Войнич. Ни в одной стране ее так не любили, как в России. Герой ее романа — итальянский революционер, действовавший под кличкой Овод, — очень нравился всем юным читателям и особенно читательницам. Спросите свою бабушку — скорей всего, и она читала эту книжку еще в школе.

Вернемся к «Двум капитанам» — хотя вам еще неясно, что это за капитаны. Один — это капитан Татаринов. А второй...

«...И, читая этот прекрасный роман, я находил, что история Овода очень похожа на мою. Так же, как Овод, я был оклеветан, и любимая девушка отвернулась от него, как от меня. Мне представлялось, что мы встретимся через четырнадцать лет и она меня не узнает. Как Овод, я спрошу у нее, показывая на свой портрет:

— Кто это, осмелюсь я спросить?

— Это детский портрет того друга, о котором я вам говорила.

— Которого вы убили?

Она вздрогнет и узнает меня. Тогда я брошу ей все доказательства своей правоты и откажусь от нее. Но мало было надежды на такую встречу!»

Полкниги, я бы сказала, занято историей сложнейших перипетий его любви, тесно переплетенной с его же поисками экспедиции капитана Татаринова.

### — 3 —

В книге много симпатичных, обаятельных людей — школьных и прочих приятелей Сани Григорьева.

Например, будущий биолог Валька Жуков, не вылезавший из зоопарка, — школьник, которого с интересом слушает профессор на *обходе зверей*. «И вдруг с каким-то веселым удивлением он хлопнул Вальку по плечу и заржал, совершенно как лошадь; все двинулись дальше, а Валька остался стоять с идиотским, восторженным видом. Вот тут-то я его и окликнул:

— Валя!

— А, это ты!

Никогда еще я не видел его в таком волнении. У него даже слезы стояли в глазах. Он растерянно улыбался.

— Что с тобой?



— А что?

— Ты плачешь?

— Что ты врешь! — отвечал Валька.

Он вытер кулаком глаза и радостно, глубоко вздохнул.

— Валька, что случилось?

— Ничего особенного. Я в последнее время занимался змеями, и мне удалось доказать одну интересную штуку.

— Какую штуку?

— Изменение крови у гадюк в зависимости от возраста.

Я посмотрел на него с изумлением. Плакать от радости, что кровь у гадюк меняется в зависимости от возраста? Это не доходило до моего сознания».

Как до кого-то не дойдет, наверно, как можно решиться обречь себя на исполненную огромных трудностей и постоянного риска жизнь полярного летчика.

А через сколько-то лет Саня встретит Вальку уже на севере — тот занимается разведением лисиц. И мальчик, которого Саня привел с собой, рассказывает ему потом, пораженный увиденным, что «они живут совершенно как люди. Там у них мертвый час, потом дети играют, а взрослые некоторые ходят в гости».

— 4 —

Саня поступает в летную школу. Кончает ее.

«Юность кончается в один день — и этот день не отметишь в календаре: “Сегодня окончилась моя юность”. Она уходит незаметно — так незаметно, что с нею не успеваешь проститься. Только что ты был молодой и красивый, а смотришь — и пионер в трамвае уже говорит тебе: “Дяденька”. И ты ловишь в темном трамвайном стекле свое отражение и думаешь с удивлением: “Да, дяденька!” Юность кончилась, а когда, какого числа, в каком часу? Неизвестно.

Так кончилась и моя юность».



Саня Григорьев заканчивает одну летную школу, потом другую. Он становится полярным летчиком. Все его помыслы сосредоточены на одном. «Кто знает, может быть, и меня когда-нибудь назовут среди людей, которые могли бы говорить с капитаном Татариновым, как равные с равным?»

— 5 —

Но у Сани есть враг — еще со школы. Ромашов, Ромашка. Он тоже издавна любит Катю Татаринovu и всю жизнь стремится помешать Сане Григорьеву.

Наступает 1941 год, и с ним приходит война.

Был воздушный бой, и Саня приказал своему экипажу прыгать с парашютами. А сам повел самолет на таран.

Потом, весь забинтованный, он едет в теплушке. И встречает Ромашку. «Он никогда не умел по-настоящему скрывать своих чувств, и теперь они стали проходить передо мной по порядку или, точнее, в полном беспорядке. Недоумение. Ужас, от которого задрожали губы. Снова недоумение. Разочарование.

— Позволь, но ты же убит! — пробормотал он».

И протягивает ему газету. «Возвращаясь с боевого задания, самолет, ведомый капитаном Григорьевым, был настигнут четырьмя истребителями противника... На объятый пламенем машине Григорьев успешно протаранил "Юнкерс"..."»

...А потом санитарный эшелон, где оказались два врага, немцы обстреляли в упор.

«Я открыл глаза. Освещенный первыми лучами солнца туман лениво бродил между деревьями. У меня было мокрое лицо, мокрые руки. Ромашов сидел поодаль...»

Дальше разворачивается сцена, когда один человек хочет смерти другого.

«— Сейчас же верни оружие, болван! — сказал я спокойно.

Он промолчал.

— Ну!

— Ты все равно умрешь, — сказал он торопливо. — Тебе не нужно оружия.

— Умру я или нет, это уж мое дело. Но ты мне верни пистолет, если не хочешь попасть под полевой суд. Понятно?

Он стал коротко, быстро дышать.

— Какой там полевой суд! Мы одни, и никто ничего не узнает. В сущности, тебя уже давно нет. О том, что ты еще жив, ничего неизвестно.

Теперь он в упор смотрел на меня, и у него были очень странные глаза...

— Я остался, чтобы сказать, что ты мешал мне всегда и везде. Каждый день, каждый час! Ты мне надоел смертельно, безумно! Ты мне надоел тысячу лет!»

Вообще «Два капитана» — это настоящий приключенческий роман. Я упомянула лишь о сотой части того, что там происходит.

И по ходу дела решаются серьезнейшие нравственные проблемы, которых, как известно, в отроческом и в юном возрасте ничуть не меньше — если не больше, — чем в зрелом. Да вот хотя бы — границы возмездия? До какой границы имеем мы право идти, принося справедливое возмездие виновнику чьих-то бед?..

Каверин показывает, что человек всегда сам отвечает за свои поступки, добрые и злые, — на то и дана ему свобода воли. Всегда — за исключением тех ситуаций, когда свободу воли резко ограничивают — и человек уже не волен в своем выборе. Так в советское, особенно — сталинское время людей шантажировали на Лубянке и в многочисленных ее филиалах по всей стране жизнью близких: «Не дашь нужных нам лживых показаний — погибнут твои дети».

И еще — тот, кто не прочел вовремя девиз героев романа Каверина: *«Бороться и искать, найти и не сдаваться!»* — тот упустил в жизни важный момент, когда этот девиз входит в сам состав крови, становится стимулом действий. Это — заключительная строка поэмы английского поэта Теннисона. Но важно то, что она была вырезана на деревянном кресте, водруженном в память Р. Скотта, достигшего Южного полюса после Амундсена и погибшего на обратном пути.

В жизнь многих поколений русских подростков эти слова ввел В. Каверин. И они полюбили эти слова, роман «Два капитана» и обоих капитанов, в нем изображенных.



## О СИЛЬНЫХ ЧУВСТВАХ

— 1 —

«— Детеныш человека! Смотри!

Как раз напротив волка, держась за низкую ветку, стоял голый коричневый малыш, только что научившийся ходить, самая мякенькая и самая усеянная ямочками крошка, которая когда-либо попадала ночью в волчье логово.

Он посмотрел прямо в лицо Отцу Волку и засмеялся.

— Это человеческий детеныш? — спросила Мать Волчица. — Я никогда не видела их. Дай-ка его сюда.

Волк, привыкший переносить собственных детенышей, в случае необходимости может взять в рот яйцо, не разбив его, а потому, хотя челюсти зверя схватили ребенка за спинку, ни один зуб не оцарапал кожи. Отец Волк осторожно положил его между своими детенышами.

— Какой маленький! Совсем голенький! И какой смелый, — мягко сказала Мать Волчица. Ребенок растаскивал волчат, чтобы подобраться поближе к ее теплой шкуре. — Ай, да он кормится вместе с остальными! Вот это человеческий детеныш! Ну-ка, скажи, была ли когда-нибудь в мире волчица, которая могла похвастаться тем, что между ее волчатами живет детеныш человека?

— Я слышал, что такие вещи случались время от времени, только не в нашей стае и не в наши дни, — ответил Отец Волк. — На нем совсем нет шерсти, и я мог бы убить его одним прикосновением лапы. Но взгляни: он смотрит и не боится».

Тут в пещеру пробует протиснуться тигр Шер Хан, который требует свою добычу. «Клянусь убитым мною Быком, должен ли я стоять, сунув нос в вашу собачью конуру, ради того, что принадлежит мне по праву. Это говорю я, Шер Хан.

Рев тигра наполнил пещеру громовыми раскатами. Мать Волчица стряхнула с себя детенышей и кинулась вперед; ее глаза, блестевшие в темноте, как две зеленые луны, глядели прямо в пылающие глаза Шер Хана.

— Говоришь ты, а отвечаю я, Ракша (Демон). Человечий детеныш — мой, Лунгри! Да, мой. Он не будет убит. Он будет жить, бегать вместе со Стаей, охотиться со Стаей и, в конце концов, убьет тебя, преследователь маленьких голых детенышей, поедатель лягушек и убийца рыб! И он будет охотиться на тебя! А теперь убирайся или, клянусь убитым мною Самбхуром (я не ем умирающего от голода скота), ты, паленое животное, отправишься к своей матери, хромя хуже, чем в день своего рождения! Уходи!

Отец Волк посмотрел на нее с изумлением. Он почти позабыл те дни, когда завоевал Мать Волчицу в честном бою с пятью другими волками; тогда она бегала в Стае, и ее называли Демоном не из одной любезности...»

И Шер Хан со страшным ворчанием отступил, детеныш остался у волков с четверьмя их волчатами, и вскоре Стая принимает его в свои ряды...

Кто-то читал про Маугли в большом сокращении — для совсем маленьких. Кто-то видел мультфильм. Но я советую взять в руки «Книгу Джунглей» и «Вторую Книгу Джунглей» и прочесть наконец все подряд. Сплошные столкновения воли и решимостей, силы и хитрости. Лучшее любого телебоевика.

Детство английского писателя Редьярда Киплинга было довольно тяжелым. В то время Британия была империей — то есть владела пространствами, весьма удаленными от своих границ: недаром подчеркивалось, что над Британской империей никогда не заходит солнце...

А самолетов еще не было. И если британцам, работающим в Индии, надо было отослать детей на время на родину — то это были месяцы плавания и, возможно, годы разлуки. Увы, за все на свете надо платить, в том числе и за владение колониями.

Несколько счастливых лет маленький Киплинг провел в Индии с родителями. Все знают, что такое наши самые ранние впечатления — они навсегда остаются самыми яркими. А потом его с сестрой отправили «на воспитание» к дальним родственникам. А в какой ад могли в старой доброй Англии превратить — из лучших, разумеется, чувств, — процесс воспитания, об этом читайте у Диккенса, хотя бы в романе «Домби и сын» (надеюсь, мы к нему как-нибудь обратимся). Но и Киплинг высказался об этом с достаточно едкой определенностью — в автобиографическом рассказе «Мэ-э, паршивая отца...», который кончается приездом матери, но измученный издевательствами тетки и своего кузена — ее сына, бедный Панч (он же Паршивая Овца) не сразу оттаивает...



Забавный рассказ «Поправка Тодса» рассказывает о шестилетнем англичанине Тодсе, который живет в Индии и свободно не только говорит, но и думает на местном наречии — а при разговоре мысленно переводит на английский язык, «как делают многие дети из английских семей, живущих в Индии» (и сам Киплинг, живший в детстве на попечении слуг-индийцев и заговоривший сначала на хинди, а только потом — на английском).

Наслушавшись на базаре, как обсуждается новый билль (закон) об аренде земли, шестилетний Тодс смело вмешивается в разговор гостей — правительственных чиновников. И обстоятельно пересказывает мнение своих старших друзей-индусов — они считают глупым каждые пять лет подтверждать свое решение арендовать эту землю: нужно делать это каждые *пятнадцать* лет. «Через пятнадцать лет мой сын станет мужчиной, а я уже буду в пепел превращен; мой сын возьмет себе землю... а потом и у него сын родится и через пятнадцать лет тоже станет мужчиной. Зачем каждые пять лет писать бумаги?» ...Тут Тодс заметил, что гости слушают его, и замолчал.

...— Тодс! Отправляйся спать! — сказал ему отец.

Тодс подобрал полы халата и ушел.

А советник хлопнул ладонью по столу.

— Черт побери! — сказал он. — Мальчонка прав. Короткий срок аренды — слабое место всего проекта.

Он скоро ушел, обдумывая слова Тодса.

...По базарам же скоро разнеслась весть, что это Тодс поднял вопрос о пересмотре сроков аренды по новому биллю. Если бы мама Тодса не вмешалась, он ужасно объелся бы фруктами, фисташковыми орехами, кабульским виноградом и миндалем, потому что веранда его дома вдруг оказалась заставлена корзинами, полными всех этих лакомств».

Может быть, кому-то это покажется странным — такой разумный и инициативный мальчик в столь раннем возрасте. Сам Киплинг ничего странного в этом не видел —



первый сборник его стихов под названием «Школьная лирика» вышел в свет, когда автору было шестнадцать лет. (Есть и такие, которые в эти годы, как всем хорошо известно, ни о какой серьезной деятельности не задумываются — только развлекаются.) И когда Киплинг пишет про выросшего Маугли — он явно вспоминает себя и свои мечты в этом возрасте: «На второй год после большой битвы с Дикими Собаками и смерти Акелы Маугли должно было исполниться семнадцать лет. Но он казался старше, так как много двигался, хорошо ел и, едва почувствовав себя разгоряченным или запыленным, тотчас же купался; благодаря всему этому он стал сильнее и выше, чем обыкновенные юноши его возраста. Когда он осматривал древесные дороги, он мог полчаса висеть на высокой ветке, держась за нее одной рукой; мог на бегу остановить молодого оленя и, схватив его за голову, откинуть прочь; мог даже сбить с ног крупного синеватого кабана из Северных Болот».

Внутри «Книги Джунглей» вы обнаружите и знаменитый рассказ «Рикки-Тикки-Тави» — рассказ о мужестве и верности. Речь не о людях — о маленьком зверьке мангусте, который не знает страха и бросается в бой с любой



змеей, в том числе со смертельно ядовитой коброй. Люди выловили захлебнувшегося было зверька из канавы, обсушили и привели в чувство — и он стал верен семье и в первую очередь маленькому Тедди.

На веранде «за ранним завтраком сидели Тедди, его отец и мать. Но Рикки-Тикки сразу увидел, что они ничего не едят. Они не двигались, окаменев, и лица их побелели. На циновке возле стула Тедди лежала свернувшаяся Нагайна, и ее голова была на таком расстоянии, что она в любую секунду могла укусить голую ножку мальчика. Кобра покачивалась вперед и назад, распевая торжественную песню.

— Сын большого человека, убившего Нага, — шипела она, — не двигайся! Я еще не готова. Погоди немножко. Не двигайтесь, все вы трое. Если вы пошевелитесь, я ударю, если вы не пошевелитесь, я тоже ударю. О глупые люди, которые убили моего Нага!

Тедди не сводил глаз с отца, а его отец мог только шептать:

— Сиди неподвижно, Тедди. Ты не должен шевелиться. Тедди, не шевелись.

Рикки-Тикки поднялся на веранду и воскликнул:

— Повернись, Нагайна, повернись и начни бой».

И вскоре начинается бой крохотного зверька с огромной по сравнению с ним коброй — бой, о котором, надеюсь, вы прочтете сами.

### — 3 —

Те, кто постарше, должны обязательно прочитать совсем другие — трагические — рассказы о колониальном мире конца XIX — начала XX века.

Тут надо помнить поэтическую формулировку, которую Киплинг ввел в мировой культурный оборот, — неважно, верна эта формулировка или нет, но все используют ее уже почти век:

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток,  
и с мест они не сойдут,  
Пока не предстанет Небо с Землей  
на Страшный Господень суд.

И один из самых трагических его рассказов о любви с многозначительным названием «За чертой» начинается словами, которые сразу покажут нам, как далек сегодняшний мир от тогдашнего, где, скажем так, расстояние между Западом и Востоком было много длиннее сегодняшнего. Не забудем еще, что речь — об Индии, где люди от рождения делились на касты, и члены самой низшей касты — неприкасаемых — не только не должны были дотрагиваться до людей другой касты, но даже тень от них оскверняла человека, на которого случайно падала...

Вот как начинается этот при всем при том замечательный рассказ: «При всех обстоятельствах человек должен держаться своей касты, своей расы и своего племени. Пусть белый прилепится к белому, а черный к черному. ...Вот история человека, который ступил за надежные пределы добропорядочности и тяжело за это поплатился». И сегодня, конечно, отличия между Западом и Востоком порою очень и очень велики. Но все же границы совсем не таковы, как обозначены они Киплингом. И во всех городах мира можно встретить чернокожую красавицу рядом с совершенно белым джентльменом — и на лицах обоих будет написано счастье.

Не так было в Индии времени Киплинга. В рассказе описан тайный роман англичанина с пятнадцатилетней вдовой (!) Бизезой, страстно его полюбившей. И вот она узнает, что возлюбленный встречается с англичанкой — и обвиняет «его в неверности. Никаких полутонов для нее не существовало, и говорила она напрямик. Триджего смеялся, а Бизеза топала ножкой, нежной, как цветок бархатца, и такой маленькой, что она умещалась в мужской ладони». Она требовала, чтоб он немедленно

порвал с «чужой мем-сахиб». А он объяснял ей, «что она не понимает точки зрения людей с Запада на такие вещи. Бизеза выпрямилась и тихо сказала:

— Не понимаю. И знаю только одно — для меня худо, что ты, *сахиб*, стал мне дороже моего собственного сердца. Ты ведь англичанин, а я просто чернокожая девушка. — Кожа ее была светлее золотого слитка на монетном дворе. — И вдова чернокожего мужчины. — Потом, зарыдав, добавила: — Но клянусь своей душой и душой моей матери, я тебя люблю. И что бы ни случилось со мной, тебя зло не коснется».

О том страшном, что случилось с ней — вы прочтете сами. Обидно будет не прочесть именно в юности — об этом, а также и о сильных человеческих чувствах, с подлинным художественным блеском описанных в рассказах «Бабыя Погибель», «Миссис Батерст», да и в других.

# ШЕРЛОК ХОЛМС, ДОКТОР ВАТСОН, А ТАКЖЕ ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ

## — 1 —

Кажется, что детективы — то есть увлекательные истории про преступления, которые раскрывает умный и смелый сыщик, вступая в соревнование с хитрым и ловким преступником, — существовали всегда. А между тем это не так.

Таинственные истории, захватывающие приключения в литературе были издавна. И я еще буду вам напоминать лучшие из них, чтобы вы не забыли их прочитать вовремя — по крайней мере до конца школы.

Но детектив, можно сказать, придумал и дал замечательные образцы этого особого жанра английский писатель (с ирландскими корнями) Артур Конан Дойл (1859—1930).

Многие из вас — а может, и все? — конечно, слышали имя его главного героя — Шерлок Холмс. А у некоторых он стоит перед глазами как герой телесериала — в блестящем исполнении Василия Ливанова (я лично уверена, что это — лучший Шерлок Холмс на экране). И все-таки: читать про великого сыщика — это совсем особое дело. Запечатленные в авторском слове оттенки человеческих качеств — и порока, и благородства. Тонкости старомодных, но вечно привлекательных чувств, которыми нельзя не любоваться. Рыцарское отношение к женщине — и совершенно злодейское обращение с ней же. Хитросплетения преступных намерений — и сложнейшая работа мысли по их разоблачению. Просто жалко ограничиться телеэкраном и лишиться себя дополнительной приятности — следить за всем этим фраза за фразой.

«— ...Нет, не говорите мне, что она с вами в заговоре. Неужели она помогла вам заманить меня в эту ловушку?»

— Миссис Хилтон Кьюбит тяжело ранена и находится при смерти.

Он громко вскрикнул, и крик его, полный горя, разнесся по всему дому.

— Да вы с ума сошли! — заорал он яростно. — Он ранен, а не она! Разве у кого-нибудь хватило бы духу ранить маленькую Илси? Я угрожал ей, да простит меня Бог, но я не коснулся бы ни одного волоса на ее прекрасной головке» («Пляшущие человечки»).

В этом тайна литературы: можно прекрасно знать, чем все кончилось, — и все равно с наслаждением перечитывать описание волнующих сцен, где незаурядные люди демонстрируют сильные чувства и свойства своих твердых характеров.

Премьер-министр и министр Англии просят Холмса помочь в розыске пропавшего из шкапулки в доме министра важнейшего документа.

«— ...Мне надо знать содержание письма. О чем говорилось в нем?

— Это строжайшая государственная тайна, и я боюсь, что не могу ответить вам, тем более что не вижу в этом необходимости...

Шерлок Холмс, улыбаясь, встал.

— Я понимаю, конечно, что вы принадлежите к числу самых занятых людей Англии, — сказал он, — но и моя скромная профессия отнимает у меня много времени. Очень сожалею, что не могу быть вам полезным в этом деле, но считаю дальнейшее продолжение нашего разговора бесполезной тратой времени.

Премьер-министр вскочил. В его глубоко сидящих глазах сверкнул тот недобрый огонь, который нередко заставлял съеживаться от страха сердца членов кабинета.

— Я не привык, сэр... — начал он, но овладел собой и снова занял свое место.

... — Хорошо, я расскажу вам все, но полагаюсь целиком на вашу скромность и на скромность вашего коллеги, доктора Ватсона. Я взываю к вашему патриотизму,

джентльмены, ибо не могу представить себе большего несчастья для нашей страны, чем разглашение этой тайны.

— Вы можете вполне довериться нам».

В результате упорных размышлений и обдуманых действий Шерлока Холмса письмо оказывается в той же шкатулке, из которой незадолго до этого исчезло. Спокойствие Британии и честь министра спасены.

«— Не могу поверить своим глазам! — Он стремительно выбежал из комнаты. — Где моя жена? Я должен сказать ей, что все уладилось. Хильда, Хильда!

Премьер, прищурившись, посмотрел на Холмса.

— Послушайте, сэр, — сказал он, — здесь что-то кроется. Как могло письмо снова очутиться в шкатулке?

Холмс, улыбаясь, отвернулся, чтобы избежать испытующего взгляда этих пронизательных глаз.

— У нас тоже есть свои дипломатические тайны, — сказал он и, взяв шляпу, направился к двери» («Второе пятно»).

## ———— 2 ————

В чем отличие любого из рассказов о Шерлоке Холмсе от почти любой, увы, из повестей современных детективщиков (по большей части детективщиц)? Почему есть смысл читать не их, а Конан Дойла?

В книжках современных авторов мы следим за сюжетом — и только. Он может быть очень напряженным, профессионально оснащенным. Но, прочитав такую книжку однажды, вы вряд ли запомните ее героев — эти люди не очень-то интересны сами по себе и быстро выветриваются из памяти. И потому вряд ли захотите ее перечитывать.

Но разве забудешь Шерлока Холмса с неизменной трубкой и его верного друга!

В каждом рассказе Конан Дойла, неотрывно следя за напряженным действием, мы одновременно любимся



человеческой значительностью главных героев — блестящим аналитическим умом, благородством, чувством собственного достоинства и мужеством Шерлока Холмса, не меньшим благородством, преданностью и отвагой доктора Ватсона. Сильные страсти сильных и при этом твердых в своей морали людей — это не сравнить с переживаниями по поводу таких киногероев, для которых пристрелить человека — дело обычное, никаких размышлений, решения моральных проблем не требующее.

Потому «Собаку Баскервиль», например, можно перечитывать сколько угодно раз.



Помню, летом после пятого класса я ночами пересказывала ее в девчоночьей спальне летнего лагеря. Как же тряслись от страха девочки!.. Уверена, что многие из них потом нашли эту повесть и прочитали.

Вообще — одно дело увидеть по телевизору всю эту историю. Иное дело — почитать про нее. Одно другого не заменяет.

«В самой гуще подползающего к нам тумана послышался мерный, дробный топот». В этот непроницаемый туман трое людей — Холмс, Ватсон и сыщик Лестрейд — вперили «взгляд, не зная, какое чудовище появится оттуда. Стоя рядом с Холмсом, я мельком взглянул ему в лицо — бледное, взволнованное, с горящими при лунном свете глазами. И вдруг оно преобразилось: взгляд стал сосредоточен и суров, рот приоткрылся от изумления. В ту же секунду Лестрейд вскрикнул от ужаса и упал ничком на землю. ...Да! Это была собака, огромная, черная как смоль. Но такой собаки никто еще из нас, смертных, не видывал».

Да, хороша была, видно, собачка, если при ее виде сыщик из Скотланд-Ярда лицом в землю упал.

Девочки из моего отряда визжали от ужаса, когда я во тьме ночной загробным голосом описывала, как выглядела собачка. Вообще для ночных рассказов в компании не старше двенадцати лет очень годится это сочинение.

«Мы видели, как сэр Генри оглянулся, мертвенно-бледный при свете луны, поднял в ужасе руки и замер в этой беспомощной позе, не сводя глаз с чудовища, которое настигало его.

...Боже, как бежал в эту ночь Холмс! Я всегда считался хорошим бегуном, но он опередил меня на такое же расстояние, на которое я сам опередил маленького сыщика. Мы неслись по тропинке и слышали непрекращающиеся крики сэра Генри и глухой рев собаки. Я подоспел в ту минуту, когда она кинулась на свою жертву, повалила ее на землю и уже примеривалась схватить за горло. Но Холмс всадил ей в бок одну за другой пять пуль...»

И дальше раскручивается страшная история человеческой холодной жестокости и безудержного, ни перед чем не останавливающегося стремления к обогащению.

А сколько еще таких рассказов, которые непременно надо прочитать! «Пестрая лента», «Союз рыжих», «Пять апельсиновых зернышек», «Тайна Боскомской долины», «Скандал в Богемии», «Медные буки», «Убийство в Эбби-Грейндж»...

Все они написаны в конце 1880-х — начале 1890-х годов — потому все бытовые детали относятся к концу XIX века. Какой угодно из них, скажу прямо, интересно читать буквально в любом возрасте. Но зачем откладывать удовольствие?

### — 3 —

...Помню, в пятом классе, при первом чтении, меня поразило и заставило размышлять — не только в те годы, но и не раз впоследствии, — один фрагмент упомянутой повести.

Беглый каторжник, убийца Селдон, был младшим братом жены дворецкого Баскервилей — Бэрримора. Он скрывался на болоте, и супруги тайно его подкармливали. И вот доктор Ватсон сообщает дворецкому и его жене о случайной смерти этого человека. «Дворецкий принял это известие с нескрываемым чувством облегчения, но миссис Бэрримор горько плакала, закрыв лицо передником. В глазах всего мира этот Селдон был преступником, чем-то средним между дьяволом и зверем, а она по-прежнему видела в нем озорного мальчугана, ребенка, цеплявшегося в детстве за ее руку. Поистине чудовищем должен быть человек, если не найдется женщины, которая оплачет его смерть!»

Любопытно, что сам-то Конан Дойл был сначала почти что доктором Ватсоном.

Окончив медицинский факультет Эдинбургского университета, он получил диплом бакалавра медицины и магистра хирургии. Уже начав писать, был практикующим офтальмологом. Тогда-то он и изобрел свою форму — серию рассказов с одним главным персонажем и неизменным его компаньоном, от лица которого повествуется обо всех преступлениях, раскрываемых Шерлоком Холмсом. Но стоит иметь в виду, что когда доктор Ватсон касается медицинских деталей — он излагает их со знанием дела...

И естественнонаучные знания, приобретенные на медицинском факультете, помогли Конан Дойлу, думаю, в работе над первоклассным фантастическим романом «Затерянный мир» (1912).

Тут тоже могу поделиться личными воспоминаниями. Я читала его в пятом или шестом классе — то есть не позже тринадцати лет — и была в полном упоении. Откладывать чтение этого романа никак не советую — это чтение не для взрослых!

«...Вдруг навстречу мне из дверей, ведущих, должно быть, в столовую, быстро вышла женщина. Живая, черноглазая, она походила скорее на француженку, чем на англичанку.

— ...Разрешите вас спросить, вы встречались раньше с моим мужем?

— Нет, сударыня, не имел чести.

— ...Как только вы заметите, что он начал выходить из себя, сейчас же бегите вон из комнаты. Не перечьте ему.... О чем вы с ним собираетесь говорить — не о Южной Америке?

Я не могу лгать женщинам.

— Боже мой! Это самая опасная тема. Вы не поверите ни единому его слову, и, по правде сказать, это впол-

не естественно. Только не выражайте своего недоверия вслух, а то он начнет буйствовать. (А как не буйствовать, заметим мы в скобках, если профессор Челленджер видел своими глазами в джунглях Амазонки доисторических животных невероятных размеров, таинственным образом уцелевших, — а ему никто не верит! И посетитель-репортер вряд ли поверит.) Притворитесь, что верите ему, тогда, может быть, все сойдет благополучно. Не забывайте, он убежден в собственной правоте. В этом вы можете не сомневаться. Он сама честность. ...Когда увидите, что он становится опасен, по-настоящему опасен, позвоните в колокольчик и постарайтесь сдержать его до моего прихода. Я обычно справляюсь с ним даже в самые тяжелые минуты».

...Тут, может быть, самое время вспомнить с благодарностью имя переводчицы и «Собаки Баскервилей», и «Затерянного мира» — Натальи Альбертовны Волжиной. Именно благодаря ей эти сочинения читаются как хорошая русская проза, их хочется перечитывать и читать вслух. И так же хорошо зазвучали по-русски несколько из названных раньше рассказов под пером Марины и Николая Чуковских — с придирчивой редактурой Корнея Ивановича Чуковского, неутомимо знакомившего русского читателя с англоязычной литературой.

Вернемся в дом профессора Челленджера. Там дальше все пошло по худшему сценарию. Профессор ринулся на репортера. «К счастью, я успел открыть дверь, иначе от нее остались бы одни щепки. Мы колесом прокатились по всему коридору, каким-то образом прихватив по дороге стул. Профессорская борода забила мне весь рот, мы стискивали друг друга в объятиях, тела наши тесно переплелись, а ножки этого проклятого стула так и крутились над нами. Бдительный Остин (дворецкий Челленджера) распахнул настежь входную дверь. Мы кувырком скатились вниз по ступенькам». Ну и так далее.

Но в результате вчетвером отправились в потрясающую экспедицию и там увидели поразительные вещи.

Описаны же они так, что лично я до сих пор не сомневаюсь, что все это — правда.

Ну так и быть, приведу здесь полстранички. «...Среди деревьев была большая прогалина, и по этой прогалине разгуливало пять странных существ — таких мне еще никогда не приходилось видеть.

...Размеры их поразили нас. Даже маленькие были ростом со слона, а о взрослых уж и говорить не приходится. Их чешуйчатая, как у ящериц, кожа поблескивала на солнце аспидно-черными переливами. Все пятеро стояли на задних лапах, опираясь на широкие, толстые хвосты... Они напоминали гигантских, футов в двадцать высотой, кенгуру, покрытых темной крокодиловой кожей.

...Время от времени детеныши принимались неуклюже резвиться, подпрыгивая и с глухим стуком шлепаясь на землю. Их родители, по-видимому, обладали неслышанной силой, ибо один из них, не дотянувшись до листьев на верхушке довольно высокого дерева, обхватил



его передними лапами и переломил ствол пополам, словно тоненькую ветку. Поступок этот свидетельствовал одновременно о двух вещах: о сильно развитой мускулатуре и недоразвитом мозге, так как дерево рухнуло чудовищу прямо на голову, и оно разразилось громкими воплями».

А «отвратительная маска гигантской жабы — бородавчатая, словно изъеденная проказой кожа и огромная пасть, вся в свежей крови»?

А злобные человекообезьяны?..

В общем, там есть о чем почитать.

## — 5 —

А если вы еще не читали «Маракотову бездну», то я вообще не понимаю, как вы можете тратить время на что-то другое, а не ищете эту книжку.

Батискаф с тремя смельчаками опущен на канате на самое дно Атлантического океана. «...Легкое содрогание стальной кабинки, раздвигавшей длинные петли колыхающихся водорослей, показало, что канат натянут крепко и тащит нас за собой. Канат блестяще выдержал нашу тяжесть, и с постепенно возрастающей скоростью мы стали скользить по дну океана».

Но у главы рискованной экспедиции Маракота своя цель. Изучения дна океана ему недостаточно. Он ищет глубокую (по его расчету — семь тысяч шестьсот двадцать метров глубиной) впадину на дне. Спускаться в нее он не намерен — ни спускная цепь, ни трубки для воздуха этой глубины не достигнут. Но он надеется исследовать дно вокруг нее.

«Внезапно нам открылась чудовищная пропасть. Жуткое место, такое увидишь разве что в ночном кошмаре! Блестящие черные грани базальта круто обрывались вниз, в неизвестное. По краю пропасти росли мохнатые водоросли, как растет папоротник на краю обрыва где-

нибудь на поверхности земли; за этим колышущимся, точно живым бордюром шла гладкая блестящая стена бездны... Мы зажгли мощный сигнальный фонарь Лукаса и направили вниз сильный сноп параллельных лучей. Они падали в бездну все ниже и ниже, не встречая препятствий, пока не затерялись в непроглядном мраке».

Ну а дальше разворачиваются настоящие события.

«Какое-то крупное животное поднималось к нам из глубины по светлomu тоннелю». Это было нечто среднее между чудовищным крабом и чудовищным раком. «Панцирь светло-желтого цвета имел в окружности метра три, а в длину, не считая усов, чудовище было не меньше десяти метров!..»

И чудовище стало ощупывать своими клешнями кабинку, явно «размышляя, что это за странная банка и не найдется ли в ней съестное, если ее умеючи вскрыть».

Маракот кричит в телефон наверх:

«— Поднимите нас на десять-пятнадцать метров!»

...Но дьявольский рак не отставал. Вскоре мы снова услышали царапанье и постукиванье клешней, которыми он продолжал ощупывать кабинку. ...Мы медленно двинулись над краем бездны. Раз темнота не спасла нас от нападения, мы включили свет. Одно окно было совершенно закрыто брюхом чудовища. Голова и огромные клещи работали на крыше, и удары по кабинке звучали, как погребальный колокол. Чудовище обладало невероятной силой. Никогда еще смертному не приходилось быть в таком положении: километры воды внизу — и злобное чудовище сверху! Качка усилилась. И вот мы почувствовали, что чудовище дергает канат! Трубка принесла испуганный крик капитана, а Маракот вскочил, в отчаянии всплеснув руками. Даже внутри кабинки мы слышали скрежет перетираемого каната, звон и свист рвущейся проволоки — и через мгновение мы уже падали в бездонную пропасть.

У меня до сих пор в ушах звенит дикий крик Маракота.

— Канат оборван! Мы пропали! Все погибло! — вопил он. Потом, схватив телефонную трубку, отчаянно крикнул: — Прощайте, капитан, прощайте все!

Это были наши последние слова, обращенные к людям на земле».

Как вы уже поняли, батискаф для исследования дна Атлантического океана был спущен с корабля, с которым сохранялась и телефонная связь, пока чудовищный краб не оборвал канат, на котором держалась кабина. И теперь, «медленно вращаясь, широкими кругами, мы стали спускаться в бездонную пропасть. Прошло, наверное, не больше пяти минут, но нам они показались часом, когда телефонный провод натянулся и лопнул с тихим стоном, как струна. В ту же минуту лопнула и проводящая воздух трубка, и сквозь отверстие стала по каплям просачиваться соленая вода. Опытные, проворные руки Билли Сканлэна мигом перетянули конец резиновой трубки узлами, и вода перестала течь... Затем лопнул электрический провод, и мгновенно потух свет, но доктор в темноте добрался до аккумуляторов, и на потолке вспыхнули лампы».

И доктор говорит своим спутникам, что света нам хватит на неделю, добавляя «с кривой усмешкой»:

«— Во всяком случае, мы умрем при свете...»

Добряк-профессор говорит:

«— Мне, собственно, все равно. Я старик, довольно пожил, и моя роль в мире сыграна. Единственно, о чем я сожалею, зачем я вовлек двух молодых людей в это опасное предприятие. Я должен был рисковать один.

Я просто и горячо пожал ему руку, не в силах произнести ни слова. Билл Сканлэн тоже молчал. Мы медленно опускались, измеряя скорость по теням рыб, поднимавшихся вверх мимо окон. Казалось, что это рыбы поднимаются вверх, а не мы опускаемся вниз».

Еще до спуска, когда главный механик корабля узнал о замысле, то сказал: завод Мерибэнкс в Филадельфии, где он слывет лучшим механиком, послал его наблюдать



за машиной, «и если она спускается на дно моря, значит, и мое место на дне моря».

И теперь он высказался так:

«— В Филадельфии живет одна крошка, когда она узнает, что больше уже не увидит Билла Сканлэна, ее прелестные глазки наполнятся слезами. Да, что и говорить, хорошенький мы выбрали путь к нашим предкам.

— Вам не следовало опускаться с нами, — сказал я...

— Я бы счел себя последней дрянью, если бы остался наверху, — ответил он. — Нет, это моя прямая обязанность, и я рад, что исполнил ее».

Доктор Маракот объявляет, что «воздуха в баллоне хватит больше чем на полдня. Опасность в другом — в продуктах выдыхания. Они задушат нас. Если бы мы смогли выпускать углекислоту! ...У нас есть баллон кислорода. Я захватил его на всякий случай. Вдыхая его время от времени, мы как-нибудь продержимся еще...

— Да стоит ли бороться за жизнь? Чем скорее наступит конец, тем лучше, — заметил я.

— Это верно! — подтвердил Сканлэн. — Раз, два — и не копайся!

— И отказаться от поразительного зрелища, которого еще не видел ни один человек на свете? — возразил Маракот. — Это предательство по отношению к науке! Будем до конца записывать свои наблюдения, даже если им суждено погибнуть вместе с нами. Надо довести игру до конца.

— Да вы молодчага, док! Вы нам сто очков вперед дадите. Ладно, будем играть до последнего грошика».

Казалось бы, до трагического конца недалеко? Не тут-то было! Дальше-то и начинается самое интересное. И, на мой взгляд, очень-очень правдоподобное.

В Канаде когда-то жили только индейцы — разные их племена (ирокезы и другие). Потом европейцы открыли американский континент и стали его заселять. В Канаде селились французы и англичане. На континент пришла другая цивилизация, началась новая эпоха. Индейцы сопротивлялись. Им многие сочувствовали. В XIX веке появились увлекательные приключенческие романы Фенимора Купера и Густава Эмара о смелых и благородных воинах-индейцах.

Писатель Михаил Михайлович Пришвин вспоминал, как в 1880—1890-е годы его сверстники, русские мальчишки-гимназисты, и он сам, начитавшись этих романов, бредили Америкой и индейцами.

Молчаливые, с неподвижными, не выдающими эмоций лицами, не знающие страха люди, читающие книгу дикой природы «с листа», умеющие идти по следу врага там, где никакой европеец не увидит следов, — они возбуждали у русских подростков тягу к приключениям, наполненным риском.

«На почве этого чувства, — считал Пришвин, — у нас много выросло замечательных ученых, из которых достаточно назвать одного Пржевальского». Этот знаменитый русский путешественник открыл в далеких азиатских степях *дикую лошадь*, которая так и была названа в его честь «лошадь Пржевальского».

Родившийся в Англии в 1888 году мальчик Арчибальд Билэйни тоже был с детства увлечен историями про американских индейцев — и в восемнадцать лет отправился в Канаду. Вскоре он объявил себя индейцем (была ли его мать этой крови — кажется, так и осталось неясным), стал лесником и охотником и принял индейское имя *Серая Сова* (Вэша Куоннезин).

К началу XX века, конечно, давно окончилась эпоха кровопролитных войн, пришельцы и аборигены нашли формы сосуществования. Но вырубались леса — ради железных дорог, гибла от топоров и ружей дикая природа — естественная среда обитания индейцев. Серая Сова — уже после участия в Первой мировой войне (как европеец, он был призван на фронт) — решает посвятить себя ее защите.

Он пишет на эту тему статьи и книги. Несколько раз посещает Англию (а Канада, в отличие от независимой Америки, остается под протекторатом британской короны) и выступает перед бывшими соотечественниками в индейском национальном костюме. Так в 1937 году он выступает перед юными британскими принцессами, одна из которых — нынешняя королева Елизавета.

Через год, в возрасте пятидесяти лет, он умирает от воспаления легких в своей хижине на берегу одного из многочисленных канадских озер.

## — 2 —

В тот же год писатель Пришвин прочитал одну из его книг — и был поражен сходством их взглядов на жизнь. Сходны были и темы — в Канаде пишется книга о жизни бобров, когда он, Пришвин, пишет книгу о жизни пятнистого оленя («Жень-шень»), и критики находят между ними родственную связь.

«Когда-то, еще мальчиком, я не в шутку пытался убежать в Америку. Не удалось мне тогда побывать у индейцев. И вот теперь — счастье какое! — книга приводит прямо как бы в мою комнату тех самых индейцев, к которым в детстве своем пытался убежать».

Пришвин решил, что лучше будет не переводить книгу, написанную от первого лица, буквально, а *пересказать* ее. (Потому на титульном листе книги вы прочтете не слова — «Перевод М. Пришвина», а — «Пересказ с ан-

глийского Михаила Пришвина».) Он хотел на основе этой книги рассказать и о ее удивительном авторе — как бы со стороны.

«Такого рода люди, как Серая Сова, редко встречаются в романах. Ни малейшего интереса он не имел к достижению офицерского звания во время войны. Ни малейшей охоты не имел к чинам. Рядовым он вступил в армию и рядовым ушел из нее вследствие ранения, чтобы опять, таким же как был, вернуться в родные леса».

Под статью Серой Сове была и его жена; ее звали Гертруда, а он называл ее по-индейски — Анахарео.

«...Анахарео (что значит «пони») не была очень образованна, но она обладала в высокой степени благородным сердцем. Происходила она от ирокезских вождей. Отец ее был один из тех, которые создавали историю Оттавы» — Оттава, как вы, конечно, знаете, столица Канады. «Анахарео принадлежала к гордой расе и умела отлично держаться в обществе, была искусной танцовщицей, носила хорошие платья. Ухаживая за такой девушкой, Серая Сова тоже подтягивался. У него были длинные, заплетенные в косы волосы, на штанах из оленьей кожи была длинная бахрома, и шарф свешивался сзади в виде хвостика. На груди как украшение было заколото в порядке рядами направо и налево множество английских булавок. И почему бы, казалось, Серой Сове не украшать себя булавками, которые в то же самое время могли быть очень полезными: днем как украшение, ночью же при их помощи можно развешивать и просушивать свою одежду».

Он был охотником — как все или почти все индейцы, и первоклассным. Именно охотой он добывал себе пропитание. И вот в один прекрасный день пересмотрел свой взгляд на жизнь.

Он проплыл около двух тысяч километров на каноэ по стране, считавшейся бобровой, — и нашел только кое-где уцелевшие колонии и в разных местах — бобров-одиночек. Советовался с разными племенами индейцев, и все в один голос говорили — «бобр или вовсе пропал, или

находится на границе исчезновения». А индеец не представлял себе лес без бобра!

Виноваты в оскудении лесов были те, кого мы называем браконьерами. Они существуют во все времена, во всех нациях, их немало сегодня в России. Те, кому совсем-совсем (нормальному человеку даже трудно себе представить, до какой степени), абсолютно безразлична природа. Те, кто думают: «Да после меня хоть трава не расти!» Таких интересуют только деньги, которые они вырывают за охоту не по правилам — в сущности, за массовое убийство живых существ.

Серая Сова с болью рассказывал о том, как охотились на бобров те, кого он называл *пришельцами* — европейцы, населявшие Канаду. (Не надо только думать, что все европейцы таковы! В XX веке, особенно во второй его половине, Европа очень много сделала для введения законов о защите животных.)



«Индейцы как воспитанные, профессиональные звероловы ставили обыкновенно капканы подо льдом, и там, в воде, животное, захваченное капканом, или тонуло, или вырывалось и спасалось. Но у пришельцев были совсем другие приемы...»

Что может быть ужаснее, пишет этот человек, всю жизнь занимавшийся охотой ради пропитания, такого типа капкана, «который выхватывает бобра из воды за лапу и подвешивает его живым в воздухе?!» Так Серая Сова «нашел однажды мать, схваченную за лапу, а бобрята сосали у нее молоко. Она стонала от боли, и, чтобы освободить ее, пришлось отрезать ей лапу. Несмотря на боль, она поняла, что добрый человек ее освободил, и, доверяя ему, уходила медленно, поджидая своего маленького».

Серая Сова еще продолжал вынужденно ставить капканы на бобров, но что-то происходило в его душе. И вот однажды он не смог найти «бобровую мать» — она «оборвала цепь и ушла под воду вместе с капканом». Они уже уплывали от этого места, как услышали тихий крик маленьких бобрят. «— Спасем их!» — воскликнула его жена. Это оказалось не так-то легко — бобрята отлично плавали. Наконец «странного вида маленькие зверьки были пойманы и спущены в лодку. Они были каждый около полуфунта весом, с длинными задними ногами и чешуйчатыми хвостами. По дну лодки оба зверька стали ходить со свойственным бобрам видом спокойствия, настойчивости и целеустремленности. Супруги-охотники смотрели на эту парочку несколько смущенно, с трудом представляя себе, что же дальше-то делать с ними. Однако милосердные люди и вообразить себе не могли невероятных последствий появления этих животных в семье человека».

«Бобрята вовсе не были похожи на дикие существа, как мы их себе представляем: не прятались они по углам в ужасе, не глядели тоскующими глазами и ни в чем не заискивали. Совсем напротив: они гораздо более походили на два глубоко сознательных существа, видевших в людях своих защитников. ... Не так-то легко было найти способ кормления их. Что делать, если они не хотели пить молоко из тарелки, а бутылки с соской нигде нельзя было скоро достать? К счастью, осенила мысль погружать веточку, взятую с дерева, в банку со сгущенным молоком, а потом давать ее в рот бобренку обсосать и облизать.

После еды эти кроткие существа, полные обезоруживающего дружелюбия, считающие как бы вполне естественным такое отношение к ним людей, просились на руки, чтобы их поласкали. А скоро они взяли себе в привычку засыпать за пазухой, или внутри рукава, или свернувшись калачиком вокруг человеческой шеи. Переложить их из выбранного ими места в другое было невозможно — они немедленно просыпались и решительно, как в свой собственный дом, возвращались назад. Если же с излюбленного места их переключивали в ящик, то они пронзительно кричали, прямо требуя своего возвращения, и стоило протянуть к ним руку, как они хватились за нее и по руке взбирались и опять калачиком свертывались вокруг шеи.

Голоса людей они скоро научились различать и, если к ним, как к людям, обращались со словами, то оба, один перебивая другого, старались криками своими что-то сказать. Во всякое время им разрешено было выходить и бродить вокруг палатки, и все было у них хорошо до тех пор, пока они не теряли друг друга из виду. Неистовый крик поднимался, когда им случалось поодиночке заблудиться. Тут они теряли всякую самоуверенность, самообладание и звали на помощь людей. Когда их со-

единяли, то нужно было видеть, как они кувыркались, катались, вертелись, визжали от радости и потом ложились рядышком, вцепившись друг в друга своими цепкими лапками, чрезвычайно похожими на руки. Часто, когда приемыши спали, им в шутку что-нибудь говорили, и они слышали и сквозь сон пытались ответить по-своему. Если же это повторялось слишком часто, бобрята становились беспокойными и выражали свою досаду, как дети. Действительно, их голоса очень напоминали крики грудных детей».

Вскоре люди убедились, что бобрята привязались к ним и не собираются их покидать. Тогда им дали волю бродить где им заблагорассудится.

«Часто бобрята ненадолго спускались вниз, к озеру, своей обдуманной походкой, купались там, плавали в тростниках и возвращались важно, с видом двух старичков, делающих прогулку для моциона. Бобрята были





неплохие хозяева. Когда закончился молочный период их кормления, в дополнение к их естественной пище приходилось давать им еще овсянку. Каждый бобренок получал свою отдельную тарелку, и вот нужно было видеть, как они обходились с этими тарелками! Инстинкт бобров — накладывать все полезные материалы друг на друга где-нибудь в стороне, чтобы они не мешали, — перешел и на тарелки: заботливо вычищенные тарелки отодвигались к стене палатки, и тут их непременно нужно было поставить на ребро у стены. Это было, конечно, нелегко сделать, но они упорно добивались, и большей частью им удавалось прислонить тарелки к стене...»

И вот вместе со своими приемашиами двое людей двинулись на каноэ по Канаде — спасти ее природу от злых и равнодушных.

— 4 —

Квебек — это часть Канады, тогда заселенная главным образом французами. А сегодня точнее было бы сказать — потомками французов, канадцами, говорящими по-французски (*франкофонами*). Вообще же в Канаде говорили и говорят на двух языках — французском и английском. Когда Серая Сова с женой ехали уже по Квебеку, то слышали вокруг одну лишь французскую речь, и «Серая Сова поднимал в своей памяти те приблизительно сорок французских слов, которые он усвоил когда-то во время европейской войны». Серая Сова с женой двинулись на каноэ по бурному озеру. А по берегу, оказывается, шли французы, которые раньше предостерегали их от опасного плавания, а потом потеряли их из виду и беспокоились. И вот они встретились за поворотом. И один из французов «на беглом английском языке сказал путешественникам, что все они очень обрадованы благополучным завершением странствования. Можно представить себе, какое впечатление произвела эта дружественная

заинтересованность на людей одиноких, изнеможенных борьбой с мрачным предчувствием! Серая Сова даже почувствовал, будто у него как-то непривычно запершило в горле. Не находилось слов благодарности. Но французы открыли принесенную с собой корзину, начали выкладывать и печенье, и сэндвичи, и конфеты. И, предлагая, уговаривали принять все это в такой деликатной, исключаящей всякую возможность отказа форме, что у Анаха-рео заблестели глаза, и только бы чуть еще — и по щекам у нее покатались бы росинки».

Но тут — будто специально, чтоб разрядить обстановку, бобрята «показались из воды и остановились на берегу с наблюдающим видом». Чем, разумеется, привели впечатлительных французов в полный восторг.

В общем, тем, кто достанет книжку под названием «Серая Сова», и при этом любит и жалеет животных, — предстоит захватывающее чтение. Ведь здесь — вслед за Пришвиным (про детские книжки которого про зверей и животных будет дальше разговор особый) — мы пересказали всего несколько страничек.

## ЧТО ПИСАЛ МИХАИЛ ПРИШВИН ПРО ДЕТЕЙ, ЖИВОТНЫХ И ПРИРОДУ

### 1

Кто любит читать про животных и про природу — тот сразу, прямо сейчас, должен искать книги писателя Михаила Михайловича Пришвина.

Про животных многие писали замечательно — но он все-таки писал замечательно по-своему. Надеюсь, что вы уже прочитали рекомендованный вам мною его пересказ книги индейца Серая Сова — про маленьких бобрят?

А вот он описывает встречу с оленихой (ланкой) в замечательной повести «Жень-шень» (ну кто бы мог поверить, что можно написать большую повесть, где главным героем будет олень?):

«Была ночная тишина в воздухе, и потому я через некоторое время с большим удивлением заметил какое-то движение, перемещение среди солнечных зайчиков, как будто кто-то снаружи то заслонял, то открывал солнечные лучи. Осторожно я раздвинул побеги винограда и увидел всего в нескольких шагах от себя осыпанную своими собственными солнечными зайчиками ланку. ...Я почти не дышал, а она приближалась, как все очень осторожные звери, — один шаг ступит и остановится, и свои необыкновенно длинные и сторожкие уши настраивает в ту сторону, где что-нибудь причуивает... Я смотрел ей прямо в глаза, дивился их красоте, то представляя себе такие глаза на лице женщины, то на стебельке, как цветок...»

А вот про природу — даже не знаю, писалли кто-нибудь лучше него. Он, во всяком случае, как никто другой умел ее *наблюдать*. И замечал то, что другие не замечают, но зато, когда им покажут, восклицают: «Ой — правда!»

Например, именно он открыл такое время года — весна света.

Кто любит кататься на лыжах, тот, конечно, вспомнит, как в середине зимы солнце вдруг начинает греть щеку. Холодно — а солнце как будто теплое. То есть оно так ярко светит, что уже и греет.

Вот это время — примерно с последней декады января, когда короткий зимний день после 22 декабря уже сильно удлинился, а в воздухе начинает витать предчувствие — пока еще только предчувствие! — весны, Пришвин и назвал — по-моему, очень точно и замечательно — *весна света*.

И только после этого многие стали говорить, катаясь по сверкающей лыжне ярким солнечным февральским днем:

— Весна света!

## — 2 —

Пришвин был очень хороший охотник и немало писал про то, как он охотился на зверей и диких птиц.

Но мне, скажу честно, читать про охоту всегда было жалко — ведь обязательно кого-то живого убивают. Правда, сам Пришвин однажды написал тому, кто укорял его за то, что он убивает зверей, да еще и описывает это убийство: «...Моя охота дала множество рассказов охотничьих и детских, в которых косвенно осуждается убийство животных. Каждый разумный охотник, по мере того, как он вырастает, все больше и больше занимается самим мастерством, чем убийством: артистической стрельбой на стендах, обучением собак, спортивной, научной, художественной разработкой материалов, добытых еще в юности в жестокую пору, наконец, организацией разумного охотничьего хозяйства... Самое возникновение вопроса о таком убийстве мне кажется чем-то болезненным. Подумайте, миллионы людей в нашей стране собственными руками должны резать выхоженную ими любимую скотину, и только немногие городские счастливицы получают



мясо прямо из лавки. ...Не будь у нас в стране вдумчивых охотников-хозяев, вы бы — городские, милые, прекраснородушные любители животных, — незаметно для себя всю природу преспокойно съели бы в ресторанах».

— 3 —

Но Пришвин ухитряется и про охотничьих собак написать иногда безо всяких выстрелов.

В рассказе «Ярик» — о том, как он приучал к охоте на тетеревов шестинедельного щенка, — автор пишет: «Натаска без ружья мне доставляет иногда наслаждение не меньшее, чем настоящая охота с ружьем».

И вот сидят они вдвоем со щенком после летнего дождика под елкой рядом с вырубкой (это — поляна с пнями, оставшимися от вырубленных деревьев) — на ней «было много высоких, елочкой, красных цветов, и от них вся вырубка казалась красной...». Сидят — дожидаются, «пока птицы выйдут кормиться и дадут по росе свежие следы. Когда по расчету это время прошло, мы вышли на красную вырубку, и, сказав: — Ищи, друг! — я пустил своего Ярика».

А у Ярика — ирландского сеттера — чутье на громадное расстояние. И хозяин с завистью на него смотрел и думал: «Вот если бы мне такой аппарат, вот побежал бы я на ветерок по цветущей красной вырубке и ловил бы и ловил интересные мне запахи».

А дальше происходят забавные вещи. Большая серая тетерка «подлетела почти к самому Ярикову носу и над самой землей тихонько полетела, маня его криком: — Догоняй же, я летать не умею!

И, как убитая, в десяти шагах упала на траву и по ней побежала, шевеля высокие красные кусты». И пес не выдержал — и ринулся за ней. А должен был (если я только не ошибаюсь в охотничьих делах) сделать стойку — и ждать хозяина.

А тут — «фокус удался, она отманила зверя от выводка и, крикнув в кусты детям:— Летите, летите все в разные стороны! — сама вдруг взмыла над лесом и была такова. Молодые тетерева разлетелись в разные стороны и как будто слышалось издали Ярику: — Дурак, дурак!

— Назад!— крикнул я своему одураченному другу. Он опомнился и виноватый стал медленно подходить. Особенным, жалким голосом я спрашиваю:

— Что ты сделал?

Он лег.

— Ну, иди же, иди!

Ползет виноватый, кладет мне на коленку голову, очень просит простить.

— Ладно, — говорю я, усаживаясь в куст, — лезь за мной, сиди смирно, не хахай: мы сейчас с тобой одурачим всю эту публику.

Минут через десять я тихонько свищу как тетеревята:

— Фиу, фиу!

Значит:

— Где ты, мама?

— Квох, квох, — отвечает она, и это значит: — Иду!

Тогда с разных сторон засвистело, как я: — Где ты, мама? —



Иду, иду, — всем отвечает она. Один цыпленок\* свистит очень близко от меня, я ему отвечаю, он бежит, и вот я вижу, у меня возле самой коленки шевелится трава. Посмотрев Ярику в глаза, погрозив ему кулаком, я быстро накрываю ладонью шевелящееся место и вытаскиваю серого, величиной с голубя, цыпленка. — Ну, понюхай, — тихонько говорю я Ярику. Он отвертывает нос: боится хамкнуть. — Нет, брат, нет, — жалким голосом прошу я, — понюхай-ка!

Нюхает, а сам как паровоз. Самое сильное наказание. Вот теперь я уже смело свищу и знаю, непременно прибежит ко мне матка: всех соберет, одного не хватит — и прибежит за последним».

Так оно, конечно, по его замыслу и вышло: «Идет, бежит, вижу, как из травы то тут, то там, как горлышко бутылки, высунется ее шея...» — не могу не обратить внимание юных читателей на замечательное по своей точности сравнение! Автор завидовал нюху Ярика, но зато — какой же у него был глаз?.. «...А за ней везде шевелит траву и весь ее выводок».

Они, конечно, отпустили тетеревенка — и дали всему выводку улететь. Но довольны были, что всех одурачили.

———— 4 ————

А вот еще про одну собачку — но уже совершенно другую! Вот именно — про собачку, а не про охотничью собаку или пса.

Я прочитала этот рассказ — «Лимон» — еще в школе и очень его полюбила, несколько раз перечитывала.

«В одном совхозе было. Пришел к директору знакомый китаец и принес подарок. Директор, Трофим Михайлович, услышав о подарке, замахал рукой. Огорченный китаец поклонился и хотел уходить. А Трофиму

---

\* Подразумевается, конечно, — тетеревенка. — М. Ч.

Михайловичу стало жалко китайца, и он остановил его вопросом:

— Какой же ты хотел поднести мне подарок?

— Я хотел бы, — ответил китаец, — поднести тебе в подарок свой маленький собак, самый маленький, какой только есть в свете.

Услыхав о собаке, Трофим Михайлович еще больше смутился. В доме директора в это время было много разных животных: жил кудрявый пес Нелли и гончая собака Трубач, жил Мишка, кот черный, блестящий и самостоятельный, жил грач ручной, ежик домашний и Борис, молодой красивый баран. Жена директора Елена Васильевна очень любила животных.

При таком множестве дармоедов Трофим Михайлович, понятно, должен был смутиться, услышав о новой собачке.

— Молчи! — сказал он тихонько китайцу и приложил палец к губам. Но было уже поздно: Елена Васильевна уже услышала слова о самой маленькой во всем свете собачке.

— Можно посмотреть? — спросила она, появляясь в конторе.

— Собак здесь! — ответил китаец.

— Приведи.

— Он здесь, — повторил китаец. — Не надо совсем приведи.

И вдруг с очень доброй улыбкой вынул из своей кофты притаенную за пазухой собачку, каких я в жизни своей никогда не видел и, наверное, у нас в Москве мало кто видел. Она была рыженькая, с очень короткой шерстью, почти голая и, как самая тоненькая пружинка, постоянно отчего-то дрожала. Такая маленькая, а глазища большие, черные, блестящие и навывкате, как у муравья.

— Что за прелесть! — воскликнула Елена Васильевна.

— Возьми его! — сказал счастливый похвалой китаец. И передал свой подарок Елене Васильевне. Елена Васильевна села на стул, взяла себе на колени дрожавшую не то от холода, не то от страха пружинку, и сейчас же



маленькая верная собачка начала ей служить, да еще как служить! Трофим Михайлович потянул было руку погладить своего нового жильца, и в один миг тот хватил его за указательный палец. Но, главное, поднял в доме такой сильный визг, как будто кто-то на бегу схватил поросенка за хвостик и держал.

Визжал долго, взлаивал, захлебывался, дрожал, голенький, от холода и злости, будто не он директора, а его самого укусили. Вытирая платком кровь на пальце, довольный Трофим Михайлович сказал, внимательно вглядываясь в нового сторожа своей жены:

— Визгу много, шерсти мало!

Услышав визг и лай, прибежали Нелли, Трубач, Борис и кот. Мишка прыгнул на подоконник. На открытой форточке пробудился задремавший грач. Новый жилец принял всех их за неприятелей своей дорогой хозяйки и бросился в бой. Он выбрал себе почему-то барана и больно укусил его за ногу. Борис метнулся под диван. Нелли и Трубач от маленького чудовища унеслись из конторы в столовую. Проводив огромных врагов, маленький воин кинулся на Мишку, но тот не побежал, а, изогнув спину дугой, завел свою общеизвестную ядовитую военную песню.

— Нашла коса на камень! — сказал Трофим Михайлович, высасывая кровь из раненого указательного пальца.

...— А как его звать? — спросила очень довольная всем виденным Елена Васильевна.

Китаец ответил просто:

— Лимон».

Но так и знайте, что самое интересное и с Лимоном, и со всеми обитателями дома происходит в рассказе дальше. Доставайте книжку Пришвина и читайте. Рассказ маленький, как сама собачка.

А самая первая книга Пришвина называлась — «В краю непуганных птиц» (1907). Это — очерки о реальном его путешествии на наш Север, к Онежскому озеру. Он хотел увидеть природу, не тронутую человеком. И там местный охотник говорит ему «значительно, почти таинственно:

— В наших лесах много такой птицы, что и вовсе человека не знает.

— Непуганная птица?

— Нетращенная, много такой птицы, есть такая...»

Понятно, что «нетращенная» — это и есть «непуганая» (в современной орфографии): «нестращенная», от слова «стращать», то есть «пугать». Напомню первые строки одного стихотворения Ахматовой:

Не стражай меня грозной судьбой  
И великою северной скукой.

## ВЪ КРАЮ НЕПУГАННЫХЪ ПТИЦЪ.

ОЧЕРКИ ВЫГОВСКОГО КРЯЯ.

М. М. ПРИШВИНА.

Съ 66-ю иллюстраціями по рисункамъ съ натуры автора

и П. П. ПОЛЗУНОВА.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
Издание А. Ф. Девриена.

«Онежское озеро, — пишет Пришвин, — называется местными жителями просто и красиво “Онего”, точно так же, как и Ладожское в старину называлось “Нево”. Жаль, что прекрасные народные названия стираются казенными».

Пришвин проиллюстрировал свою первую книжку своими собственными фотографиями, а также рисунками, сделанными по снимкам, — тогда прибегали к таким визуальным формам.

Вообще же главной темой его книг так и осталась встреча человека с природой. Иногда — дружелюбной к нему, нередко — враждебной..

Об этом же — и написанная сорок лет спустя специально для детей сказка-быль (так сам автор обозначил ее жанр) — «Кладовая солнца».

«В одном селе, возле Блудова болота, в районе города Переславль-Залесского, осиротели двое детей. Их мать умерла от болезни, отец погиб на Отечественной войне.

...Они были очень милые. Настя была как Золотая Курочка на высоких ножках. Волосы у нее, не темные, не светлые, отливали золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки, и частые, и тесно им было, и лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел вверх.

Митраша был моложе сестры на два года. Ему было только десять с хвостиком. Он был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и сильный».

Дети жили одни.

Конечно, соседи помогали им, чем могли. Они не хотели, чтобы такие самостоятельные, привыкшие к своему дому и приученные родителями к хозяйству дети попали в детдом.

Им от родителей осталась пятистенная изба и много живности, за которой надо было ухаживать, — «корова Зорька, телушка Дочка, коза Дереза, безымянные овцы, куры, золотой петух Петя и поросенок Хрен». И вот они

отправились однажды на болото за клюквой — и попали в ужасные приключения...

Все пересказывать не буду — перескажу и процитирую страничку ближе к концу.

У охотничьей собаки умер хозяин — Антипыч. И она жила после этого своей неприкаянной жизнью и смотрела на разных людей с мыслью — а может, он немножко Антипыч? Или — наоборот?.. И вот эта собака, преследуя по болоту зайца, «вдруг в десяти шагах от себя глаза в глаза увидела маленького человека и, забыв о зайце, остановилась как вкопанная». А глаза в глаза она увидела его потому, что Митрашу уже выше пояса засосало болото...

«Для Травки все люди были, как два человека: одни — Антипыч с разными лицами и другой человек — это враг Антипыча. И вот почему хорошая, умная собака не подходит сразу к человеку, а остановится и узнает, ее это хозяин или враг его.

Так вот и стояла Травка и глядела в лицо маленького человека, освещенного последним лучом заходящего солнца.

Глаза у маленького человека были сначала тусклые, мертвые, но вдруг в них загорелся огонек, и вот это заметила Травка.

“Скорее всего, это Антипыч”, — подумала Травка.

И чуть-чуть, еле заметно вильнула хвостом».

И она стала ждать от него какого-то знака — чтобы удостовериться — да, это он, а не враг.

«А лапы ее между тем понемногу тоже засасывало.

Если так дольше стоять, то и собачьи лапы так засосет, что и не вытащишь. Ждать больше нельзя.

И вдруг...

Ни гром, ни молния, ни солнечный восход со всеми победными звуками... никакое чудо природы не могло быть больше того, что случилось сейчас для Травки в болоте: она услышала слово человеческое и какое слово!

Антипыч, как большой, настоящий охотник, назвал свою собаку, конечно, по-охотничьи — от слова “травить”,



и наша Травка вначале у него называлась Затравка; но после охотничья кличка на языке оболталась, и вышло прекрасное имя Травка... И когда загорелся огонек в глазах маленького человека, это значило, что Митраша вспомнил имя собаки. Потом омертвелые губы маленького человека стали наливаться кровью, краснеть, зашевелились. Вот это движение губ Травка заметила и второй раз чуть-чуть вильнула хвостом. И тогда произошло настоящее чудо в понимании Травки. Точно так же, как старый Антипыч в самое старое время, молодой и маленький Антипыч сказал:

— Затравка!

Узнав Антипыча, Травка мгновенно легла.

— Ну! Ну! — сказал Антипыч. — Иди ко мне, умница!

И Травка в ответ на слова человека тихонечко поползла».

А дальше начинается самое волнующее. Читать спокойно совершенно невозможно. Но, надеюсь, — вы все-таки сами прочтаете. Очень интересно. И узнаете к тому же, как надо вести себя в критических ситуациях. А в такой ситуации может оказаться любой.

## ОБ ОДНОМ СТАРИЧКЕ С БОЛЬШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

### 1

«В семь часов тридцать две минуты утра веселый солнечный зайчик проскользнул сквозь дырку в шторе и устроился на носу ученика пятого класса Вольки Костылькова. Волька чихнул и проснулся».

И когда услышал в соседней комнате слова отца «...складывать вещи», то моментально сбросил с себя одеяло и стал одеваться. Ведь они сегодня переезжают на новую квартиру!

...Их новый дом оказался близко от речки. И сказав маме, что пойдет на берег готовиться к экзамену по географии, Волька наплавался и нанырлся до посинения.

И, представьте себе, в тот самый момент, когда после последнего нырка собирался подняться на поверхность, его рука нащупала на дне какой-то продолговатый предмет. Волька, конечно, хватает его и выныривает.

«В его руках была склизкая, замшелая глиняная бутылка очень странной формы. Горлышко было наглухо замазано каким-то смолистым веществом, на котором было выдавлено что-то, отдаленно напоминавшее печать».

Что думает Волька? Разумеется, что в бутылке — клад. Старинные золотые монеты. Со всех ног он мчится домой. И, запершись в комнате на ключ, «вытащил из кармана перочинный нож и, дрожа от волнения, соскреб печать с горлышка бутылки.

В то же мгновение вся комната наполнилась едким черным дымом, и что-то вроде бесшумного взрыва большой силы подбросило Вольку к потолку, где он и повис, зацепившись штанами за ламповый крюк».

Так он и висел, раскачиваясь на крюке и пытаясь понять, что же с ним произошло.

А когда дым в комнате понемножку рассеялся, он «вдруг увидел, что в комнате, кроме него, находится еще

одно живое существо. Это был тощий старик с бородой по пояс, в роскошной шелковой чалме, в таком же кафтане и шароварах и необыкновенно вычурных сафьяновых туфлях.

— Апчи! — оглушительно чихнул неизвестный старик и пал ниц. — Приветствую тебя, о прекрасный и мудрый отрок!»

Очень надеюсь, что все читающие эти строки знают, что значит «пал ниц», а также «отрок» (тем более что мы с вами когда-то рассуждали об отрочестве), а кто не знает — поспешит заглянуть в словарь.

Не буду рассказывать никаких подробностей, а то неинтересно будет читать. Скажу только — это и был старик Хоттабыч. С той минуты и начались в жизни Вольки удивительные приключения.

А когда Хоттабычу показалось, что один из друзей Вольки может причинить ему неприятность, он взял да



и продал его в рабство — в весьма далекие страны... «— То есть, как это — в рабство? — спросил потрясенный Волька.

Старик понял, что опять получилось не так, как надо, и его лицо сразу приняло кислое выражение.

— Очень просто, обыкновенно, как всегда продают в рабство! — нервно огрызнулся он. — Взял и продал в рабство. Чтобы не трепался».

Ну и, конечно, приходится за несчастным рабом лететь. Разумеется, на ковре-самолете. «Не на птицах же нам лететь», — ехидничает старик в ответ на Волькин вопрос — на чем? Он произнес соответствующее заклинание, «ковер выпрямился, стал плоским и твердым, как лестничная площадка, и стремительно рванулся вверх, увлекая на себе улыбавшегося Хоттабыча и Вольку, у которого голова кружилась не то от восторга, не то от чувства высоты». Летят себе летят; несмотря на сильный холод, Волька засыпает, а потом его будит «тихий мелодичный звон, походивший на звон ламповых хрустальных подвесков. Это звенели сосульки на бороде Хоттабыча и обледеневшие кисти ковра».

А уж как юный невольник попал домой — вы прочтете сами.

## — 2 —

Но любимое многими место в этой книге — это как ее герой попал на футбол и что из этого вышло. «— Не сочтешь ли ты, о Волька, возможным объяснить твоему недостоинному слуге, что будут делать с мячом эти двадцать два столь симпатичных мне молодых человека? — почти-тельно осведомился Хоттабыч, но Волька в ответ только нетерпеливо отмахнулся: сейчас все сам поймешь».

И понятливый Хоттабыч по-своему разобрался в сути игры. А спутники-то его расслабились — и не отреагировали на следующий вопрос:



«— Неужели этим двадцати двум приятным молодым людям придется бегать по этому обширному полю, терять силы, падать и толкать друг друга только для того, чтобы иметь возможность несколько мгновений погонять этот невзрачный кожаный мячик? — недовольно спросил Хоттабыч через несколько минут».

И тут-то, пока Волька с приятелями напряженно следили за игрой, «откуда-то сверху, с неба, звеня, упали и покатались по полю двадцать два ярко раскрашенных во все цвета радуги мяча, изготовленные из превосходного сафьяна.

— Это безобразие! Неслыханное хулиганство! Вывести со стадиона того, кто позволяет такие возмутительные шутки! — возбужденно кричали на трибунах.

Но только четыре человека из восьмидесяти с лишним тысяч зрителей знали, кто это сделал.

— 3 —

Читать «Старика Хоттабыча» надо именно в первой редакции 1940 года, а не в безнадежно испорченных огромными вставками на темы международной политики Советского Союза (делать эти вставки автора, писателя Лазаря Лагина, буквально заставляли — то есть угрожали иначе не переиздавать любимую подростками книжку) изданиях 1957, 1973 и других годов. Только после конца советской власти — и после смерти писателя — его дочери удалось переиздать книгу в том самом виде, в котором вышла она когда-то из-под пера автора. Надо искать поэтому такие издания конца 90-х — начала 2000-х годов, где будет указано, что печатается по изданию 1940 года, а не по какому-либо более позднему.

В общем, добывайте книжку и читайте про старика Хоттабыча. Там, конечно, много примет давнего советского времени. Волька говорит, например, о «политиче-

ской безграмотности» старика, который не понимает, что принцы да короли с точки зрения советского человека — вовсе не «знать»; там встречаются советские слова «лишенец», «стахановец» и так далее. Но значение этих давно исчезнувших слов легко узнать, заглянув, скажем, в «Толковый словарь языка Совдепии» или какой-нибудь другой. А книжка все равно получилась у автора очень увлекательная, и надо успеть прочитать ее вовремя.



Вернемся еще раз к повести «Старик Хоттабыч» — уже с особой целью.

Когда Волька оказался с Хоттабычем в цирке, тот недолго вытерпел роль зрителя и быстренько оказался на арене.

«— Разве это чудеса? Ха-ха!»

Он отодвинул оторопевшего фокусника в сторону и для начала изверг из своего рта один за другим пятнадцать огромных разноцветных языков пламени, да таких, что по цирку сразу пронесся явственный запах серы». После серии превращений оторопевшего фокусника Хоттабыч возвращает его «в его обычное состояние, но только для того, чтобы тут же разодрать его пополам вдоль туловища».

Не напоминает ли это тем, кто читал «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова, как булгаковский кот на сеансе черной магии в Варьете пухлыми лапами «вцепился в жидкую шевелюру конферансье и, дико взыв, в два поворота сорвал голову с полной шеи»?

В «Старике Хоттабыче» дальше ситуация развивается так: «Обе половинки немедля разошлись в разные стороны, смешно подскакивая каждая на своей единственной ноге. Когда, проделав полный круг по манежу, они послушно вернулись к Хоттабычу, он срастил их вместе и, схватив возрожденного Мей Лань-Чжи за локотки, подбросил его высоко, под самый купол цирка, где тот и пропал бесследно». Опять-таки похоже на действия кота Бегемота, который, «прицелившись поаккуратнее, нахлобучил голову на шею, и она точно села на свое место». А затем булгаковский Фагот хоть и не отправил конферансье под потолок, но, во всяком случае, «выпроводил со сцены со словами: — Катитесь отсюда! Без вас веселей».

А в книжке про Хоттабыча с публикой «творилось нечто невообразимое. Люди хлопали в ладоши, топали но-

гами, стучали палками, вопили истошными голосами “Браво!”, “Бис!”, “Замечательно!”»

Ну, тут, конечно, в действие вмешиваются двое молодых людей. «Один из них развязно подбежал к Хоттабычу и с возгласом: “Я, кажется, понимаю, в чем дело!” попытался залезть к нему под пиджак, но тут же бесследно исчез под гром аплодисментов ревавшей от восторга публики. Такая же бесславная участь постигла и второго развязного молодого человека».

И в романе Булгакова на уже упомянутом представлении в Варьете некие молодые люди тоже подают голос с галерки: «— Стара штука... этот в партере из той же компании». Ну и, конечно, тоже получают свое: «В таком случае, и вы в одной шайке с ними, потому что колода у вас в кармане!».

## — 2 —

Хоттабыч вершит свой суд над жителями Москвы, наказывает жадных и злых. «Вы, смеющиеся над чужими несчастиями, подтрунивающие над косноязычными, находящие веселье в насмешках над горбатыми, разве достойны вы носить имя людей?»

И он махнул руками.

Через полминуты из дверей парикмахерской выбежали, дробно цокая копытцами, девятнадцать громко бляющих баранов».

Парикмахер, видя, что произошло с его клиентами, хотел прошептать «Ой, мамочки, что же это такое?» — а изо рта у него «вылетели не членораздельные слова, а протяжное и пронзительное “мэ-э-э”».

Он испуганно посмотрел в зеркало и вместо своей привычной физиономии увидел на редкость глупую баранью морду. Тогда он горько заплакал, встал на все свои новые четыре ноги и, цокая копытцами, выбежал вместе с остальными...»

А потом?

Потом, когда через несколько дней открыли хлев, куда всех их тогда же и поместили, то увидели, что бараны бесследно пропали!

«Вместо баранов в стойлах металось около двух десятков мужчин, прикованных за ноги к стене».

Ну, в конце концов человеческий облик им возвращается — как и в «Мастере и Маргарите» одного из персонажей возвращают в его костюм...



Когда Хоттабычу нужно было тайно побрить Вольку (бороду-то для прохода в кино, куда «до 16-ти» входа нет, ему Хоттабыч мгновенно вырастил, а как ее убрать — забыл!), он нашел в одном из домов бреющегося человека, собрал все бритвенные принадлежности, ухватил Степана Степановича за шиворот и, не говоря худого слова, «вылетел с ним через окошко в неизвестном направлении. Через несколько минут они через окошко же влетели в знакомую нам комнату...» Ну, там ему пришлось в насильственном порядке бороду у Вольки побрить.

Но, конечно, неожиданный вылет из собственного окошка и полет через весь город в Волькину комнату произвел на этого человека неизгладимое впечатление.

И автор «Старика Хоттабыча» пишет далее, что про Степана Степановича Пивораки «доподлинно известно, что он после описанных выше злоключений совершенно изменился.

Раньше болтливый, он стал скуп на слова и каждое из них тщательно взвешивает, перед тем, как произнести. Недавно еще большой любитель выпить, он решительно прекратил после этого потреблять алкогольные напитки и даже, если верить слухам, переименовал фамилию Пивораки на более соответствующую его теперешнему настроению фамилию Ессентуки».

Но и тезка Степана Пивораки, один из персонажей «Мастера и Маргариты» — Степа Лиходеев — изменился не менее после того, как его вынесло из его квартиры (которую надо было освободить для Воланда и его свиты) неведомой силой и перенесло из Москвы в Ялту! «Ходят слухи, что он совершенно перестал пить портвейн и пьет только водку, настоящую на смородинных почках, отчего очень поздоровел. Говорят, что стал молчалив и сторонится женщин».

А откуда все-таки это сходство между персонажами таких разных книг совсем разных писателей — между Воландом «Мастера и Маргариты» и главным героем «Старика Хоттабыча»? Ведь авторы явно ничего не знали о работе друг друга, дописывая в конце 30-х годов, то есть в одно и то же время, свои произведения.

Можно предположить, что дело, наверно, вот в чем. Фигура, стоявшая в тот год во главе нашей страны, — Сталин — давно уже воспринималась всеми ее жителями как воплощение всемогущества. Он держал в своих руках жизнь и смерть каждого человека. О том огромном зле, которое он приносил людям ежедневно (в середине 30-х годов в день расстреливали по его приказу тысячи невинных людей), разговоров вслух не было — это было смертельно опасно. А вот о неожиданных телефонных звонках кому-либо «сверху», прямо из Кремля, от «самого» Стали-



*Воланд в плаще*

на, о его неожиданной помощи (убивал миллионы, а нескольким людям взял и помог — чтобы рождались легенды о «добром» Сталине) говорили все. Для этого он и звонил.

И поэтому совсем не удивительно, что изобразить некое всемогущее существо захотелось двум писателям одновременно, независимо друг от друга. Скорее можно удивляться, что таких сочинений не было гораздо больше.

*В ресторане*



— 5 —

Так случилось, что первым иллюстратором романа стала юная талантливая художница Надя Рушева (скоропостижно скончавшаяся в марте 1969 года, в неполных 17 лет).

Роман появился в свет — в искаженном виде, с огромными цензурными купюрами — в журнале «Москва»: первая часть в ноябрьском номере 1966 года, вторая в январском 1967-го. В руки Нади эти номера журнала, которые москвичи, да и жители разных городов давно рвали друг у друга из рук, попали в мае 1968 года. Два дня она читала Булгакова не отрываясь. И в июне начала серию своих рисунков к роману.

Известно, что во внешности «иностранца», в первой же главе романа появившегося на Патриарших прудах перед Берлиозом и Иваном Бездомным, немало от грима Мефистофеля в опере Гуно «Фауст». Юный Булгаков бежал слушать ее в Киеве бесчисленное количество раз.



А у юной художницы Рушевой был свой взгляд на Воланда. Рассматривая портрет Шаляпина в гриме Мефистофеля — работу знаменитого театрального художника А. Я. Головина, она «задумчиво сказала:

— А булгаковский Воланд... не таков (записи ее отца)».

В декабре 1968 года в фойе московского Центрального дома работников искусств развешивали ее однодневную выставку. И заместитель директора ЦДРИ потребовал изъять два стенда с «Мастером и Маргаритой»:

— Этот необычный, сомнительный булгаковский роман написан не для школьников!

За Надины рисунки к роману вступились известные люди, кинодраматурги, художники, говоря следующее (их слова, как и слова администратора, также записал отец Нади): «...Роман М. Булгакова — не сомнительный, а очень сложный и, во всяком случае, не запрещенный. Рушева — первой из художников его блестяще истолковала».

Сегодня уже никто не повторит слова советского администратора — «этот роман не для школьников!». И недаром художественное истолкование его школьницей оказалось *первым*.



*Понтий Пилат с псом.*

## ПРО ЛИЛИПУТОВ, ВЕЛИКАНОВ, А ТАКЖЕ УМНЫХ И ДОБРЫХ ЛОШАДЕЙ

### 1

На исходе XVII века, а именно 4 мая 1699 года из портового английского города Бристоля вышел в дальнее плавание корабль. Вышел он, как вы уже, конечно, поняли, под парусами, поскольку первый пароход был построен только столетие спустя.

Корабль держал курс на Индию. Но 5 ноября (то есть после полугодового пути!) ураганом их отнесло к Тасмании (не поленитесь взглянуть на карту мира и найти этот остров), а потом и вовсе понесло на скалу и разбило. Шестерым удалось спустить шлюпку. Потом и ее перевернуло. Один из путешественников долго плыл куда глаза глядят, подгоняемый ветром и течением. Наконец он почувствовал под ногами землю.

Буря стихала, но дно оказалось очень отлогим, и до берега он шел долго. Потом пошел по суше вглубь неведомой страны, но не встретил ни одного жителя. Наконец его сморило, он «лег на траву, очень низкую и мягкую, и заснул как никогда в жизни».

...Обратили ли вы внимания на странные слова «очень низкую»? Скоро они получат разгадку.

Лег он поздно вечером, а проснулся, когда было уже совсем светло. «Я попробовал встать, но не мог пошевелиться. Мои руки и ноги — а я лежал на спине — были прочно прикреплены к земле. Точно так же были притянуты к земле мои длинные и густые волосы. Вместе с тем я чувствовал, что все мое тело от подмышек до бедер перетянуто множеством тонких шнурков...

Вскоре я почувствовал, как что-то живое задвигалось у меня на левой ноге, осторожно пробралось мне на грудь и приблизилось к подбородку...»

Представляете себе?

Это же можно просто с ума сойти. Не знаю, как мальчики, а любая девочка, по-моему, окоченеет от страха, если, лежа связанной по рукам и ногам — и даже по волосам! — вдруг почувствуешь, что что-то живое и маленькое ползет к твоему подбородку. Я, во всяком случае, когда читала первый раз — в восемь или девять лет — книгу Джонатана Свифта «Приключения Гулливера», или, если называть ее полностью, — «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей», — то просто затряслась от испуга.

Кстати сказать, во времена моего детства никаких длинных волос, спутанных или любовно расчесанных, стянутых резинкой в хвост или распущенных до плеч и даже до пояса, у мальчиков, юношей и взрослых мужчин не было и быть не могло. Так что длинные волосы Гулливера, которыми сегодня никого не удивишь, были для меня приметой иного мира, иного времени.



«...Опустив глаза, я различил перед собой человека ростом не более шести дюймов, с луком и стрелой в руках и колчаном за спиной». Напомню, что дюйм (английская мера длины) — примерно 2,5 см. То есть человек был ростом примерно 22 см.

А за ним карабкались на связанного Гулливера еще около сорока таких человечков!

«От изумления я так громко вскрикнул, что, соскакивая с меня на землю, некоторые из них получили ушибы. Однако они скоро вернулись. Один смельчак рискнул подойти так близко к моему лицу, что мог видеть его целиком. В знак изумления он поднял руки, закатил глаза и крикнул пронзительным, но четким голосом: “Текинадегуль!” Другие несколько раз повторили эти слова, но тогда я еще не знал, что они значат».

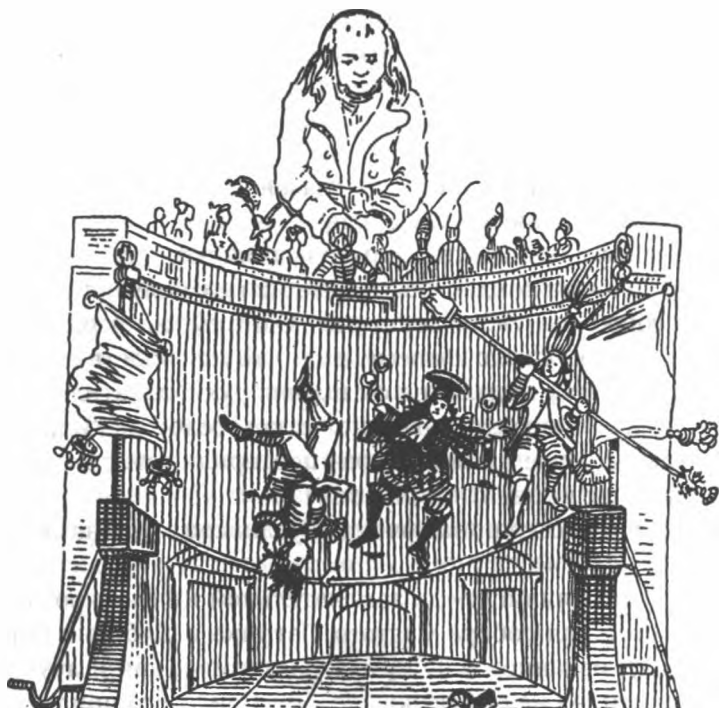
И начинаются приключения Гулливера в стране лилипутов.

А слова «лилипут» до замечательной книги скромного настоятеля собора Святого Патрика в Дублине (Ирландия), изданной в 1726 году анонимно, как и другие его книги, — не существовало. Это Свифт его придумал и ввел посредством своей книги во все языки. Как, собственно, и имя *Гулливер* — так мы нередко называем очень высокого человека.

Про множество событий, происходивших во время пребывания Гулливера в Лилипутии, вы прочтете сами. Скажу только, что ему удалось бежать оттуда на шлюпке — когда он узнал, что ему собираются выколоть глаза.

## — 2 —

Гулливер взял с собой шесть крохотных коров, двух быков и столько же овец с баранами — «чтобы привезти их к себе на родину и заняться их разведением». В пути он встретил английское купеческое судно, возвращающееся из Японии. Капитан взял его на борт — но «когда я вкратце



рассказал ему мои приключения, он подумал, что я заговариваюсь и что перенесенные несчастья помutilи мой рассудок. Тогда я вынул из кармана коров и овец...»

В общем, Гулливер благополучно приезжает к себе домой и выпускает свое стадо пастись на травку, а впоследствии даже показывает за большие деньги «знатным лицам». Но дольше двух месяцев он дома с женой и детьми усидеть не мог — «мое ненасытное желание видеть чужие страны не давало мне покоя... Я попрощался с женой, дочерью и сыном, причем дело не обошлось без слез с обеих сторон, и сел на купеческий корабль...».

Ну, вы, конечно, догадались — снова буря, снова их уносит неведомо куда. Правда, на этот раз корабль не разбивается, а носит по волнам. Начинает беспокоить нехватка пресной воды. Наконец «дежуривший на мачте юнга

увидел землю». И они подошли «к большому острову или континенту. Что именно это было, мы не знали». Бросили якорь, «капитан послал на берег баркас с десятком хорошо вооруженных людей. Они взяли с собой бочонки на случай, если найдется вода. Я попросил у капитана позволения присоединиться к ним». А Гулливер, как я понимаю, был на корабле судовым врачом.

И вот матросы разбрелись по побережью в поисках воды. А Гулливер походил-походил, но не нашел ничего любопытного — кругом была «бесплодная каменистая пустыня». Он направился обратно к бухте — и вдруг увидел, что матросы «погрузились в баркас и изо всей силы гребут к кораблю». А за ними гонится человек исполинского роста. «Вода едва доходила ему до колен; он делал огромные шаги».

Не дожидаясь, чем кончится погоня, Гулливер что есть силы припустил обратно — от бухты, вглубь этого неизвестного места...

### — 3 —

Словом, он оказался теперь в стране великанов.

Они сначала принимали его за зверька — и даже задирали соломинкой полы его кафтана, думая, видно, что это такая шкурка.

Постепенно фермер, в руки к которому он попал, поверил, что перед ним — разумное существо. Закутал его в свой носовой платок, как в одеяло, принес домой, позвал жену — и показал ей. «Та завизжала и попятилась, точь-в-точь как английские дамы при виде жабы или паука. Но мое примерное поведение и полное повиновение всем знакам мужа очень скоро ее успокоили, и она стала обходиться со мной очень ласково».

Хорошо, что у Гулливера оказались с собой вилка и нож! И он смог за обедом продемонстрировать хозяевам хорошие манеры. А то пришлось бы есть руками.

А пил он — за здоровье хозяйки — из их великанской ликерной рюмочки вместимостью около десяти литров...

«Затем в столовую вошла кормилица с годовалым ребенком на руках. Увидев меня, младенец, в согласии с правилами ораторского искусства детей, поднял такой вопль, что, случись это в Челси, его, наверно, услышали бы с Лондонского моста: он принял меня за игрушку. Хозяйка, руководствуясь чувством материнской нежности, взяла меня и поставила перед ребенком. Тот немедленно схватил меня за талию и засунул себе в рот мою голову. Я так отчаянно завопил, что ребенок в испуге выронил меня. К счастью, хозяйка успела подставить мне свой передник. Иначе я бы непременно разбился насмерть. Чтобы успокоить младенца, кормилица стала забавлять его погремушкой. Эта погремушка напоминала бочонок, наполненный камнями, и была привязана к поясу ребенка канатом. Унимая ребенка, кормилица присела на низенький табурет так близко от меня, что я мог подробно рассмотреть ее лицо. Признаюсь, это было неприятное зрелище. Вся кожа была испещрена какими-то буграми, рытвинами, пятнами и волосами. А между тем издали она показалась мне довольно милостивой. Это навело меня на некоторые размышления по поводу нежности и белизны кожи наших английских дам. Они кажутся нам такими красивыми только потому, что они одинакового роста с нами; мы не замечаем на их лицах мелких изъянов. Только лупа может нам показать, как, в сущности, груба, толста и скверно окрашена самая нежная и белая кожа.

Помню, во время моего пребывания в Лилипутии мне казалось, что нет в мире людей с таким прекрасным цветом лица, каким природа одарила эти крошечные создания...»

В общем, жутким историям там впоследствии не было конца. Один град чего стоил! Попав под градины величиной с теннисные мячи, он пролежал в постели десять дней.

Попал в зубы собаки... Хорошо, спаниэль был дрессированным — осторожно взял Гулливера в зубы и принес хозяину. Да еще вилял хвостом, чтоб его похвалили.

А каково было оказаться в лапах великанской обезьянки? Она, вскочив в окно, утащила Гулливера из дома (приняв его, конечно, за крохотного обезьяньего детеныша) и по водосточным трубам добралась до крыши соседнего дома. «Сотни людей сбежались во двор и глазели на обезьяну, усевшуюся на самом коньке крыши. Одной лапой она держала меня, как ребенка, а другой набивала мой рот яствами, которые вынимала из защечных мешков. Если я отказывался от этой пищи, она угощала меня тумаками. Стоявшая внизу челядь покатывалась со смеху, глядя на эту картину. Мне кажется, что этих людей нельзя очень осуждать за это. Зрелище бесспорно было очень забавным для всех, кроме меня».

Про все, что происходило с Гулливером в стране великанов, вы прочтете сами — и про то, как он покинул ее самым необыкновенным образом.

А когда вновь попал на английский корабль и приплыл домой — ему казалось, что он — великан, а вокруг него — лилипуты!

«Я с трудом узнавал знакомые места, и мне пришлось спрашивать дорогу к моему дому. Слуга отворил дверь. Переступая через порог, я низко нагнул голову (как гусь под воротами), чтобы не стукнуться о притолоку. Жена выбежала мне навстречу и хотела обнять меня. Но я склонился ниже ее колен, полагая, что иначе ей не дотянуться до моего лица. Дочь стала на колени, ожидая моего благословения. Но я так привык задирать голову, общаясь с великанами, что и не заметил ее. На слуг и двух или трех случившихся в доме друзей я смотрел сверху вниз, как смотрит великан на пигмеев. Я попенял жене, что она, видно, чересчур сэкономила, так как и она и дочь превратились в каких-то жалких заморышей. Словом, я вел себя так странно, что у моих близких зародилось подозрение, не сошел ли я с ума. Я упоминаю здесь только для того,



чтобы показать, как велика сила привычки и предубеждения».

...Наверно, кто-то из вас невольно обратил внимание, каким прекрасным, богатым русским языком (значение слова «челядь» вы, надеюсь посмотрели по какому-нибудь словарю в вашем доме) излагается сочинение, написанное на английском языке начала XVIII века. Тот перевод Свифта, который я цитировала, сделал замечательный филолог Борис Михайлович Энгельгардт. Он скончался от голода во время ленинградской блокады.

— 4 —

А о том, как Гулливер побывал на летающем острове Лапута, как он попал в страну гуингнмов — разумных лошадей, которые сидят за трапезой в своих домах, не понимают, как люди могут врать, красть, воевать, убивать (то есть что может побудить или вынудить их к этому), имеют свой собственный язык, но в нем «нет слов для обозначения таких вещей, как власть, правительство, война, закон, наказание и тысяча других», — об этом, надеюсь, вы прочитаете сами.

Ведь просто нелепо вырасти, так и не прочитавши про необыкновенные путешествия Гулливера, про которые вот уже почти три века читает все просвещенное человечество.

А вот книжка, которую лучше бы прочесть лет до десяти. В крайнем случае — до двенадцати, не позже. А лучше всего — в шесть или семь лет. Потому что в книге Софьи Могилевской «Марка страны Гонделупы» рассказывается о последнем лете перед школой — а потом о всяких историях, случающихся с первоклассниками.

Первое издание этой книжки было подписано в печать 10 мая 1941 года. Это значит, что в книжных магазинах отпечатанный тираж появился месяца через полтора... Накануне 22 июня 1941 года или через несколько дней.

Что это был за день — вы должны бы уже знать. В ночь на 22 июня фашистская Германия напала на нашу страну. Бомбы упали во многих приграничных городах одновременно. И если книжку успели купить — она поехала вместе со своим маленьким владельцем и с его семьей в эвакуацию, далеко на восток, ближе к Уралу или за Урал... И там, далеко от родного дома, в тесноте незнакомой комнаты ваши ровесники читали про уютную домашнюю жизнь мальчика Петрика.

Петрик — это главный ее герой.

Первая глава книги называется «Петрик и Опанас». Мне в детстве очень нравилось ее начало. Ничего вроде особенного, но приятно и интересно читать. И сейчас перечитывала с удовольствием.

«Они враждовали целое лето и с каждым днем все сильнее ненавидели друг друга.

Встречаясь, они шипели, словно два старых гусака, и бросали друг на друга злобные взгляды. Открыто и тайно они учиняли друг другу большие и маленькие неприятности.

А началось как будто с пустяков.

В один прекрасный день Опанас, усевшись верхом на забор, разделяющий их садики, от нечего делать показал Петрику язык и запел на все лады:

— Петрушечка, свиндирюшечка! Петру-ушка, свиндирю-ушка! Петру-уха, свиндирю-уха...

Петрик обиделся. Он терпеть не мог таких шуток.

— Уходи с нашего забора! — сердито, краснея, крикнул он.

— Не уйду! — весело ответил Опанас. — Забор не ваш, а наш...

— Вот еще! — крикнул Петрик. — Наш, а не ваш...

— Не ваш, а наш! Не ваш, а наш! — завопил Опанас...»

Вот они как возникают, соседские распри-то! А ведь эти соседи только еще собираются поступать в первый класс.



Дело доходит уже и до камней. «Опанас взревел страшным голосом, и Петрик приготовился торжествовать победу.

Но не тут-то было.

Совершенно внезапно на заборе появился брат Опанаса, третьеклассник Остап, длинноногий верзила в полосатой майке.

Он уселся на перекладину и в упор посмотрел на Петрика.

У Петрика чуточку ёкнуло сердце. Оба кулака разжались и сами собой опустились вниз.

Однако от забора он не отступил».

А тут еще появились два обожающих Опанаса его младших брата-близнеца — Ивась и Михась. «Они с трудом вскарабкались на забор и, выпучив круглые глазки, уставились на Петрика.

Ну, этих-то, во всяком случае, можно было не бояться. Подумаешь, четырехлетние клопы!»

Но атмосфера сгущается. «...В ту же минуту еще два брата, Тарас и Андрий, как по команде оседлали забор, прочно усевшись верхом.

Ох! У Петрика подогнулись коленки.

И вдруг забор застонал и пошатнулся. Казалось, огромные столбы, врытые в землю, согнутся и лягут набок вместе с досками. На него взгромозились два самых старших Опанасовых братца — Петро и Грицко.

И вся компания в грозной тишине устремила глаза на Петрика.

Петрик мгновенно исчез из сада. Не вступать же в бой с восьмеркой братьев Чернопятко!»

## — 2 —

Вообще же у Петрика очень уютная домашняя жизнь. Милая, добрая ко всем его приятелям мама, симпатичный отец.

Гораздо более печальная жизнь у новенького в их с Опанасом первом классе, у рыженького Кирилки, с которым никто не дружит. Отец его где-то далеко, а он пока живет у тетки, у которой шестилетний сын Генечка. И Кирилка живет там как настоящий сиротка. «Новые ботинки, которые ему отец перед отъездом купил, носит Генечка. И шапку-ушанку тетка тоже велела отдать Генечке...» И Кирилка этот все вздыхает и вздыхает. «Плохо жить на свете, когда совсем один, когда тетка на каждом шагу кричит, а дядя, хоть добрый, да слова не смеет сказать за Кирилку. Только иногда даст три копейки на ириску. А отец далеко на Севере и писем не шлет. А главное, плохо, когда нет товарища, плохо, плохо...»

Кирилку в этой книге вообще очень-очень жалко. Он такой трогательный, добрый ко всем людям. И так часто его вольно или невольно обижают.



В те времена люди ходили в школу не с рюкзачками, а с портфелями. И при случае дрались своими набитыми учебниками портфелями. Даже я, должна признаться, дралась во втором классе портфелями со своей одноклассницей, розовощекой Тамаркой, жившей в соседнем с моим подъезде большого шестиэтажного дома. И то ли у нее, то ли у меня — уже не помню — отлетела от портфеля ручка...

Интересно поступали с портфелями в семье Опанаса. У него же было семь братьев. И пятеро из них учились в школе — Опанас стал шестым. И потому каждую осень их отец покупал один портфель, приносил домой и спрашивал:

«— А ну, хлопцы, кому тот портфель пойдет в дело?»

И между хлопцами начинался дележ. Дележ бывал обычно справедливый. Вынимались все портфели и все сравнивались до последних подробностей. Новый портфель доставался тому, чей бывал истрепан до последней крайности».

В ту осень, которая описывается, новый портфель чуть было не достался Опанасу. Но в самый последний момент старший брат Петро запротестовал. «Он заявил, что последний год в школу довольно-таки позорно ходить с таким “задрипаным” портфелем. Первоклашка же еще успеет находиться со всякими портфелями. И, несмотря на отчаянный рев Опанаса», новый портфель достался Петру. Теперь попытайтесь представить, как выглядел проживший большую школьную жизнь портфель, перепешший к Опанасу!

А у рыженького Кирилки вообще не было никакого портфеля. Он носил учебники и тетради завернутыми в газету.

«И вдруг в одно прекрасное утро — для Кирилки это утро было особенно прекрасно — весь класс тихо ахнул: Кирилка явился с новым портфелем. Да с каким!

Мало того, что этот портфель был из роскошной темно-коричневой кожи и ростом почти с самого Кирилку, мало того, что он был с двумя замками, с двумя ключами и с двумя ремнями, — сверх того он мог складываться и раскладываться, в нем имелось по крайней мере двенадцать различных отделений...»

Откуда он взялся у Кирилки — об этом вы прочитаете в книжке. (Это очень интересная история!) А вот что произошло, когда кончились уроки и Кирилка, как всегда, поплелся домой один, вздыхая, «что и портфель ему не помог: Петрик не хочет с ним дружить». А Петрик, которого он просто обожал, шел в это время с Опанасом впереди, горячо обсуждая их общие дела. И вдруг...

«...Пронзительный крик, полный отчаяния и ужаса, раздался у них за спиной. Это крик зазвенел на всю улицу и резко оборвался.

— Кто это? — бледнея, воскликнул Петрик и быстро обернулся.

Кричал Кирилка.

Какой-то верзила, сухопарый и длинный, с громким хохотом вцепился в Кирилкин портфель и тащил портфель вместе с Кирилкой в боковой переулочек между до-



мами. Кирилка упирался, скользил, падал, но крепко держал портфель и, кажется, готов был скорее умереть, чем отпустить кожаную ручку. При этом он норовил впиться зубами в руку своего мучителя.

Мальчики замерли, пораженные сценой, происходящей у них перед глазами.

Первым опомнился Опанас».

О том, что же происходило дальше, вы, надеюсь, прочитаете сами.

### — 3 —

Скажу только, что в жизни Кирилки с того дня очень многое переменялось, и в лучшую сторону. Все трое по предложению мамы Петрика стали готовить уроки вместе, у Петрика дома. И это дало свои результаты. Наступил славный день.

«— Я рад! Я рад! Я рад! — кричал Петрик, прыгая вокруг мамы. Мальчики только что пришли домой...» И в четверти у Кирилки была пятерка (тогда вместо нее ставили «отлично») по арифметике, чего ни его друзья, ни уж тем более он сам никак не ожидали, и Опанас, «переполненный нежностью, шлепнул Кирилку по спине, отчего бедняга Кирилка едва устоял на ногах».

Но жизнь не может быть только безмятежной. Обязательно подстерегут серьезные трудности, из которых надо будет искать выход.

Вот и у Петрика так вышло. Он стал собирать марки — мирное, симпатичное занятие, не правда ли? Но он попадает в связи с этим в одну очень и очень сложную историю, с обманами, предательством и так далее. Пересказать это невозможно. Читаешь с очень большим волнением. Даже страшно, когда видишь, как хороший человек опускается прямо-таки в бездны равнодушия и холода. И под влиянием только одного человека, который сумел пересилить все-все добрые влияния.



Однажды, например, Петрик сидел над альбомом с марками, так глубоко погруженный в свои проблемы, что совсем не обращал внимания на Кирилку. А тот в страшный мороз (–39, между прочим, градусов!) пришел к нему и принес уроки, поскольку Петрика из-за мороза родители в школу не пустили. «...Никто не заметил, как Кирилка вышел, как тихонько закрылась дверь и защелкнулся замок. И только на улице, где мороз крепко царапнул его за нос и щеки... (обратите внимание — даже мороз, и тот как будто против него! — М. Ч.) Кирилка почувствовал горькую обиду. И он заплакал.

Пусть даже есть на свете такая страна, которую трудно найти на карте и где золото под каждым деревом, но даже из-за такой страны он никогда бы не забыл про Петрика и не позволил ему уходить на мороз. ...Слезы, скатываясь прямо на шарф, превращались в круглые ледяные бусины...»

Но и Петрику несладко. Он стал обманщиком, и от этого не может заснуть. «Слезы навертываются на глаза, и Петрик начинает жалобно всхлипывать. Он плачет в подушку, и понемногу весь угол становится мокрым от слез...»

Зато очень увлекательно читать, как Петрик выпутывается из этой ситуации — с помощью этих самых, покинутых им, но верных друзей.

А потом Кирилка пропадает. И его разыскивают не только его друзья, но и еще один человек, которому он очень-очень нужен.

А с Кирилкой вдруг оказывается в трудный момент его жизни — когда он движется напрямиком на станцию, чтобы уехать к отцу на Север (более точного адреса он, к сожалению, не знал), еще один друг — это был Опанасов щенок Тяпа, прибежавший за ним в такую даль.

«— Тяпа! — воскликнул Кирилка, не веря собственным глазам, — это ты?»

«Конечно, я! Разве ты не видишь? Я все время бежал за тобой следом, от самых школьных ворот. И вот теперь мы здесь вместе!»

...Тяпа восторженно крутил остатком хвостика, уже давно отрубленного Опанасом в надежде, что щенок будет породист. Но породы не получилось, а хвоста не осталось. Так Тяпа и рос самым простым бесхвостым дворняжкой...

По всему было видно, что Тяпа просто счастлив этой встречей.

Но и Кирилка был в восторге.

Какая удача! Иметь рядом друга, с которым в любой момент можно поделиться сомнениями, получить разумный совет — это ли не прекрасно?

А на Севере этого же друга можно запрячь в санки и явиться к отцу в своей собственной упряжке.

Опанасу можно послать телеграмму, чтобы он не волновался. А потом ему можно привезти живого медвежонка или тюленчика...

И Кирилка решил немедленно выяснить на этот счет мнение щенка».

В общем, доставайте книжку и читайте. Только обязательно в издании 1941 года. Потому что в позднем, через тридцать лет, советская цензура взяла да и убрала все украинизмы. Кому они помешали? Ведь ясно, что все герои повести живут где-то близко от Украины, что семья Чернопятко — украинцы, а семья Петрика — русская, хотя уменьшительное «Петрик» тоже напоминает об Украине. И так приятно было читать и перечитывать фразы, очень похожие на русские, но все же украинские: «— Мамо золотая, е для вас блюдо! — заорал Андрий, так что воробьи за окном вспорхнули и улетели». А имена Тарас и Андрий напоминали о Гоголе...

# И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН — ЕСЛИ ОН ВСЕЙ ДУШОЙ ХОЧЕТ СПАСТИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ

## 1

Иногда мы задаем себе или другим вопрос:

— А этот человек — добрый?

И порою далеко не сразу находится ответ. Потому что некоторые «добрым» назовут человека, который всего лишь — не злой. Или такого, у которого доброе лицо, добрый голос, интонация, но не так-то легко вспомнить хоть один его добрый поступок.

Безо всяких размышлений можно назвать «добрым» лишь того, кто занят *действенным* добром. То есть — *дейтельно* доброго.

Весь мир давно знает, что именно таким человеком был швед Рауль Валленберг. И вот уж точно — про него всем нужно знать с детства.

До последних лет это было трудно, а теперь — гораздо легче. Потому что переведена на русский язык книжка шведа Д. С. Аландера «Рауль Валленберг: Пропавший герой» (М.: Самокат, 2007). Это биография Валленберга, написанная как раз для детей, очень просто и очень ясно.

Когда эта книга была издана у нас, вокруг нее начались споры. Некоторые говорят: «Зачем рассказывать детям и подросткам такие ужасные вещи? Зачем их расстраивать и огорчать?» Но я, например, точно знаю — зачем. Затем, чтобы узнав об ужасных преступлениях в детстве — то есть именно тогда, когда человек совершенно верно, правильно реагирует на отвратительные поступки других людей, — юные читатели дали себе слово: никогда в жизни не участвовать ни в чем подобном. И по возможности препятствовать таким действиям других людей.

То есть — подобные книги вырабатывают иммунитет против участия в мерзостях. Лично я в этом уверена. И даже думаю, что те подростки, которые сегодня убивают других

людей только за то, что они — не русские, — если бы они прочли эту книгу вовремя, то есть лет в двенадцать, они бы, может быть, что-то поняли. И отшатнулись бы через несколько лет от тех, кто станет подбивать: «Давай убьем эту маленькую девчонку!» — «За что?» — «Да она — таджичка!..»

— 2 —

Отец Рауля умер от рака еще до рождения сына, и мальчик в четыре года иногда плакал оттого, что у него нет папы. Но уже тогда у мальчика формировался твердый характер: «— Мы все равно не будем грустить, — говорил он через минуту, вытирая слезы.

На прогулках он собирал цветы, чтобы поставить их в вазу перед фотографией отца». Зато был дедушка, и он часто писал внуку — из Китая и Японии. «Это было чудесно: Рауль сидел у мамы на коленях, и она громко читала ему вслух — каждое письмо по два раза. В такие минуты мальчику казалось, что у него все-таки есть папа».



Рауль был правнуком очень известного крупного финансиста Андре Оскара Валленберга. Этот человек, во-первых, основал Стокгольмский банк (существующий и сегодня), а во-вторых — у него было двадцать детей... Правда, банковским делом интересовался только один из них — как раз дедушка Рауля Густав, заменивший ему отца.

«— Я хочу, чтобы ты учился в Америке, — решительно заявил дедушка Густав, когда Рауль закончил школу.

— Но разве нельзя сначала поучиться в Высшей технической школе в Стокгольме? — возразил Рауль.

— Теоретическое образование и здесь, конечно, замечательное, — ответил Густав. — Но в Америке ты научишься и кое-чему еще: вере в будущее, в то, что все зависит от тебя. Мой отец никогда бы не стал успешным банкиром, если бы не научился в Америке добиваться цели.

...В Швеции самое важное — кто у тебя родители. Все идет по проторенной дорожке, — продолжал Густав. — А в Америке важно то, что человек сам делает со своей жизнью».

Рауль вернулся в Стокгольм после завершения университета в 1935 году. Он говорил своему деду:

«Самое прекрасное в Америке то, что американцы — народ независтливый и немелочный. Подумать только, как много неприятностей доставляем мы, шведы, себе и другим своим пессимизмом, а надо быть оптимистами!»

Он стал работать в Голландском банке. Но был крайне недоволен своей службой. «Я не банкир, — писал он дедушке. — ...Думаю, мне больше подошло бы трудиться ради благой цели, нежели сидеть в конторе и говорить людям: “Нет!”».

Он сам не знал, что угадал свое недалекое будущее.

Быть оптимистом вскоре стало совсем трудно.

Плывя на пароходе по Средиземному морю, Рауль впервые встретил еврейских беженцев из Германии, где в 1933 году пришел к власти Гитлер.

«Он и его нацистская партия возложили на евреев вину за поражение страны в Первой мировой войне. Евреев

обвинили в том, что они — причина того, что пять миллионов немцев стали безработными. Многие немецкие евреи были успешными предпринимателями, и зачастую ненависть к ним была вызвана завистью... В Германии не разрешалось нанимать евреев на государственную службу, а Гитлер запретил им вступать в брак с немцами. Банды молодых нацистов избивали евреев на улицах, и никто их не останавливал. В ресторанах и магазинах появились таблички: “Евреям вход запрещен!”

Наконец Гитлер лишил евреев немецкого гражданства. Их принудили носить на груди желтую звезду Давида с надписью “еврей”. Теперь эти люди оказались вне закона, стали изгоями» — то есть людьми, лишенными всех прав.

Молодой Валленберг, с его чувством справедливости, ужасался, узнав обо всем этом. Он не знал, что главный ужас ждал его впереди.

— 3 —

1 сентября 1939 года гитлеровская Германия, а вслед за ней 17 сентября «и сталинский Советский Союз напали на Польшу.



Началась Вторая мировая война. Два диктатора хотели разделить между собой всю Европу. Гитлер одерживал победу за победой: повержена Франция, оккупированы Дания, Норвегия, Голландия и Бельгия, содрогается от бомбежек Лондон. Сталин напал на Финляндию и Румынию, оккупировал Эстонию, Латвию и Литву.

Но Гитлер не желал делить власть со Сталиным. Он хотел быть единоличным правителем Европы. 22 июня 1941 года Германия начала войну против Советского Союза».

В странах, которые Гитлер оккупировал, все население испытывало притеснения. Но евреям, с незапамятных времен жившим в каждой европейской стране, в глаза глянула смерть. Гитлер перешел к тому, что он называл «окончательным решением» проблемы — к поголовному истреблению евреев. Их «стали в массовом порядке свозить в концлагеря на территории оккупированной Польши. Там нацисты оборудовали газовые камеры, где людей убивали газом. Один из таких лагерей назывался Освенцим.

...Никогда еще в истории никто не пытался стереть с лица земли целый народ.

Весной 1944 года стало очевидно, что немцы проигрывают войну. После Сталинградской битвы советская армия медленно, но уверенно вытесняла захватчиков со своей территории. 6 июня 1944 года американцы и англичане провели высадку своих войск в Нормандии во Франции».

Иными словами — открылся наконец долгожданный Второй фронт. Гитлера стали теснить и с Запада.

В это самое время он «приказал отправить в газовые камеры Освенцима восемьсот тысяч венгерских евреев. С этой целью в отеле “Мажестик” в Будапеште было открыто специальное ведомство под управлением Адольфа Эйхмана, одного из ближайших соратников Гитлера».

Мировая общественность наконец узнала о массовом истреблении целого народа. «Поначалу люди отказывались верить в столь чудовищные злодеяния. Но вскоре

стало ясно, что необходимо принимать решительные меры». Несколько миллионов (!) евреев уже погибли в газовых камерах. Надо было попытаться спасти живых.

Чтобы помочь бежать от выродка тем, кто оставался под Гитлером, «президент США Рузвельт создал Управление по делам военных беженцев. Однако сами американцы не могли проникнуть в сердце оккупированной Европы (поясним: ведь они воевали с Германией, любого американца сразу бы схватили. — М. Ч.). Им нужна была помощь какого-нибудь нейтрального государства».

Европейских государств, сумевших сохранить нейтралитет в охватившем Европу пламени мировой войны, было немного. Среди них была родина Рауля Валленберга.

Можно было бы сказать, не боясь торжественности, — перст Истории XX века указал на него.

На этот раз История не ошиблась в своем выборе.

#### ———— 4 ————

«Американцы договорились со шведским правительством, что Рауль будет работать в посольстве Швеции в Будапеште. Он был назначен на должность секретаря посольства и получил дипломатический паспорт. Главным заданием Рауля стало спасение евреев от нацистов. Надо было постараться спасти как можно больше людей.

Шведское Министерство иностранных дел в работу Рауля не вмешивалось. Американское правительство оплачивало все расходы».

Готовясь к поездке, Рауль узнал ужасные вещи — Эйхман уже депортировал из Венгрии в газовые камеры Освенцима «триста восемьдесят тысяч евреев. Каждый день в Освенцим уходило пять-шесть поездов, вмещавших по четыре тысячи евреев. В каждый из пятидесяти вагонов такого поезда загоняли по сто человек. Люди проводили неделю в невыносимой жаре, без воды и туалета. А по прибытии на место их ждала смерть в газовой камере».



Перед отъездом его спросили:

«— Вы отдаете себе отчет, что, быть может, не вернетесь обратно живым?»

Рауль кивнул.

— Да, понимаю, — ответил он серьезно. — Но я постараюсь спасти из когтей убийц столько людей, сколько будет в моих силах».

Он только не мог себе представить, что погибнет он совсем не от руки нацистов.

И дальше в книге Аландера — потрясающие подробности того, как *один* человек, действуя день и ночь, спасал от смерти десятки тысяч.

Он придумал специальный шведский охранный документ для евреев. Он был похож на шведский паспорт — на желтом фоне три голубые короны. Те, кто его получал, переставали носить звезду Давида, могли днем и ночью свободно перемещаться по городу, иметь радио и телефон, покупать товары в любых магазинах — все это евреям было запрещено. Но главное — немцы теперь не имели прав их умерщвлять: они были под охраной Шведского королевства.

...В тот самый вечер, когда Валленберг, готовый к неустанным делам *добра*, прибыл в Будапешт, человек, готовый к неустанной работе *зла*, — Эйхман — проводил собрание немецких офицеров СС в черной униформе и венгерских нацистов.

«— С удовольствием докладываю, что последний поезд с евреями, согнанными из деревень, отправился вчера из Будапешта в Освенцим. ...За четыре месяца мы очистили от евреев всю венгерскую провинцию. Я горжусь вами! Четыреста тысяч евреев за три месяца были отправлены в газовые камеры. Это новый рекорд моего управления.

Ему одобрительно захлопали.

...— Но это не значит, что мы можем остановиться на достигнутом. Еще триста тысяч евреев остаются здесь, в Будапеште. Очистить от евреев целый город — очень

сложная задача. Я знаю это по опыту других европейских городов. ...Времени остается мало. Мы должны любой ценой схватить евреев до того, как советская армия подойдет к Будапешту. Впервые в истории у нас есть шанс создать Европу, очищенную от евреев.

В конце своей речи он воскликнул:

— Это великая миссия, и мы должны выполнить ее. Зиг хайль!

Офицеры СС повскакали с мест и выбросили вперед руки в гитлеровском приветствии».

И вот такой целеустремленности Зла бесстрашно противостоял в одиночку молодой человек (в Будапеште ему исполнилось 32 года).

Как только Рауль узнавал, что поезд с евреями готовится к отправке в Освенцим, — он мчался на вокзал. Однажды он взобрался на крышу товарного вагона и просовывал охранные паспорта через решетку вентиляции. «Он перепрыгивал с вагона на вагон. Отовсюду тянулись руки за паспортами.

...Прозвучал выстрел, но пуля просвистела мимо.

— Я незамедлительно рапортую немецкому командованию об обстреле дипломатов из нейтральных стран! — закричал Рауль. — Вы будете наказаны!

Он спрыгнул на землю и, открыв двери вагона, освободил евреев с паспортами. Никто не осмелился помешать ему».

Рауль решил пригласить Эйхмана на обед — попытаться узнать его слабые места. Подъехал черный мерседес. «Неужели я и вправду решил пригласить Эйхмана? — в волнении думал он. — Ведь это все равно что позвать на обед самого дьявола!»

Стол был сервирован бело-голубым сервизом с тремя коронами. «Рауль произнес тост и завел было разговор о французском бургундском вине, но Эйхман резко оборвал его.

— Вы очень необычный дипломат, господин Валленберг, — сказал он и пристально посмотрел на Рауля. — Чего вы, собственно, хотите здесь, в Будапеште?

— Давайте говорить откровенно, — спокойно ответил Рауль. — Я хочу спасти от смерти столько людей, сколько будет возможно. Это моя задача.

— Евреи — не люди, — ответил Эйхман и аккуратно отрезал кусочек ростбифа.

— По этому вопросу наши с вами взгляды расходятся, — кратко ответил Рауль».

Он прямо сказал Эйхману, что он здесь для того, чтобы помешать ему.

Тот ответил:

«— Вам это не удастся. ...У меня есть приказ уничтожить всех евреев Венгрии — каждого! Мне удалось уничтожить евреев во всех странах, которые оккупировала Германия. И здесь у меня тоже все получится.

— Но Германия уже проиграла войну, — резко сказал Рауль.

— Но не войну против евреев, — ответил Эйхман с ледяным спокойствием...»

Вскоре он попытался уничтожить Рауля. По случайности это не удалось. Рауль продолжал ездить по Будапешту, выхватывая людей из лап тех, кто вел их на смерть.

## — 5 —

И вот наступил долгожданный день — в Будапешт вступили советские войска.

Валленберг был тут же задержан и отправлен в штаб советской армии.

«Советские офицеры вели себя вежливо, но, разумеется, его несколько раз допросили.

— Город наводнен людьми со шведскими охранными паспортами. Как такое может быть? — удивлялись русские.

«Чем на самом деле занимался этот человек? — спрашивали они себя. — Спасал евреев? Нет, это слишком глупо, чтобы оказаться правдой!»

Почему же они так думали?

Во-первых, потому, что после победы, сталкиваясь уже не с вооруженным противником, а просто с *иностранцами* — хотя бы и с нейтральными шведами, — многие наши офицеры из отважных воинов мгновенно становились *советскими людьми*, подозрительными к любому иностранцу.

Во-вторых, потому что советская власть отучала от любых индивидуальных, личных действий. К ним относились с опаской. Такого человека сразу спрашивали: «А кто это вам разрешил?» или «А что — было *решение* о таких ваших действиях?» Кто-то — *сверху* — должен был разрешить, санкционировать такие-то действия человека.

А тут еще не просто личное действие, а — направленное на спасание людей! То есть — определенно доброе действие, направленное на *благо* других людей. А в советских словарях слово «*благотворительность*» было названо словом *устаревшим*. Точно так же, как и *филантропия*: она-то вообще буквально переводится с греческого как *человеколюбие* (*филео* — люблю + *антропос* — человек). Доброта, любовь и жалость к человеку *вообще* советской властью осуждалась. Нельзя было жалеть попавших в беду. При Сталине соседи, скажем, не могли взять в свой дом несчастных малышей, оставшихся в пустой квартире без родителей, арестованных и увезенных в тюрьму, а потом расстрелянных или отправленных на десять-пятнадцать лет в советский концлагерь. Таких детей *положено* было отправлять в специальные детские дома. Там им объясняли, что их родители — отвратительные люди, враги всего народа, предатели — и заставляли их это повторять...

Рауля Валленберга арестовали. «Сталин лично отдал соответствующий приказ. Он не сомневался: Рауль был американским шпионом». Америка была нашим союзником — но для Сталина «империалисты» оставались врагами.

В послесловии автор книги пишет, что за шесть месяцев пребывания в Будапеште, благодаря неустанным,

днем и ночью не прекращающимся личным усилиям Валленберга «около ста тысяч евреев избежали смерти в нацистских газовых камерах». Сравнить эти усилия не с чем. Такого подвига не совершил больше никто.

Советская разведка — СМЕРШ («Смерть шпионам!») увезла Валленберга в Москву и бросила в камеру Лубянки.

Рауль, видимо, долго еще надеялся, что недоразумение разъяснится и его выпустят, он увидит мать. Он не знал, что Сталин ни одного иностранца старался не выпускать из своих тюрем. Ведь он умело скрывал от всего мира то, что творилось там по его воле. А тут человек, вернувшись на родину, непременно рассказал бы всем о пытках и издевательствах.

Многие из сидевших в советских тюрьмах и лагерях рассказывали, что встречали шведа с таким именем в разные годы. Следы его родственники и шведское правительство ищут до сих пор.



Маша Чудакова  
ДЖЕЙН ЭЙР, ИЛИ КАК БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ  
В ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

— 1 —

Первый раз я прочитала роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» в девятом классе. А в последующие годы, честно говоря, перечитывала. И не раз. И всякий раз радовалась, что первый-то раз я прочла ее вовремя!

Я бы сказала, что наилучшее время для первочтения этой книжки — двенадцать-тринадцать лет. Но и в старших классах школы читать ее особенно интересно!

И уж точно она вполне заменяет «COSMOPOLITAN», «ELLE» и другие так называемые *глянцевые* журналы. Считается, что они для девушек, а на самом деле, по моему... Но об этом — позже. После того, как мы поговорим о Джейн Эйр, а также о ее создательнице — Шарлотте Бронте. Потому что ее недолгая жизнь — неисчерпаемый источник размышлений о жизни вообще.

Кто же такая эта женщина-писательница? И почему до сих интересно читать о событиях жизни людей, которые жили так давно и совсем по-другому, чем мы?

Сегодня, например, любимая тема взрослых людей (да, пожалуй, и шестнадцатилетних барышень, а иногда — и юношей) — жалобы на тяжелое детство. «Ах, моя жизнь сложилась бы совсем иначе, если бы не безденежье в детстве... Если бы не тяжелый характер моих родителей... Бабушек, дедушек, тетушек, соседей... Я бы! Тогда бы!..»

Потом на сцену выходят новые виновники неудавшейся жизни — свекровь, теща, непослушные собственные дети, плохая неинтересная работа.... И так далее.

А когда читаешь про детство сестер Бронте, все в голове как-то встает на место. Начинаешь понимать, что все, решительно все зависит от самого человека. Для многих — не очень-то приятное понимание.

Мать ее умирает при родах шестого ребенка. Потеряв в пять лет маму, Шарлотта Бронте осталась на попечении старшей сестры Марии. Но той самой-то было восемь лет, и был еще новорожденный брат Патрик! В главной российской 82-томной энциклопедии Брокгауза и Эфрона, печатавшейся в конце XIX века, где написано все про всех, и лучше всякого Интернета, потому что в Интернет списывают как раз из нее, — об этом рассказано так:

«Шарлотта Бронте родилась 21 апреля 1816 года в Йоркшире в семье сельского священника. После смерти матери (при родах) дети оказались предоставлены самим себе... Болезненные дети не знали ни веселого детского общества, ни свойственных их возрасту игр и занятий: душевные и умственные их силы развивались и крепили с ненормально ускоренной быстротой в особом замкнутом мире... С самого раннего детства одно из любимых занятий Шарлотты было выдумывать фантастические сказки и облекать свои мысли и чувства в сказочную форму. В этих занятиях принимала участие и остальная семья...»

Вскоре произошло, казалось бы, положительное событие — девочки поступают в школу-пансион. Но неприветливая школа (описанная как Ловудская школа в романе «Джейн Эйр») только подорвала их слабое здоровье. И сестры одна за другой умирают от туберкулеза — антибиотики были изобретены гораздо позже... А Шарлотте всего девять лет.

Но девочка не сдавалась. Сестрам хотелось вырваться из Англии, и вскоре они едут в Брюссель учиться гуманитарным наукам. И это получилось! Через два года девушки возвращаются и начинают публиковать первые литературные опыты. Но успех приходит только к Шарлотте — она была самой талантливой. И роман о Джейн (1849) не только завоевал сердца современников, но уже 150 лет остается любимым чтением многих поколений.

Оказывается, в те времена образование вовсе не было обязательным. И девочкам из небогатых семей, а тем более сиротам, о которых было *некому позаботиться*, не так-то просто было попасть в школу. Прочитав, что они изучали, как учились девочки в середине XIX века в школе-пансионе Ловуд, как питались, а точнее — как голодали бедняжки, может быть, кто-то из вас больше полюбит свою собственную школу или колледж, а также заботливо приготовленные бабушкой бутерброды в школу (а то и в институт!) — ведь бабушка и мама бывают не у всех.





Но вот что удивляет и притягивает в этой книжке — все эти трудности описываются от лица Джейн без трагизма и безысходности. Напротив, читаешь — и чувствуешь приток бодрости. Джейн как будто бы даже рада трудностям — ведь они еще больше закаляют ее и без того сильную волю.

Вот, например, как она учится:

«Я с новыми силами принялась за работу, твердо решив преодолеть все препятствия. Я упорно трудилась, и мои усилия увенчались успехом; постоянные занятия укрепляли мою память и развивали во мне ум и способ-



ности. Через 2—3 недели я была переведена в следующий класс, а меньше чем через два месяца мне было разрешено начать уроки французского языка и рисования...»

Или — испытывает маленькие радости, которые порой важнее больших: «И вот, сидя с книгой на коленях, я была счастлива; по-своему, но счастлива. Я боялась только одного — что мне помешают, и это, к сожалению, случилось очень скоро. ...Бесси спустилась на кухню и принесла мне сладкий пирожок, он лежал на ярко расписанной фарфоровой тарелке с райской птицей в венке из незабудок и полураспустившихся роз; эта тарелка обычно вызывала во мне восхищение, я не раз просила, чтобы мне позволили подержать ее в руках и рассмотреть подробнее, но до сих пор меня не удостоивали такой милости. И вот драгоценная тарелка очутилась у меня на коленях, и Бесси ласково уговаривала меня скушать лежавшее на ней лакомство».

И Джейн жалеет об одном: «Тщетное великодушие — оно пришло слишком поздно, как и многие дары, которых мы жаждем и в которых нам долго отказывают!»

— 4 —

Множество главнейших этических вопросов, которые важно поставить перед собой в ранней юности (а так никогда и не поставишь — текучка взрослой жизни засосет!), встают при чтении сами собой. Но предупреждаю — назидательности (мы ведь с вами так ее обожаем; а особенно в юности, не правда ли?..) в этой книжке вы не увидите. Просто живет и живет Джейн Эйр, идет своим путем. А вы — хотите, задумывайтесь вместе с ней, хотите — нет. Но, читая, волей-неволей наткнешься на множество дельных практических советов. Например, такой:

«Когда ты не знаешь, чем заполнить день, подели его на части, каждую часть займи чем-нибудь, не сиди без дела и четверти часа, десяти минут, пяти минут — делай наме-

ченное тобой методически, с суровым постоянством, — и день пройдет так быстро, что ты не заметишь, как он кончился. И ты не будешь зависеть ни от кого и ждать, чтобы тебе помогли провести время — словом, ты будешь жить, как должно жить независимое существо».

Имейте в виду — сначала Джейн натерпелась издевательств в семье своей родственницы тети Рид: «Никогда я не была счастлива в ее присутствии, — с какой бы точностью я ни выполняла ее приказания, как бы ни стремилась угодить ей, она отвергала все мои усилия и отвечала на них заявлениями, вроде только что ею сделанного. И сейчас это обвинение, брошенное мне в лицо перед посторонним, ранило меня до глубины души. Я смутно догадывалась, что она заранее хочет лишить меня и проблеска надежды, отравить и ту новую жизнь, которую она мне готовила; я ощущала, хотя, быть может, и не могла бы выразить это словами, что *она сеет неприязнь и недоверие ко мне и на моей будущей жизненной тропе*».

Потом был второй период ее жизни — Ловудская школа. И, выучив несмотря ни на что много чего и напечатав в газете объявление о поиске работы, Джейн попадает гувернанткой в семью к мистеру Рочестеру, взявшему на воспитание девочку Адель (он не знает точно — возможно, это его дочь). Джейн привязывается к девочке. И постепенно — к ее отцу.

И, читая описания его внешности, понимаешь — почему:

«Словно высеченные из гранита черты и темные глаза озаряло пламя камина, — а глаза у него были действительно прекрасные — большие, черные, и в их глубине что-то все время менялось, в них на мгновение вспыхивала какая-то мягкость или что-то близкое к ней».

И Рочестер не остается равнодушным к Джейн.

Вот, кстати, как она сама описывает себя в романе:

«Я встала, тщательно оделась. Несмотря на вынужденную скромность — все мои туалеты отличались крайней простотой — я от природы любила изящество. Не в моих

привычках было пренебрегать своим внешним видом и тем впечатлением, которое я произвожу, напротив, я всегда старалась выглядеть как можно лучше, чтобы хоть в какой-то мере удовлетворить свое стремление к красоте. Иногда я сожалела о том, что недостаточно красива. Мне хотелось, чтобы у меня были румяные щеки, точный нос и маленький алый ротик, хотелось быть высокой, стройной и хорошо сложенной; мне казалось большим несчастьем, что я такая маленькая, бледная, что черты у меня неправильные и резкие. Откуда взялись эти желания и сожаления, трудно сказать...»



Джейн Эйр и Эдвард Рочестер все время видятся, разговаривают — и не решаются признаться друг другу в своих чувствах. У каждого на это своя причина (почти детективная история брака Эдварда замечательно описана в романе). Но они мечтают быть вместе — несмотря на различие социальных условий. Получится ли у них это — узнаете, надеюсь, из самого романа: во второй его половине описан третий, полный скитаний и приключений, период жизни Джейн.

— 5 —

Испытаний, выпавших на долю героини романа, хватило бы и на десятерых. Само по себе то, что она сирота, уже очень грустное обстоятельство ее жизни. История издевательств над ней в семье немного напоминает историю Золушки — с той разницей, что ее путь к принцу лежал через ряд испытаний, не сломивших, а только закаливших ее волю.

И еще одно — рассказывается подробно, как Джейн не хотела зависеть от мужчины. Это и сегодня актуально, а тогда только зародилось: ведь женщина в то время не могла и мечтать о карьере — она могла стать или гувернанткой, или матерью семейства.

«Кто будет порицать меня? Без сомнения, многие. Меня назовут слишком требовательной. Но что я могла поделать? По натуре я человек беспокойный, неутомонность у меня в характере, и я не однажды страдала из-за нее. ...Напрасно утверждают, что человек должен довольствоваться спокойной жизнью; ему необходима жизнь деятельная; и он создает ее, если она не дана ему судьбой. Миллионы людей обречены на еще более однообразное существование, чем то, которое выпало на мою долю, — и миллионы безмолвно против него бунтуют. ... Предполагается, что женщине присуще спокойствие; но женщины чувствуют то же, что и мужчины, у них та же

потребность проявлять свои способности и искать для себя поле деятельности, как и у их собратьев мужчин... И когда привилегированный пол утверждает, что призвание женщин только печь пудинги, играть на рояле да вышивать сумочки, то это слишком ограниченное суждение. Неразумно порицать их или смеяться над ними, если они хотят делать нечто большее и учиться большему, чем то, к чему обычай приучает их пол».

И вся книга наполнена событиями — раз за разом Джейн стремится стать на ноги и ни от кого не зависеть. Порой кажется, что это книга про современную девушку, приехавшую из провинции покорять столицу!

И в итоге выглядит художественно убедительным, что эта удивительно сильная, женственная и оригинальная по строю своих мыслей девушка соглашается стать женой Рочестера только в очень-очень тяжелой для него ситуации: вот тогда-то он и становится ее принцем...

И хочется под конец сказать девочкам... Да, вот с мальчиками не знаю как быть. Хочется верить, что кое-кому из них это тоже будет интересно — не читать же только про пиф-паф и не одни же фильмы про Индиану Джонса интересны. (Вуди Алэн, например, тоже очень неплох, если, конечно, есть желание посмотреть фильм, над которым надо думать!) Так вот, девочки, открою вам большой секрет: все, что говорит нам умная Шарлотта Бронте, — это и сейчас актуально!

Например, совсем молодая девушка размышляет над тем, почему она не может принять предложение Рочестера любить ее, несмотря на то что он женатый человек:

«Я буду верна тем принципам, которым следовала, когда была в здравом уме, тогда как сейчас я безумна. Правила и законы существуют не для тех минут, когда нет искушения, они как раз для таких, как сейчас, когда душа и тело бунтуют против их суровости; но как они ни тяжелы, я не нарушу их. Если бы я для своего удобства нарушала их, какая была бы им цена? А между тем их значение непреходяще — я в это верила всегда, и если не верю сейчас,

то оттого, что я безумна, совсем безумна: в моих жилах течет огонь, и мое сердце неистово бьется. В этот час я могу опереться только на ранее сложившиеся убеждения, только на решения, принятые давно, — и на них я опираюсь».

Вот почему я и говорю — не сравнить с «гламурными» журналами. Все-таки чтение (точнее — листание) этих ярких страниц, их гламурные персонажи со своей доморощенной психологией — это, как говорится, ни уму, ни сердцу. В сложной жизненной ситуации они вам ничем не помогут. На этих *действительно* глянцевого страниц не заметно идет настолько мощная «промывка мозгов» юных и не очень читательниц, что представление о настоящей женщине, какой она должна быть, стирается. И заменяется знаменитым: «любишь — обеспечи!»! А Джейн Эйр — это воплощенное стремление к независимости, к укреплению своего «я». Но путь этот проложен не по ступеням карьерной лестницы, а по ступеням самосовершенствования.

Почему же все-таки эта книга завораживает нас и не отпускает до последней страницы? Именно в наше время история взросления маленькой девочки Джейн оказалась настолько интересной и трогательной, что по ней было сделано множество экранизаций.

Самая известная — многосерийный английский телесериал, он шел лет пятнадцать назад. Другая — прекрасный фильм режиссера Франко Дзефирелли с Шарлоттой Гейнсбур в роли Джейн. Но хотя хорошее кино смотреть интересно, я все же советую прочитать книжку. Особенно особам женского пола. Не пожалееете; наоборот — надеюсь, мысленно скажете мне спасибо.

И увлекательно, и по ходу дела, не въедаясь специально, очень даже можно многому научиться. Особенно — с точки зрения психологии, взаимоотношений с людьми. А это, как ни говорите, нужно всем решительно. Ведь среди людей живем — не в лесу.





## Раздел первый

Неприменно успеть прочитать  
до шестнадцати!



### ПРО ЗВЕРЯТ

— 1 —

Первые мои воспоминания об этой писательнице такие. Мне семь лет. Я уже два года как целыми днями читаю — и страшно радуюсь каждой новой детской книжке. Я еду с мамой в метро. Сижу на очень мягком, пружинящем сиденье (сейчас вагоны с такими сиденьями остались в Москве — и то в небольшом количестве — только

на одной ветке, идущей от станции «Александровский сад»), впившись в тоненькую книжку со странным, но притягательным названием: «Кинули».

Буквы страшно прыгают у меня перед глазами (впоследствии я не раз думала, но так и не додумалась — почему, когда я стала взрослой, в том же самом московском метро буквы перестали прыгать?..). Но я не выпускаю книжку из рук и не перестаю читать — очень интересно! И всем-всем, кому сейчас семь лет, я очень советую ее поскорее, не медля, начать читать.

«Кинули — это львенок. Родился он в Зоопарке. Назвала я его так потому, что его кинула мать. Почему львица не стала кормить детенышей, сказать трудно. Они ползали по клетке, пищали, а она ходила мимо них и как будто не замечала. На другой день после рождения трое львят погибли, а четвертого — самого маленького — успела забрать я».

Он был совсем холодный, не двигался, и его пришлось положить в страусиный инкубатор. Сама Чаплина осталась с ним на ночь. «...А чтобы дома не беспокоились, позвонила и сказала: “Ждите меня завтра со львенком”. Мама в ответ только ахнула». Зато соседка подняла такой крик, что сбежалась вся коммунальная квартира (напомню, что после революции отдельных квартир почти не осталась — ко всем подселяли чужих людей, которые вынуждены были толкаться на общей кухне и, конечно, ссориться). «...Все наперебой кричали, что меня выселят, что заявят в милицию, и вообще было столько крику и угроз, что я не дослушала и повесила трубку».

И вот наутро она везет львенка в трамвае. Спрятала за пазуху под пальто, а он стал там возиться и царапаться — «и вдруг пронзительно мяукнул. Мяукнул — если только можно так назвать этот протяжный, хриплый звук, похожий на скрип двери».

В книжке были, конечно, иллюстрации — не рисунки, а настоящие фотографии львенка! Их можно было рассматривать без конца — такой симпатичный был этот львенок.

Изданная давно, еще до Великой Отечественной войны, до моего рождения, эта повесть была частью библиотеки моих старших братьев. Но тогда я, конечно, еще не очень-то интересовалась годом издания. Просто радовалась, что мне досталась такая замечательная книжка. Фамилия автора — Чаплина — меня тоже увлекала. Я откуда-то уже знала, что есть такой потрясающий комический американский киноактер — Чарли Чаплин. Хотя я и понимала, что вряд ли есть какая-то связь между этими людьми, знакомая фамилия все равно очень нравилась.

— 2 —

Только через много-много лет я узнала, что это была фамилия деда автора книжки — замечательного русского ученого, инженера и педагога Владимира Михайловича Чаплина, в доме которого на Большой Дмитровке она выросла. В 1905 году он придумал такую систему водяного отопления, которая применяется до сих пор. Профессор Чаплин преподавал в знаменитом Московском училище живописи, ваяния и зодчества (это здание и сегодня возвышается на Мясницкой, напротив почтамта). Но не только преподавал. Он воспитал и выучил на свои личные средства нескольких детей бедных служащих, у которых не было денег, чтобы содержать своих детей на время учебы. Среди тех, кого Чаплин, можно сказать, поставил на ноги, был и один из самых знаменитых наших архитекторов — К. С. Мельников. Он стал одним из главных представителей нового течения в архитектуре XX века — конструктивизма. Я жила в Сокольниках и каждый день ходила мимо спроектированного им в 20-е годы необычного здания — клуба им. Русакова, а иногда бегала туда в кино. И с раннего детства знала — со слов старшего брата — архитектора, который впоследствии написал большую книгу о Мельникове, — кто именно автор этого здания.

А Чаплин не только дал возможность мальчику Косте в начале XX века подготовиться к поступлению в Московское училище — он еще и настоял, чтобы тот занялся именно архитектурой: видно, рано разглядел его талант. Сохранилась фотография — на ней подросток Мельников вместе со всей семьей Чаплиных. И впоследствии, вспоминая о своем воспитателе, Мельников написал коллеге в Америку: «американцу трудно представить, что в России были и есть натуры, способные бескорыстно творить Добро». Не знаю, что думали тогдашние американцы о России, но у них-то самих всегда очень принято было помогать бедным. А в России в советское время частная благотворительность оказалась под запретом — считалось, что обо всех позаботится государство. К тому же и запрещение иметь частную собственность лишало людей реальной возможности оказывать такую помощь.

Сегодня многие богатые люди дают огромные средства на лечение больных детей, на помощь детским домам, на стипендии способным и небогатым студентам. Но наше общество знает об этом, к сожалению, гораздо меньше, чем о стоимости дорогих яхт этих людей.

Не приходится удивляться, что в доме такого деда выросла добрая и чувствительная девочка. Свои чувства она обратила на тех, кому может помочь и ребенок, — на «братьев наших меньших», как назвал их в своих стихах Есенин.

В годы Гражданской войны десятилетняя Вера потерялась — осталась без семьи. И попала в Ташкенте в детский дом. Впоследствии она вспоминала об этом таком тяжелом для нее времени: «Только любовь к животным помогла мне пережить это первое большое горе. Даже находясь в детском доме, я ухитрилась держать щенят, котят и птенцов... Днем я выносила своих питомцев в огромный сад около дома, а на ночь тащила их в спальню и прятала кого в тумбочку, кого под кровать, а кого себе под одеяло. Иногда кто-нибудь из воспитателей обнаруживал моих питомцев, и мне здорово попадало».

Пять лет спустя Веру разыскала мама и привезла в Москву. И она стала ходить в Московский зоопарк, в кружок юных биологов. И всерьез занялась изучением жизни зверей и животных — особенно тем, как сделать так, чтобы в неволе им не было слишком грустно. Она стала сотрудницей зоопарка и придумала, например, площадку молодняка, где учила разных зверят дружить между собой и с теми, кто лишен клыков и когтей. И москвичи очень полюбили эту площадку, где все мирно уживались друг с другом и волчата кувыркались с зайчатами и козлятами. Около этой площадки всегда толпился народ. Мне кажется даже, что это необычное зрелище кое-чему учило людей.

...Вот почему Вера Чаплина и везла к себе домой из зоопарка крохотного львенка, к судьбе которого нам пора вернуться.

— 3 —

Когда львенок замаякал в трамвае, его новая хозяйка вышла поскорей на площадку, чтоб ее не высадили. И когда под секретом сказала одному, особенно настыренному, что у нее за пазухой — львенок, так пока доехала — у нее на площадке перебивал весь вагон: все хотели посмотреть на живого львенка, хоть и очень маленького. А когда выходила — «высунулся кондуктор и закричал:

— Гражданка, что же вы мне-то льва не показали?

Пришлось показать и ему».

А дальше пришлось выбирать ему соску в аптеке — ведь пить из блюдца новорожденный львенок еще не умел.

«Долго искала я нужную. Одна была слишком жесткая, другая — большая, третья — маленькая. Продавщица меняла их несколько раз. Но я никак не могла подобрать годную. Наконец продавщица потеряла терпение и заявила мне, что если я сама не могу выбрать соску, пусть прихо-

дит мать. Пришлось объяснить, что мать — львица, сидит в клетке и прийти не может, что каждая потерянная минута будет стоить львенку жизни. В доказательство мне пришлось показать продавщице самого львенка.

Я никогда не думала, что это произведет такое впечатление. В одну минуту передо мной лежали все соски аптеки. Вероятно, у продавщицы это был первый случай, когда она продавала соску не для ребенка, а для звериного детеныша».

Дома Кинули уложили на мех от старой шубы — и еще положили под мех бутылочки с теплой водой — «и львенок в этом гнездышке лежал, как будто около матери».

А потом для него стали искать собаку — вместо няньки. И нашли в зоопарке шотландскую овчарку Пери, очень добрую и послушную.

«К новому своему подкидышу Пери отнеслась очень недоверчиво... Когда я положила к ней львенка, собака зарычала, старалась удрать. Пришлось держать ее силой. Но постепенно Пери привыкла к своему необычному питомцу, стала его вылизывать, а это означало, что Кинули усыновлена. Теперь можно было не бояться, что Пери ее обидит или бросит. Наоборот, когда подходили чужие люди, она беспокойно ворчала, оберегая львенка, боясь, как бы его не обидели. В собаке, у которой даже не было молока, вдруг проснулся материнский инстинкт».

Ну и, конечно, около львенка дежурили дети — по расписанию, которое сами составили. Кому же не захочется дежурить около львенка! Весь двор им завидовал.

На шестой день у Кинули открылись глаза. У кого были дома котята или щенята, те помнят, как ждешь-ждешь — когда же у них глаза откроются... «Сначала левый глазок, потом правый. Глазки были похожи на щелки и слезились. Ушки у нее поднялись, а ярко-красные губы стали розового цвета. Меня Кинули узнавала сразу. ...Стоило мне только поднести к ней руку, как Кинули все бросала и ползла ко мне».

У нее были синие глаза — такие синие, что даже зрачка не было видно. А видела она плохо. «Идет по комнате и на все натывается. Уткнется головой в ножку стула, а как обойти ее — не знает. Постоит-постоит и повернет обратно. Ходила Кинули вперевалочку, как утка. Ноги у нее заплетались, и падала она не на бок, а сразу на спину, совсем как заводная игрушка».

———— 4 ————

А потом немножко подросла и очень полюбила играть в прятки. Да-да! Дети придут, станут у дверей ее комнаты и шепчут в замочную скважину: «Кинули! Иди сюда, Кинули!» Она вскочит — и к двери. «Поднимется на задние лапки, передней за ручку потянет, откроет и выскочит в коридор. А в коридоре уже никого нет: попрятались ребята. Ходит Кинули, ищет их. Ищет в темной ванной, за дверями, в передней. Везде посмотрит. Найдет и сама прячется. Самое ее любимое место было за шкафом. Место узкое, тесное, Кинули в нем едва умещалась. Знают ребята, где спрятался львенок, да найти сразу нельзя — уйдет и больше играть не будет». Приходилось делать вид, что ищут, пока сама не выскочит.

Подросла еще немножко. (Я пропускаю здесь целую историю, как взяли еще маленького рысенка и как пришлось его отдать — сами прочитаете, когда найдете книжку «Кинули».) И приехал в отпуск муж хозяйки Веры Вася. И Кинули очень не понравилось, что он вселился в ее комнату. Ее раздражали даже его вещи. Он оставил раскрытый чемодан, она все вещи раскидала, одну рубашку порвала, другую стала рвать... Ночью не давала спать — то одеяло стащит, то подушку. «Немало она испортила вещей — пальто разорвала, занавески. Ничего оставить нельзя! Бывало, Васю к телефону зовут, а он с собой постель тащит».

Тогда не все еще понимали, что взрослых хищников ни в коем случае нельзя держать дома. Но Вера Чапли-

на очень хорошо их изучила. И когда Кинули исполнился год, она отдала ее в свой зоопарк — где, как понимаете, с ней не расставалась. К тому же кто-то должен был отвечать на письма — после выхода книжки они шли к Кинули от детей со всей страны.

Потом началась война, Вера Чаплина с частью животных эвакуировалась в Свердловск. И как она встретилась два года спустя с Кинули, вернувшись в Москву, — об этом спокойно читать невозможно.

Чаплина написала еще много книг про зверей. Они часто переиздаются. И буквально любую из них можно покупать и начинать читать. Не ошибетесь! Конечно, если только вы равнодушны к животным.

А впрочем — после чтения книг Веры Чаплиной вы уж точно станете неравнодушны к ним. И будете защищать их от равнодушных.





## СЧАСТЬЕ ДЕТСТВА

— 1 —

«Счастливая, счастливая невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней?»

Кто уже прочитал «Детство» Льва Толстого, тот наверняка запомнил это восклицание в начале одной из глав. В раннем детстве не очень-то оценишь эти слова. Но лет в двенадцать... четырнадцать... Когда уже появляются воспоминания о своем, увы, прошедшем детстве — счастливым времени, когда нет еще ни школы, ни уроков, мало обязанностей по дому, — тогда эти слова вызывают невольный грустный вздох. Вот уж правда — и счастливая, и невозвратимая пора...

Почти все писатели — ну, большинство, по крайней мере, — рано или поздно берутся писать о детстве. И там обязательно появляется немало автобиографического — то есть того, что помнится из того времени самого свет-

лого. И даже когда детство довольно-таки ужасное — как, например, в «Детстве» Максима Горького (то есть Алексея Максимовича Горького, настоящая фамилия Пешков), едва ли не самой лучшей его книжке, — то все равно и там найдется немало трогательных страниц: например, о доброй, любящей бабушке.

Был в России такой писатель — Алексей Николаевич Толстой. Он родился в 1882 году в Заволжье — то есть в тех местах, что простираются за левым берегом средней части Волги, примерно до Урала. (А если вы знаете города Заволжск и Заволжье — как раз на правом берегу, — так это их называли так уже в 1950—1960-е годы. Тогда советская власть не очень-то считалась с традиционными историко-географическими представлениями.)

Так и названа одна из первых его повестей — «Заволжье».

Там, в именье отчима, прошло его детство.

Вскоре после Октябрьского переворота А. Толстой вместе с семьей — женой и родившимся в 1917 году сыном Никитой — покинул Москву, где резко изменилась к худшему жизнь, начиналось голодное и холодное время. Он попал в Одессу, а оттуда — в эмиграцию: сначала в столицу Турции Стамбул, потом — в Париж, а через два года — в Берлин.

И в 1923 году принял решение вернуться в Россию — теперь уже в советскую. Это его решение, а также дальнейшая жизнь и работа в качестве советского писателя — тема большая и сложная. О ней мы говорить на этих немногих страницах не будем. А речь пойдет о повести, которую он написал в 1920 году в Париже, — «Детство Никиты». На мой вкус — самом замечательном его сочинении.

Правда, еще стоит помнить, что он же пятнадцать лет спустя написал «Золотой ключик, или приключения Буратино» — не перевел, а талантливо пересказал, очень многое придумав по-своему, одну итальянскую сказку про деревянного человечка. Но про Буратино и голубоглазую Мальвину, про ее пуделя Артемона, а также про торговца

пиявками, про старую черепаху Тортиллу и многих других вам, наверно, давно прочитали взрослые — еще когда вы не умели читать.

А в старших классах неплохо бы прочитать и объемистый роман «Петр Первый». Уже несколько поколений читателей с удовольствием цитируют почему-то всем запомнившуюся наизусть первую фразу романа, начинающегося в деревенской избе: «Санька соскочила с печи, задом ударила в забухшую дверь».

Но «Петра Первого» можно, честно говоря, прочитать в любом возрасте. И потому вернемся к «Детству Никиты», которого можно прочитать или в детстве-отрочестве, или никогда.

## ———— 2 ————

В мои руки эта скорее тонкая, чем толстая книжка попала, когда мне было семь лет.

Прекрасно помню тот замечательный день. Ранняя весна, яркое мартовское солнце заливает нашу комнату. Я сижу почему-то на полу, на старом вытертом ковре, который называют «палас», и читаю, испытывая непрекращающееся чувство счастья. Квадраты солнца (от оконного переплета) на ковре каким-то образом это чувство усиливают — тем более что и в повести, которую я читаю, тоже все время льется солнечный свет.

...Читаю — а сама то и дело поглядываю: сколько осталось до конца. И очень огорчаюсь, что остается все меньше и меньше. Потому что читаю я быстро, взахлеб. Но остановиться или начать медлить — нет никаких сил. Мне нравится каждая страница, и чем дальше — тем больше.

Первая глава как раз так и называлась — «Солнечное утро»: «Никита вздохнул, просыпаясь, и открыл глаза. Сквозь морозные узоры на окнах, сквозь чудесно расписанные серебром звезды и лапчатые листья светило солнце. Свет в комнате был снежно-белый...

...Никита вылез из кровати и на цыпочках прошелся по горячим солнечным квадратам на полу...

В это время дверь приотворилась, и в комнату просунулась голова в очках, с торчащими рыжими бровями, с ярко-рыжей бородкой. Голова подмигнула и сказала:

— Встаешь, разбойник?»

Это был Никитин учитель, Аркадий Иванович.

Вы подумаете: «Какой еще учитель? Он ведь еще не учился и вообще дома проснулся!..»

Но в том-то и дело, что когда я написала вначале о счастливом времени детства — без школы, без уроков, — то к детям из дворянских семей и вообще из семей высокообразованных это вовсе не относилось. Задолго до гимназии, с довольно-таки раннего детства им нанимали домашних учителей. И те каждый день занимались с детьми всеми предметами, а особенно языками.

Учителя эти были, конечно, разные. Вон Петруше Гриневу в «Капитанской дочке» наняли француза Бопре, который «в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию *pour etre ouचितel*, не очень понимая значения этого слова». Дальше Пушкин рассказывает, что из этого вышло: «Мы тотчас поладили, и хотя по контракту обязан он был учить меня по-французски, по-немецки и всем наукам, но он предпочел наскоро выучиться от меня болтать по-русски — и потом каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в душу». Ну, и понятно, чем это должно было кончиться — в один прекрасный день батюшка Петруши прогнал француза «со двора, к неопи-санной радости Савельича. Тем и кончилось мое воспитание».

Но это — русский XVIII век. В конце XIX века все уже обстоит по-другому. И, конечно, — иначе, чем у нас в XXI.

«У стола за самоваром сидела матушка в сером теплом платье. Она взяла Никиту за лицо, ясными глазами взглянула в глаза его и поцеловала.

— Хорошо спал, Никита?

Затем она протянула руку Аркадию Ивановичу и спросила ласково:

— А вы как спали, Аркадий Иванович?

— Спать-то я спал хорошо, — ответил он, улыбаясь непонятно чему, в рыжие усы, сел к столу, налил сливок в чай, бросил в рот кусочек сахара, схватил его белыми зубами и подмигнул Никите через очки.

Аркадий Иванович был невыносимый человек: всегда веселился, всегда подмигивал, не говорил никогда прямо, а так, что сердце екало. Например, кажется, ясно спросила мама: “Как вы спали?” Он ответил: “Спать-то я спал хорошо”, — значит, это нужно понимать: “А вот Никита хотел на речку удрать от чая и занятий, а вот Никита вчера вместо немецкого перевода просидел два часа на верстаке у Пахома”.

Аркадий Иванович не жаловался никогда, это правда, но зато Никите все время приходилось держать ухо востро.

...— Идем заниматься, — сказал Аркадий Иванович, встал решительно и быстро потер руки, будто на свете не было большего удовольствия, как решать арифметические задачи и диктовать пословицы и поговорки, от которых глаза слипаются.

...Аркадий Иванович раскрыл задачник.

— Ну-с, — сказал он бодро, — на чем остановились? — И отточенным карандашиком подчеркнул номер задачи.

“Купец продал несколько аршин синего сукна по 3 рубля 64 копейки за аршин и черного сукна...” — прочел Никита. И сейчас же, как и всегда, представился ему этот купец из задачника. Он был в длинном пыльном сюртуке, с желтым унылым лицом, весь скучный и плоский, высохший. Лавочка его была темная, как щель; на пыльной плоской полке лежали два куска сукна; купец протягивал к ним тощие руки, снимал куски с полки и глядел тусклыми неживыми глазами на Никиту».

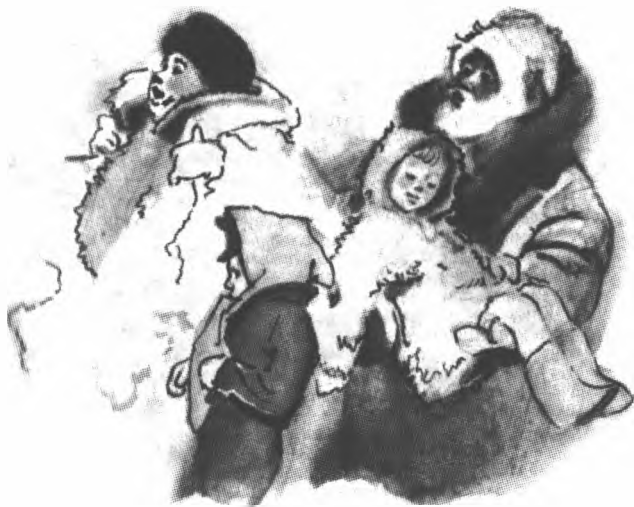


Но зато наступает день, когда Аркадий Иванович объявляет, что сегодня заниматься не будем. «Две недели можешь бегать, высуня язык».

И Никита вспоминает: «— Рождественские каникулы!»

Появляется множество интересных дел — например, вместе с дворовыми мальчишками вести бой на снегу, стенка на стенку.

А в один прекрасный вечер за окном — скрип снега, голоса. «...Тяжело отворилась обитая войлоком дверь и появилась высокая и полная женщина в двух шубах и в платке, вся запорошенная снегом. Она держала за руку мальчика в сером пальто с блестящими пуговицами и в башлыке». Заметим, что такое пальто безусловно означало, что мальчик — гимназист. И действительно — Виктор оказался второклассником, важно и гордо рассказывал на другой день Никите о строгостях в их гимназии: «...Меня постоянно без обеда оставляют».



«...За ними, стуча морозными валенками, вошел ямщик, с ледяной бородой, с желтыми сосульками вместо усов, с белыми мохнатыми ресницами. На руках у него лежала девочка в белой, мехом наверх, козьей шубке. Склонив голову на плечо ямщика, она лежала с закрытыми глазами, личико у нее было нежное и лукавое».

Это к матери Никиты на рождественские каникулы приехала с детьми из Самары ее приятельница. «Сын ее Виктор, ожидая, когда с него снимут башлык, глядел исподлобья на Никиту. Матушка приняла у кучера спящую девочку, сняла с нее меховой капор, — из-под него тотчас рассыпались светлые, золотистые волосы, — и поцеловала ее.

— Лилечка, приехали.

Девочка вздохнула, открыла большие синие глаза и вздохнула еще раз, просыпаясь».

И жизнь Никиты сразу круто изменилась.



Наутро за завтраком Лиля, девочка «лет девяти», была одета «в белое платье с голубой шелковой лентой, завязанной сзади в большой бант. В ее светлых и вьющихся волосах был второй бант, тоже голубой, в виде бабочки.

Никита, подойдя к ней, покраснел и шаркнул ногой — так, придвигая одну ногу к другой и слегка ударяя каблуком о каблук, в те годы мужчины здоровались с дамами и со старшими. «Лиля повернулась на стуле, протянула руку и сказала очень серьезно:

— Здравствуйте, мальчик.

Когда она говорила это, верхняя губа ее поднялась. Никите показалось, что это не настоящая девочка, до того хорошенькая, в особенности глаза — синие и ярче ленты, а длинные ресницы как шелковые».

А потом за ее братом Виктором и Никитой гонится злой бык Баян.





«Виктор оглянулся, закричал, упал в снег и закрыл голову руками. Баян был шагах в пяти. Тогда Никита остановился, стало вдруг горячо от злости, сорвал шапку, подбежал к быку и шапкой стал бить его по морде:

— Пошел, пошел!

Бык встал, опустил рога. Сбоку подбегал Мишка Коряшонок, щелкая кнутом. Тогда Баян замычал жалобно, повернулся и пошел назад к колодцу. У Никиты от волнения дрожали губы. Он надел шапку и обернулся. Виктор был уже около дома и оттуда махал ему рукой. Никита невольно поглядел на окно — третье слева от крыльца. В окне он увидел два синих удивленных глаза и над ними стоящий бабочкой голубой бант. Лиля, взобравшись на подоконник, глядела на Никиту и вдруг улыбнулась. Никита сейчас же отвернулся. Он больше не оглядывался на окошко. Ему стало весело, он крикнул:

— Виктор, идем с гор кататься, скорее!»

А потом вносят кожаный чемодан гости и ставят на стол. «Матушка раскрыла его и начала вынимать: листы

золотой бумаги, гладкой и с тиснением, листы серебряной, синей, зеленой и оранжевой бумаги, бристольский картон, коробочки со свечками, с елочными подсвечниками... затем коробку с хлопушками, пучки золотой и серебряной канители, фонарики с цветными слюдяными окошечками и большую звезду. С каждой новой коробкой дети стонали от восторга». Недаром в первом издании книга называлась «Повесть о многих превосходных вещах!» А «Детство Никиты» было подзаголовком.

Варят крахмал — и начинают клеить елочные цепи, фунтики для конфет... А Лиля клеит маленькую коробочку — «вырезала из золотой бумаги звездочку и наклеила ее на синюю крышечку.

— Вам для чего эта коробочка? — вполголоса спросил Никита.

— Это коробочка для кукольных перчаток, — ответила Лиля серьезно, — вы мальчик, вы этого не поймете. — Она подняла голову и поглядела на Никиту синими строгими глазами.

Он начал краснеть все гуще и жарче и, наконец, побагровел.

— Какой вы красный, — сказала Лиля, — как свекла.

И она опять склонилась к коробочке. Лицо ее стало лукавым».

...В повести происходит множество не только чудесных и прекрасных, но и опасных вещей. Никита слышит вдруг «короткий страшный крик матушки. Она появилась в глубине коридора, лицо ее было искажено, глаза — побелевшие, раскрытые ужасом. ...Матушка не шла, а летела по коридору.

— Скорее, скорее, — крикнула она, распахивая дверь на кухню, — Степанида, Дуня, бегите в людскую!.. Василий Николаевич около Хомяковки тонет...»

Обо всем этом вы прочтете сами — и чем раньше, тем интересней вам будет читать.

Если вам двенадцать лет и вы еще не читали ни одной страницы замечательного англичанина Герберта Уэллса, то я вам, во-первых, не завидую — потому что вы прожили уже немало лет без тех особенных чувств, которые охватывают того, кто читает «Хрустальное яйцо», «Новейший ускоритель», «Дверь в стене» или «Человека-невидимку».

А во-вторых — завидую. Потому что все это у вас впереди!

Вот один герой изобрел ускоритель и ради эксперимента принял его вовнутрь вместе со своим товарищем. Правда, он не забыл предупредить его о необходимости ряда предосторожностей, потому что «вы и не заметите резкости ваших жестов. Ощущения ваши останутся прежними, но все вокруг вас как бы замедлит ход».

И действительно. «Я выглянул в окно. Неподвижный велосипедист с застывшим облачком пыли у заднего колеса, опустив голову, с бешеной скоростью догонял мчащийся омнибус, который тоже не двигался с места. Я раскрыл рот от изумления при виде этого невероятного зрелища».

Друзья выбежали из дома — и стали разглядывать экипажи, неподвижно застывшие посреди улицы...

«— Бог мой! — вдруг воскликнул Гибберн. — Посмотрите-ка!

Там, куда он указывал, по воздуху, медленно перебирая крылышками, двигалась со скоростью медлительнейшей из улиток — кто бы вы думали? — пчела!

<...> Люди вокруг кто стоял навытяжку, кто, словно какое-то несуразное немое чучело, балансировал на одной ноге, прогуливаясь по лугу. Я прошел мимо пуделя,

который подскочил кверху и теперь спускался на землю, чуть шевеля лапками в воздухе.

— Смотрите, смотрите! — крикнул Гибберн».

И оба они устали на щеголя, «который оглянулся назад и подмигнул двум разодетым дамам. Подмигивание — если разглядывать его не спеша, во всех подробностях, как это делали мы, — вещь малопривлекательная. ... Вы вдруг замечаете, что подмигивающий глаз закрывается неплотно и из-под опущенного века видна нижняя часть глазного яблока.

— Отныне, — заявил я, — если Господь Бог не лишит меня памяти, я никогда не буду подмигивать.

— А также и улыбаться, — подхватил Гибберн, глядя на ответный оскал одной из дам».

Как они выходили из своего ускорения (а у них от бешеной скорости уже начали дымиться брюки!) и как висевшая неподвижно в воздухе соседская «болонка, которая вечно лает» (Гибберн вознамерился зашвырнуть ее куда подальше), шмякнулась вдруг на зонтик одной из дам и прорвала его, — об этом вы, надеюсь, прочитаете сами.

А «Первые люди на луне» — вообще одно из самых сильных впечатлений моего детства. Не только необычайно увлекательно — там немало печального, даже щемящего. И мне, не скрою, было грустно, когда люди — и американцы, и мы, — добрались до Луны. И с тех пор, когда подымаешь лунной ночью голову и смотришь на таинственное светило, — уже точно знаешь, что там нет живых существ. А Уэллс в детстве заставил меня поверить в них.

И, конечно же, — «Человек-невидимка». Сколько потрясающих приключений! И никакое кино не заменит словесного описания финала, когда всей толпой добивают невидимого человека... Доктор Кемп «опустился на колени возле невидимого существа... Кемп водил рукой, словно ощупывая пустоту.

— Не дышит, — сказал он. — И сердце не бьется. Бок у него... Ох!

Какая-то старуха, выглядывая из-под локтя рослого землякопа, вдруг громко вскрикнула:

— Глядите! — сказала она, вытянув морщинистый палец.

И, взглянув в указанном ею направлении все увидели контур руки, бессильно лежавшей на земле; рука была



словно стеклянная, можно было разглядеть все вены и артерии, все кости и нервы. Она теряла прозрачность и мутнела на глазах...»

— 2 —

«Год тому назад близ Севендайлса еще стояла маленькая, вся снаружи закопченная лавка... Набор вещей, выставленных в ее витрине, поражал пестротой. Там были слоновые клыки, разрозненные шахматные фигуры, четки, пистолеты, ящик, наполненный стеклянными глазами, два черепа тигра и один человеческий...» Среди прочего — «несколько засиженных мухами страусовых яиц...» И главное (как выясняется постепенно) — «среди всех этих предметов лежал и кусок хрусталя, выточенный в форме яйца и прекрасно отшлифованный».

Вокруг него-то и развивается все действие — и сам рассказ называется «Хрустальное яйцо».

Дело в том, что владелец лавки заметил — яйцо в полной темноте слабо флуоресцирует.

И однажды, «поворачивая яйцо в руках, мистер Кэйв увидел нечто новое. В глубине хрусталя словно вспыхнула молния, и ему показалось, будто перед ним открылись на миг бескрайние просторы какой-то неведомой страны».

В следующий раз «что-то большое и яркое пролетело в вышине над красноватыми скалами и равниной».

Дальше — пуща: «Терраса нависала над зарослями роскошных цветущих кустарников, а дальше начинался широкий луг, в траве которого возлежали какие-то странные существа, похожие на огромных, раздавленных в ширину жуков. За лугом бежала дорога, выложенная узором из розоватого камня, а еще дальше, вдоль цепи скал, сверкала зеркально-гладкая река, заросшая по берегам красной травой. Большие птицы тучами величественно парили в воздухе. По ту сторону реки, в чаще деревьев, покрытых мхами и лишайниками, высились

дворцы, игравшие на солнце полировкой разноцветного гранита и металлической резьбой. И вдруг перед мистром Кэйвом что-то замелькало; это были словно взмахи крыльев или украшенного драгоценностями веера, и он увидел чье-то лицо, вернее, верхнюю часть лица, с огромными глазами — увидел его так близко от себя, точно их разделял только прозрачный хрусталь. Испуганный и пораженный живостью этих глаз, мистер Кэйв поднял голову, заглянул за яйцо и, очнувшись от своих видений, увидел себя все в той же холодной, темной лавчонке, пропитавшейся запахом метила, плесени и гнили. И пока он изумленно озирался по сторонам, сияние в хрустале стало меркнуть и вскоре совсем погасло».

Но не насовсем.

«Таковы были первые опыты мистера Кэйва. Рассказывал он о них обстоятельно, со всеми подробностями. Мелькнув перед ним в первый раз, пейзаж в хрустальном яйце поразил его воображение, а по мере того как он обдумывал увиденное, любопытство его перешло в страсть. Дела в лавке он вел теперь спустя рукава, помышляя только о том, как бы поскорее вернуться к своему новому занятию».

А дальше, естественно, все очень осложняется...

### — 3 —

В 1908 году Герберт Уэллс, никогда не бывавший в России, писал о ней так: «Я представляю себе страну, где зимы так долги, а лето знойно и ярко; где тянутся вширь и вдаль пространства небрежно возделанных полей; где деревенские улицы широки и грязны, а деревянные дома раскрашены пестрыми красками, где много мужиков, беззаботных и набожных, веселых и терпеливых; где много икон и бородатых попов, где безлюдные плохие дороги тянутся по бесконечным равнинам и по темным сосновым лесам. Не знаю, может быть все это и не так; хотел бы я знать, так ли».

...Проехав сто лет спустя всю Россию от Владивостока до Москвы на машине, я вынуждена сообщить своим юным читателям, что кое-что и сегодня — именно так.

Что же касается слов «много икон», надо иметь в виду, что для англичанина, с детства привыкшего к витражам в своих соборах, — это черта именно православных церквей.

Когда в 1920-м году Уэллс приехал в Россию, только что пережившую революцию и Гражданскую войну — то и другое погрузило страну в разруху, — его вполне реалистические описания увиденного напоминают едва ли не картины Англии во время и после нашествия марсиан. Смотрите сами:

«Впереди, насколько хватало глаз, вся дорога от Лондона казалась сплошным клокочущим потоком грязных и толкающихся людей, катившихся между двумя рядами вилл». И через несколько дней после нашествия: «Здесь тянулась извилистая улица — нарядные белые и красные домики, окруженные тенистыми деревьями. Теперь я стоял на груде мусора, кирпичей, глины и песка... Окрестные дома все были разрушены... стены уцелели до второго этажа, но все окна были разбиты, двери сорваны. ...По стене одного дома осторожно спускалась кошка; но признаков людей я не видел нигде. Повсюду виднелись следы разрушения. Порою местность была так опустошена, как будто здесь пронесся циклон...» («Война миров», 1897).

Нечто в этом роде видит Уэллс в опустевшем — еще недавно столичном — огромном российском городе:

«Дворцы Петрограда пусты и безмолвны или же вновь омеблированы чуждой им обстановкой — пишущими машинками, столами и полками новых административных учреждений... Улицы Петрограда раньше были полны бойко торгующими магазинами... Все эти магазины не существуют больше». Теперь они «имеют совершенно жалкий и запущенный вид; краска облупилась, витрины потрескались, некоторые сломаны и забиты доска-



ми... стекла помутнели; на прилавках собралась двухгодичная пыль. Это — мертвые магазины». Мостовые «в ужасающем состоянии. Их не исправляли в течение трех-четырех лет, они полны ям, как будто вырытых снарядом, иногда в два-три фута глубиной. Трещины образовались от мороза, дожди их размыли; люди вынимают деревянные торцы мостовой, чтобы топить ими печи... Все люди оборваны... Когда идешь по какому-то переулку в сумерках и ничего не видишь, кроме плохо одетых фигур, которые все куда-то спешат... получаешь впечатление, что все население готовится к бегству. И это впечатление не вполне ошибочно. ...Численность петроградского населения пала с 1 200 000 (до 1919 г.) до семисот тысяч с небольшим и продолжает падать: многие вернулись в деревню, к крестьянской жизни, многие пробрались за границу, но больше всего погибло людей от нужды и тяжелых условий жизни» («Россия во мгле», 1920).

А когда во время личной встречи с Лениным Уэллс стал допытываться у него: «Что, собственно, по вашему мнению, вы делаете с Россией? Что вы стараетесь создать?» — то есть, за что же вы платите такую непомерную цену? — Ленин вместо ответа задавал свои вопросы: «Почему социальная революция не началась еще в Англии? Почему вы ничего для социальной революции не делаете? Почему вы не разрушаете капитализма и не устанавливаете у себя коммунистический строй?..»

— 4 —

Я стала перечитывать «Войну миров» — и так же, как в детстве, она поразила меня правдоподобием всех описаний. Просто поверить невозможно, читая этот роман, что марсиане никогда (пока!) не высаживались на Земле!

«Большая сероватая круглая туша, величиной, пожалуй, с медведя, медленно, с трудом вылезала из цилиндра.

Высунувшись на свет, она залоснилась, точно мокрый ремень. Два больших темных глаза пристально смотрели на меня. У чудовища была круглая голова и, если так можно выразиться, лицо... Тот, кто не видел живого марсианина, вряд ли может представить себе его страшную, отвратительную внешность. Треугольный рот с выступающей верхней губой, полнейшее отсутствие лба, никаких признаков подбородка под клинообразной нижней губой, непрерывное подергивание рта, щупальцы, как у Горгоны, шумное дыхание в непривычной атмосфере, неповоротливость и затрудненность в движениях — результат большой силы притяжения Земли, — в особенности же огромные пристальные глаза — все это было омерзительно до тошноты».

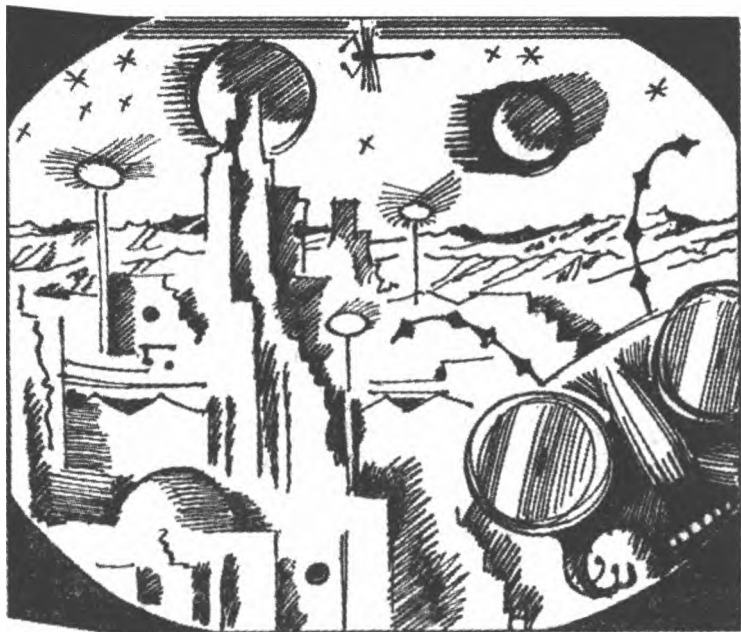
Любопытно — сразу ясно, что это написано в конце позапрошлого века. В сегодняшнем цивилизованном мире вот этот ход мысли — «очень непохоже на нас, следовательно — омерзительно», — уже, как говорится, не котируется. Мир (правда, далеко не все люди!) выучился относиться к непохожему терпимо (толерантно).

«Войну миров» прочесть надо обязательно. А если захочется сгладить тяжелое впечатление — поскорей открывайте «Дверь в стене». Там маленький мальчик открыл зеленую калитку в белой стене в переулке, вошел — и попал в иной мир, озаренный теплым, мягким, ласковым светом... «Длинная широкая дорожка, по обеим сторонам которой росли великолепные, никем не охраняемые цветы, бежала передо мной и манила идти все дальше, рядом со мной шли две большие пантеры. Я бесстрашно погрузил свои маленькие руки в их пушистую шерсть, гладил их круглые уши... Казалось, они приветствовали мое возвращение на родину. Все время мною владело радостное чувство, что я наконец вернулся домой». И дальше эта зеленая дверь то появляется в его жизни, то исчезает...

Между прочим, помимо всем известного поразительного дара выдумки, Уэллс обладал умением видеть и опи-

сывать зрительный облик реального предмета. Это особо отмечено было его соотечественником — другим замечательным английским писателем, о котором мы скоро будем с вами говорить отдельно. Это Гилберт Честертон — тот самый, который подарил нам рассказы о патере Брауне. Так вот, он, бывши свидетелем спора Уэллса о том, что «все относительно», рассказывает, что «Уэллс сказал, что лошадь красива сбоку, но очень уродлива сверху: тощая, длинная шея и толстые бока, *наподобие скрипки*» (курсив наш. — М. Ч.).

Ведь и правда похоже.



# АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ, МИХАИЛ ИСАКОВСКИЙ И ИОСИФ БРОДСКИЙ О ВОЙНЕ И О ЦЕНЕ ПОБЕДЫ

## 1

В сентябре 1942 года поэт Александр Твардовский, с самых первых дней войны оказавшийся на фронте, напечатал в «Красноармейской правде» первые главы своей новой поэмы «Василий Теркин». В них он сделал то, чего не решился сделать в тот момент с такой прямоотой, кажется, никто, — с болью и суровой беспощадностью описал отступление нашей армии в первые месяцы войны, отступление до самой Москвы и до Волги.

Описал воистину как «тяжкий сон» своего героя,

Как от западной границы  
Отступал к востоку он;  
Как прошел он, Вася Теркин,  
Из запаса рядовой,  
В просоленной гимнастёрке  
Сотни верст земли родной.  
До чего земля большая,  
Величайшая земля.  
И была б она чужая,  
Чья-нибудь, а то — своя.

.....  
Шел наш брат, худой, голодный,  
Потерявший связь и часть,  
Шел поротно и повзводно,  
И компанией свободной,  
И один, как перст, подчас.

.....  
Шел он, серый, бородатый,  
И, цепляясь за порог,  
Заходил в любую хату,

Словно чем-то виноватый  
Перед ней. А что он мог!

.....

Он просил сперва водички,  
А потом просил поесть.

Тетка — где ж она откажет?  
Хоть какой, а все ж ты свой.  
Ничего тебе не скажет,  
Только всхлипнет над тобой,  
Только молвит, провожая:  
— Воротиться дай вам Бог...

То была печаль большая,  
Как брели мы на восток.

Шли худые, шли босые  
В неизвестные края.  
Что там, где она, Россия,  
По какой рубеж своя!

...С осени 1942 года поэма Твардовского, ставшая несомненно главным поэтическим сочинением о войне, будет печататься в газете «Красноармейская правда» всю войну, порою несколько раз в месяц, вплоть до июня 1945 года. Солдаты рвали газету из рук, ожидая новых строк про любимого героя.

И ни разу не будет упомянуто в этой поэме имя Верховного главнокомандующего, не сходившее со страниц газет. Имя того, кто оставил жестко и жестоко руководимую им страну незащищенной перед нашествием, допустил оккупацию огромной ее части, плен миллионов бойцов.

У Твардовского воюет, несет все тяготы войны, отвоевывает свою страну *народ*.

...Правда правдой, ложью ложь.  
Отступали мы до срока,

Отступали мы далеко,  
Но всегда твердили:  
— Врешь!

.....  
Не зарвемся, так прорвемся,  
Будем живы — не помрем.  
Срок придет — назад вернемся,  
Что отдали — все вернем.

Трижды возглашает автор в разных местах поэмы:

«— Взвод! За Родину! Вперед!»

И ни разу — «За Сталина!»

Это был прямой вызов: «...Официальный и абсолютно непреложный идеологический канон был начисто устранен из поэмы!» — написал недавно известный историк Е. Плимак. И добавил: «За два года пребывания на передовой я вообще не слышал <...> каких-либо разговоров о Сталине. <...> И в атаку бойцов поднимало не имя Сталина, а классический русский мат».

Твардовский и здесь не мог отступить от правды, не подтвердить —

...Что в бою — на то он бой  
— Лишних слов не надо;  
Что вступают там в права  
И бывают кстати  
Больше прочих те слова,  
Что не для печати...

...Уже в «Теркине» — то есть в «сталинское» время — началась та словесная работа, которую Твардовский повел первым. Это было пародирование советских слов.

...Я ж, как более *идейный*,  
Был там как бы политрук.  
Я одну политбеседу



Повторял:  
— Не унывай.

Так как советский язык политбесед *идейных* политруков был в те годы у любого читателя на слуху — на фоне живых речений Теркина очевидной становилась его мертвечина.

Можно смело сказать, что под пером поэта оживал, приобретал права, легализовывался загнанный в угол сугубо частной жизни живой русский язык.

———— 2 ————

Твардовский, как мог, подбадривал своим стихом отвоёвывающих свою землю солдат. Когда же они освободили свою и вступили на землю чужую, когда замаячил конец страшной войны — он счел возможным заговорить в полный голос о том горе, которая она принесла. Так появилась в «Василии Теркине» глава «Про солдата-сироту».

На земле всего дороже,  
Коль имеешь про запас  
То окно, куда ты сможешь  
Постучаться в некий час.

.....

А у нашего солдата, —  
Хоть сейчас войне отбой,  
Ни окошка нет, ни хаты,  
Ни хозяйки, хоть женатый,  
Ни сынка, а был, ребята, —  
Рисовал дома́ с трубой...

А узнал солдат о своем огромном несчастье ненароком — когда наша армия, развернувшись, двигалась наконец на запад, освобождая область за областью, после долгой, длившейся два-три года, оккупации, когда никаких известий о семье бойцы, как правило, не имели. Как не имел их, видимо, и сам Твардовский, у которого на Смоленщине под немцем остались родители, братья, сестры...

И вот солдат просит на привале разрешения отлучиться:

...Дескать, случай дорогой,  
Мол, поскольку местный житель —  
До двора — подать рукой.

И вот идет по местам, знакомым ему «до куста», —

Но глядит — не та дорога,  
Местность будто бы не та.

Вот и взгорье, вот и речка,  
Глушь, бурьян солдату в рост,  
Да на столбике дощечка,  
Мол, деревня Красный Мост.



И уцелевшие жители сообщают ему, что семьи его уже нет на свете.

У дощечки на развилке,  
Сняв пилотку, наш солдат  
Постоял, как на могилке,  
И пора ему назад.

Поэт не берется гадать, что творилось у него в душе.

Но, бездомный и безродный,  
Воротившись в батальон  
Ел солдат свой суп холодный  
После всех, и плакал он.

На краю сухой канавы,  
С горькой, детской дрожью рта,  
Плакал, сидя с ложкой в правой,  
С хлебом в левой, — сирота.

————— 3 —————

Предполагают, что именно под воздействием этой главы «Теркина», напечатанной в конце января 1945 года в «Красноармейской правде», Михаил Исаковский — любимый и высоко чтимый земляк и старший (старше на десятилетие) товарищ Твардовского — написал в том же 1945 году, бесспорно, лучшее свое стихотворение:

Враги сожгли родную хату,  
Сгубили всю его семью.  
Куда ж теперь идти солдату,  
Кому нести печаль свою?

Он идет — и находит

...в широком поле  
Травой заросший бугорок.  
Стоит солдат — и словно комья  
Застряли в горле у него.  
Сказал солдат: «Встречай, Прасковья,  
Героя — мужа своего...»

.....  
Никто солдату не ответил,  
Никто его не повстречал,  
И только теплый летний ветер  
Траву могильную качал.

.....  
«...Сойдутся вновь друзья-подружки,  
Но не сойтись вовеки нам...»  
И пил солдат из медной кружки  
Вино с печалью пополам.

Эти стихи сразу же стали песней — музыку написал М. Блантер. Но петь ее — и по радио, и в концертах — запретили после первого же исполнения. Ее пели только фронтовики-инвалиды в подмосковных электричках, собирая милостыню.

Запрет длился полтора десятилетия — пока, вспоминает Е. Евтушенко, в 1960 году песню не отважился исполнить во Дворце спорта в Лужниках Марк Бернес. «Прежде чем запеть, он глуховатым голосом прочел, как прозу, вступление: “Враги сожгли родную хату. Сгубили всю его семью”. Четырнадцатитысячный зал встал после этих строк и стоя дослушал песню до конца. Ее запрещали еще не раз, ссылаясь на якобы возмущенное мнение ветеранов. Но в 1965 году герой Сталинграда маршал В. И. Чуйков попросил Бернеса ее исполнить на “Голубом огоньке”, прикрыв песню своим прославленным именем». После этого она «стала народным лирическим репертуаром».

А Твардовский вслед за главой «Про солдата-сироту» печатает в марте 1945 года в той же «Красноармейской правде» новую главу — «По дороге на Берлин».

Она открывается потрясающим для советской подцензурной печати, нигде более в поэзии советских лет не встречающимся описанием. Автор поэмы передает движение наступающей, с боями вступившей наконец в Германию армии поразительными по поэтической силе строками — с жесткими реалиями времени:

По дороге на Берлин  
Вьется серый пух перин.

Провода угасших линий,  
Ветки вымокшие лип  
Пух перин повил, как иней,  
По бортам машин налип.

И колеса пушек, кухонь  
Грязь и снег мешают с пухом.  
И ложится на шинель  
С пухом мокрая метель...

Любой фронтовик, дошедший до Германии, с ходу узнавал эту причудливую для непосвященных деталь чужеземного ландшафта поверженной страны... А именно им в первую очередь адресовал свою поэму Твардовский — еще воюющим солдатам, которые шли теперь по бетонным, не пружинящим, как наш асфальт, под сапогом пехотинца, а отбивающим ему подошвы ног дорогам Германии... (Мне в детстве отец рассказывал об этой разнице в дорожном покрытии, чувствительной для ног, если в день идти по сорок километров.)

Поэт хотел, чтобы солдаты увидели — он пишет правду.  
Так что это за пух?

И здесь прибегну к рассказу своего отца об этом пухе:

— Когда перешли границу, вошли в Польшу — бойцы были на пределе, хотели все крушить: многие уже знали о гибели близких, о сожженных домах... Командиры уговаривали: «Держитесь, ребята — подождите до Германии!..» Вошли — все дома пустые... Мирное население в страхе бежало: знали уже, что делала в России их армия... И солдаты не знали, как найти выход ярости, — били стекла, зеркала, хрусталь, сервизы... Вспарывали штыками во всех пустых домах перины... Мы шли по дорогам к Берлину — повсюду летел пух...

Об этом не писали в газетах — ведь советские солдаты должны были вести себя по-другому. Но для Твардовского важней всего была тяжелая правда войны.

———— 5 ————

И еще раз вернемся к стихотворению Исаковского — к его концовке.

Он пил — солдат, слуга народа,  
И с болью в сердце говорил:  
«Я шел к тебе четыре года,  
Я три державы покорил...»  
Хмелел солдат, слеза катилась,  
Слеза несбывшихся надежд.  
И на груди его светилась  
Медаль за город Будапешт.

Медаль «За взятие Будапешта» была последней из тогдашних наград — ее учредили уже после Победы, в июне 1945 года, для тех, кто брал Будапешт зимой 1944/45 года.

...Мне всегда мерещится в этих щемящих строках о несбывшихся надеждах (и это, конечно, не только надежда увидеть семью), о несоответствии покорения трех дер-

жав — тому, что ожидало солдата дома (не только несчастье в семье, но и советские лагеря для тех, кто побывал в немецких, и нищета, и бесправие), какое-то предвестие моего любимого стихотворения Бродского «На смерть Жукова» — главного полководца Великой Отечественной войны, в армии которого воевал мой отец.

Оно написано в 1974 году в вынужденной эмиграции — в Америке:

Вижу колонны замерших внуков,  
гроб на лафете, лошади круп.  
Ветер сюда не доносит мне звуков  
русских военных плачущих труб.  
Вижу в регалии убранный труп:  
в смерть уезжает пламенный Жуков.  
Воин, пред коим многие пали  
стены, хоть меч был вражьих тупей,  
блеском маневра о Ганнибале  
напоминавший средь волжских степей.  
Кончивший дни свои глухо, в опале  
как Велизарий или Помпей.

И вот строфа, предшественницами которой считаю я две последние строфы стихотворения Исаковского. Просто Исаковский не имел возможности выразить (а отчасти — и додумать, потому что скована была сама мысль поэтов, числивших себя советскими) то, что с такой свободой и с такой горечью выразил Иосиф Бродский; мы позволим себе выделить эти строки курсивом:

К правому делу Жуков десницы  
больше уже не приложит в бою.  
Спи! У истории русской страницы  
хватит для тех, кто в пехотном строю  
*смело входили в чужие столицы,  
но возвращались в страхе в свою.*



## ПОЭЗИЯ И ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА ТВАРДОВСКОГО

— 1 —

В поэме Твардовского «Страна Муравия» немало места уделено коню — во всех с детства досконально знакомых автору деталях:

Бредет в оглоблях серый конь  
Под расписной дугой,  
И крепко стянута супонь  
Хозяйскою рукой.

.....

Тот конь был — нет таких коней!  
Не конь, а человек.  
Бывало, свадьбу за пять дней  
Почует, роет снег.

Земля, семья, изба и печь,  
И каждый гвоздь в стене,  
Портянки с ног, рубаха с плеч —  
Держались на коне.

Как руку правую, коня,  
Как глаз во лбу, берег  
От вора, мора и огня  
Никита Моргунок.

К тому времени Твардовский уже знал про горестную судьбу своей семьи.

...Все, можно сказать, произошло из-за лошади...

Пожалел отец Трифон Гордеич Твардовский свою единственную сданную им при вступлении в артель в общественный фонд лошадь. Увидел, что в общественном пользовании нет за любимцем семьи Пахарем должного ухода. «— Как он заметил меня — завертелся, бьет, копает землю и как не скажет: “Спаси! Уведи!” А жара! В затишье там — ни ветерочка! Слепни, мухи — роем возле него! Тут сучья, коряги, и привязан он к яблоньке. Запутался, бьется! Вижу — беда! Сердце мое только тук-тук... Распутал, отвязал, прицепил к недоуздку ремень...

...— Обвинят же тебя! — с выражением непоправимой беды, плача, говорила мать... — Я не украл! Конь — мой!» — так описывал впоследствии происходящее в 1931 году в семье брат поэта Александра Твардовского Иван. Семья считала, что с этого импульсивного отцовского поступка, вызванного впитанным в кровь русского крестьянина отношением к коню, начались их беды... Назавтра Пахаря увели, конечно, обратно, глава же семьи уехал в Донбасс — пытаться что-то заработать. Потом семье назначили непосильный индивидуальный налог, который надо было выплатить в три дня — и охваченный страхом, чувством безысходности, подался из дома в Среднюю Азию старший брат Константин, забрав с собой брата Ивана, чтоб уменьшить количество ртов...

Семью это не спасло. Мать с малыми детьми выгнали из родного дома, посадили на телегу и повезли как можно дальше от родных мест. К ним скоро присоединились отец и старший брат.

С опозданием молодой Твардовский — еще начинающий, никому, кроме узкого круга друзей не известный, но очень верящий в себя поэт — в Смоленске узнал, что всю его семью «раскулачили» и выслали на северный Урал. Добился приема у тогдашнего секретаря Смоленского обкома партии.

Позже Твардовский напишет: «Он мне сказал (я очень хорошо помню эти слова), что в жизни бывают такие моменты, когда нужно выбирать “между папой и мамой с одной стороны и революцией — с другой”, что “лес рубят, щепки летят” и т. п. Я убедился в полной невозможности что-либо тут поправить и стал относиться к этому делу, как к непоправимому несчастью своей жизни, которое остается только терпеть, если хочешь жить, служить своему призванию, идти вперед, а не назад».

Сохранилось его письмо другу-ровеснику от 31 января 1931 года, полное отчаяния: «Я добит до ручки. Был у секретаря обкома, он расследовал дело насчет обложения хозяйства моих родителей и — признано, что обложению подлежат... Я должен откинуть свои отдельные недоумения и признать, что это так.

Мне предложили признать это и отказаться от родителей, и тогда мне не будет препон в жизни.

АПП же [Ассоциация пролетарских писателей], несмотря ни на какие признания (а я признал и отказался), хочет, страшно хочет меня исключать.

Скажи ты мне ради Бога, неужели это мой конец. Скажи. Поддержи. Почему я один должен верить, что я, несмотря ни на какие штуки, буду, должен быть пролетарским поэтом?»

## ———— 2 ————

Как возникла в его жизни эта глубокая трещина?

...В 1917 году будущему поэту — семь лет. Досоветское деревенское детство уже вошло в плоть и кровь, легло на дно будущего творческого воображения невынимаемым



пластом векового крестьянского уклада. А в стране начинается другая — какая-то новая — жизнь. Она совпадает с его отрочеством, временем жажды нового, а у мальчика Саши Твардовского — пронизанным смутным ощущением собственного таланта.

Тяжелая инерция крестьянского быта, тесной общей жизни многодетной семьи становится поперек бродившей в жилах творческой силе. Эта сила еще не проявила себя в реальных результатах, но сам он ее ощущает, и она властно требует свободы — этого неперемennого условия творчества.

Он рвется в город — и уходит из семьи в Смоленск. Его цель — писать и учиться.

Годы его отрочества упали на первую половину 20-х — когда социалистическая утопия была еще живой и увлекала юные сердца. Твардовский поверил, что деревенскую темноту, тяжкий, изнурительный крестьянский быт смогут преобразовать — осветить нездешним светом. Ему легко было поверить, что собственнический инстинкт, без которого нет крестьянского двора, не лучшее, что есть на свете, — и пойти за иными ценностями.

Манила городская культура, кружила голову новая, получившая полноту власти идеология, обещавшая в скором времени установить всеобщее равенство и справедливость. А кто же в отрочестве и юности не поверит во все хорошее? Ведь недаром в русских сказках герой ищет страну, где текут молочные реки в кисельных берегах...

Молодой Твардовский увлечен размахом преобразований, и если даже видит их жестокость, то не представляет ее масштаба.

Дело в том, что с первых советских лет власть позаботилась об отсутствии добросовестной и гласной статистики, а также информации. И многим людям все плохое казалось единичным, случайным, зависящим от воли отдельных недобросовестных начальников.

По крестьянской наивности верил, видимо, и молодой Твардовский в «перегибы» на местах. Верил, что Сталин этого не хочет и не имеет, возможно, об этом информации...

— 3 —

Напечатанная в 1936 году поэма «Страна Муравия» принесла ему подлинную славу. Поэма была о крестьянине, пытавшемся жить прежним отдельным крестьянским двором, но к концу поэмы уразумевшем, что иного пути, как в колхоз, — нет.

Прославившийся автор первым делом совершил то, о чем и подумать не мог раньше — поехал к родителям и перевез всю семью в Смоленск...

Итак, поэма вроде бы прославляла коллективизацию? Ведь сам молодой поэт верил тогда в правильность этого пути? Да, верил. Но не так все просто в творчестве большого поэта. И стих может оказаться мудрее мысли, политических убеждений.

Литератор М. Шаповалов вспоминает: в послевоенные годы его отец — фронтовик любил читать гостям или просто домашним «в хорошую минуту» поэмы Твардовского — в первую очередь лучшее, что написано стихами о Великой Отечественной войне — поэму «Василий Теркин» с подзаголовком «Книга про бойца». «...Но была еще другая поэма Твардовского, она при гостях не читалась во избежание разговоров, могущих быть истолкованными как антисоветские. Я имею в виду “Страну Муравию”».

Дальше в воспоминаниях этих цитируются узловые строки поэмы, являющиеся ее стиховым центром:

...И в стороне далекой той —  
Знал точно Моргунок —  
Стоит на горочке крутой,  
Как кустик, хуторок.

Земля в длину и ширину  
Кругом своя.  
Посеешь бубочку одну,  
И та — твоя.

И никого не спрашивай,  
Себя лишь уважай.  
Косить пошел — покашивай,  
Поехал — поезжай.

И все твое перед тобой,  
Ходи себе, поплеывай.  
Колодец твой, и ельник твой,  
И шишки все еловые.

Весь год — и летом, и зимой,  
Ныряют утки в озере.  
И никакой, ни боже мой, —  
Коммунии, колхозии!..

Фронтовик правильно чувствовал опасность — «анти-советскость» любимой им поэмы. Силою поэтического слова, правдивого по сути, Твардовский победил собственную тенденциозность — «идейный смысл» поэмы: он не перевешивает эту «бубочку».

...Характерен не вошедший в печатный текст черновик из рукописей поэмы — картина разрушенной крестьянской жизни:

Дома гниют, дворы гниют,  
По трубам галки гнезда вьют,  
Зарос хозяйский след.  
Кто сам сбежал, кого свезли,  
Как говорят, на край земли,  
Где и земли-то нет.

И еще две строфы не пропускала цензура начиная с первой, журнальной публикации 1936 года — их автору удалось включить только в пятитомное собрание сочинений 1966—1971 годов (последнее прижизненное издание) — реальная картина «раскулачивания».

— Их не били, не вязали,  
Не пытали пытками,  
Их везли, везли возами  
С детьми и пожитками.

А кто сам не шел из хаты,  
Кто кидался в обмороки,  
Милицейские ребята  
Выводили под руки.

— 4 —

Тут подошел и 1937 год — когда людей стали хватать и отправлять под расстрел или на Колыму уже безо всякого разбору — по разнарядке, спускавшейся в каждый район: «не добрать» арестованных до нужной цифры значило лишиться партбилета, а там и головы. В Смоленске арестовали друга и наставника Твардовского — критика А. Македонова. И близко знавший Твардовского писатель А. Бек записывает в дневник, что позиция поэта «такова: он не может отказаться от Македонова, не может признать его врагом народа. <...> Он должен быть убежден в разумности, в правильности всего, что совершается, *только тогда может писать*. Он сказал:

— У меня двадцать стихов начатых или замысленных. И я не могу ни за одно приняться.

И вместе с тем признать разумность ареста Македонова он не может.

— Нельзя так обманываться в людях, — говорит он. — Если Македонов японский шпион, тогда и жить не стоит. Не стоит, понимаешь!» (курсив наш. — М. Ч.).

Только так и мог он жить и писать.

А когда наконец разуверился в разумности происходящего, написал сатирическую поэму «Теркин на том свете» и отдавал все силы, будучи редактором журнала «Новый мир», тому, чтобы печатать произведения, в которых видел правду о своем жестоком времени.

И когда легла на его редакторский стол повесть неведомого автора с подписью А. Рязанский — о существовании в одном из рассеянных по всей стране советских лагерей без вины оторванного от своей семьи, от двора, от земли крестьянина Ивана Денисовича, — сделал все, чтобы появилась в журнале осенью 1962 года повесть «Один день Ивана Денисовича» и ее враз прославившийся автор А. Солженицын.

Советская власть ему этого не простила. Постепенно отняли журнал. Твардовский почти сразу же тяжело заболел. И год спустя умер.

Любивший его поэт-фронтовик Константин Ваншенкин написал тогда такие простые и горестные строки:

...Какой ужасный год,  
Безжалостное лето,  
Коль близится уход  
Великого поэта.

...Как странно все теперь,  
В снегу поля пустые...  
Поверь, таких потерь  
Немного у России.

Во многих школах все уроки — те драгоценные часы, которые оставлены для литературы, — изучают «образы». Образ Онегина, образ Фамусова, образ Чацкого... По большей части в школе идут уроки начального литературоведения. Они, несомненно, нужны, если это — школа с гуманитарным уклоном. Но в том-то и дело, что они вменены сегодня любой школе. А так как часов мало — то это происходит за счет знания самих текстов. На уроках литературы, конечно, в первую очередь надо *читать*. Читать вслух вот те самые замечательные книги, которые в школе *проходят*. Чтобы глагол этот не проявился в более известном значении — *прошли мимо* и оставили за собой, позади.

Некоторые особо бойкие ученики пишут сочинения, так и не прочитав ни «Евгения Онегина», ни «Горя от ума», ни «Капитанской дочки». А не прочитали в школе — значит, в подавляющем большинстве своем не прочитают никогда. А это обидно. Не за Пушкина — его не забудет, а за тех, кто никогда его не прочитает, не узнает, например, конца «Метели»:

«Боже мой, Боже мой! — сказала Марья Гавриловна, схватив его руку, — так это были вы! И вы не узнаете меня?»

Бурмин побледнел... и бросился к ее ногам...».

Да — сегодня программные произведения в каждом классе читают *единицы*. Остальные заканчивают среднее образование, не прочитав ни «Мертвых душ», ни «Войны и мира», ни романов Достоевского. Каждый год 22 июня, вслед за выпускным балом, сильно пополняется тот слой общества, который лишен — частично или полностью — второй после родного языка общенациональной скрепы.

В этом — огромное отличие сегодняшнего российского общества не только от конца XIX — начала XX века, в котором люди, кончавшие гимназию или реальное училище, Пушкина и Гоголя точно читали, но даже от более или менее интеллигентной среды 60—90-х годов XX века. Тогда возрастные слои не были еще так, как сегодня, разъединены в этом именно отношении.

Если кто-то упоминал за общим, скажем, столом: «Помните, как генерал Петруше Гриневу говорит про *ешовы рукавицы?*» или «Это как Николай Ростов старосту Дрона у княжны Марьи за две минуты выучил» — то люди со средним образованием понимали, о чем речь.

Вообще чего именно мы, культурное сообщество, и власть, которая должна служить обществу, хотим, включая литературу в число школьных предметов? Того, наверно, чтоб этот учебный предмет прежде всего знакомил юных сограждан с основным корпусом произведений отечественной словесности. Тем самым, который имеет статус общепризнанного культурного наследия. То есть мы, граждане России, принимаем за аксиому то мнение, что человек, вовсе не знакомый с этими книгами или знакомый лишь понаслышке («Пушкин», «Крылов», «Лев Толстой»), оказывается лишенным чего-то, невозполнимого другими средствами.

В какой-то степени сюда относится, конечно, нравственный потенциал, заложенный в этих отобранных культурой произведениях. Взрослых, вопреки распространенному в интеллигентной среде мнению, литература, на наш взгляд, не «воспитывает». Человек, прочитавший все романы Достоевского, может совершить преступление — потребовать, скажем, за что-либо огромную взятку, — точно так же, как и тот, кто ни одной строки Достоевского не читал. Зато в возрасте лет до шестнадцати литература очень даже воспитывает!

Если внимательно читать, а не наспех пролистывать, пытаясь запомнить, о чем речь, — устанавливаются некие моральные аксиомы, формируется не только опреде-

ленный душевный склад, но и эстетические представления. Школьные условия теоретически для этого весьма удобны. А в дальнейшей жизни человек с такими представлениями гораздо более полезен и приятен в общении, чем тот, у кого они на нуле. О себе, в общем-то, хлопочем.

Но современные уроки литературы мало работают на все это — потому именно, что *проходят мимо* великих произведений.

— 2 —

Несколько лет назад газета «Вечерняя Москва» обратилась с вопросом к нескольким уважаемым читателям: «Как по-вашему, нужно ли заставлять детей учить стихи наизусть?» И поразили совсем не те люди, которые отвечали — нет, не надо, зачем мучить детей. Это было грустно, но не удивительно. Удивили другие — те, кто отвечали: да, нужно. Потому что все до одного мотивировали это так: *это развивает память*.

Вот это объяснение целый год не выходило из головы. Строки «Евгения Онегина» и «Горя от ума» затем лишь стоит выучивать наизусть, что это развивает память!

Пушкин писал А. А. Бестужеву-Марлинскому (за год до восстания декабристов, переломившего жизнь адресата), впервые знакомясь с «Горем от ума»: «О стихах я не говорю, половина — должна войти в поговорку».

Так и произошло. Точнее, как сказал как-то один талантливый пушкинист: «Пушкин единственный раз ошибся: вошло — больше».

Попробуем проверить. Полистаем «Горе от ума».

Говорок Лизы —

Минуй нас пуще всех печалей  
И барский гнев, и барская любовь.



Вступает Фамусов:

Ей сна нет от французских книг,  
А мне от русских больно спится.

С угрожающей интонацией:

...Нельзя ли для прогулок  
Подальше выбрать закоулков?

И вот лепечет, боясь отцов-  
ского разоблаченья, Софья, вы-  
гораживая Молчалина, выхо-  
дящего утром из ее комнаты:



...Шел в комнату, попал в другую.

Фамусов лапидарен и афористичен:

Тут все есть, коли нет обмана...

Начинается его разговор с Молчалиным о бумагах,  
близкий душе любого российского бюрократа:

МОЛЧАЛИН:

...Противуречья есть, и многое не дельно.

ФАМУСОВ:

Обычай мой такой:

Подписано, так с плеч долой.

И опять Лиза, со своей протестной народной мудро-  
стью:

Грех не беда, молва не хороша.

И Софья, со своей женской узковатой логикой:

...Охота странствовать напала на него,  
Ах! Если любит кто кого,  
Зачем ума искать и ездить так далеко?

И вот появляется Чацкий — со своим набором на два века запомнившихся русским читателям присловий:

Чуть свет уж на ногах! И я у ваших ног.  
.....  
Блажен, кто верует, тепло ему на свете!  
.....  
В семнадцать лет вы расцвели прелестно,  
Неподражаемо, и это вам известно...

И мгновенный обмен репликами между Чацким и Софьей высекает опять-таки искры присловий — на века:

...Гоненье на Москву. Что значит видеть свет!  
Где ж лучше?  
ЧАЦКИЙ:  
— Где нас нет.

И знаменитая цитата из Державина, примененная к месту Чацким (и потому в точных, академических текстах «Горе от ума» дающаяся курсивом) и навсегда закрепившаяся у большинства читателей за Грибоедовым:

Когда ж постранствуешь, воротись домой—  
*И дым Отечества нам сладок и приятен!*

...Помню, как в школе (когда про Державина я еще не знала) мне все хотелось понять эту строку до тонкостей: что же имеется в виду — нам именно *дым* Отечества сладок и приятен? То есть — союз «и» просто связывает два предложения обычной сочинительной связью: воротись домой, и приятен тебе дым отечества? Или «и» означает — *даже* дым?..



И только на филфаке МГУ узнала, что у Державина-то всё, как любят сегодня говорить к месту и не к месту, однозначно:

Мила нам добра весть о нашей стороне:  
Отечества и дым нам сладок и приятен.

А у Державина это, в свою очередь, восходит к «Одиссее» и затем к латинской пословице: «Et fumus patriae dulcis» — «И дым отечества сладок».

И снова умник Чацкий сыплет поговорками не хуже Фамусова — хранителя старины:

...Числом поболее, ценою подешевле...

.....  
Господствует еще смешенье языков:  
Французского с нижегородским?

.....

Ум с сердцем не в ладу...

.....  
Дома новы, но предрассудки стары

.....  
А судьи кто? — За древностию лет  
К свободной жизни их вражда непримирима.  
Сужденья черпают из забытых газет  
Времен Очаковских и покоренья Крыма...

.....  
Где, укажите нам, отечества отцы,  
Которых мы должны принять за образцы?

.....  
Прошедшего житья подлейшие черты...

.....  
Кричали женщины: ура!  
И в воздух чепчики бросали!

#### О Молчалине:

А впрочем, он дойдет до степеней известных,  
Ведь нынче любят бессловесных.

.....  
Но чтоб иметь детей,  
Кому ума недоставало? (*Курсив Грибоедова.*)

#### О Скалозубе:

Хрипун, удушенник, фагот,  
Созвездие маневров и мазурки!

#### О себе:

Я странен, а не странен кто ж?

.....  
Служить бы рад, прислуживаться тошно.

Ах! Тот скажи любви конец,  
Кто на три года вдаль уедет.  
.....  
Свежо предание, а верится с трудом...  
.....  
Кто служит делу, а не лицам...  
.....  
Чины людьми даются;  
А люди могут обмануться.  
.....  
Когда в делах, я от веселий прячусь,  
Когда дурачиться — дурачусь;  
А смешивать два этих ремесла —  
Есть тьма искусников, я не из их числа.

Фамусов:

Что за комиссия, Создатель,  
Быть взрослой дочери отцом!  
.....  
Читай не так, как пономарь,  
А с чувством, с толком, с расстановкой.  
.....

А может в пятницу, а может  
и в субботу  
Я должен у вдове, у докторше  
крестить.  
Она не родила, но по расчету  
По моему: должна родить...  
.....  
(Упал вдругорядь — уж нарочно  
А хохот пуше, он и в третий так же  
точно.  
А? как по вашему? По нашему  
смышлен.)  
Вы, нынешние, — нутка!



.....  
Что говорит! И говорит, как пишет!

.....  
Ну как не порадеть родному человечку!..

Скалозуб:  
про женщину —

Мы с нею вместе не служили.

О Москве —

По моему суждению  
Пожар способствовал ей много к украшенью.

Об упавшем с лошади:

Поводья затянул, ну, жалкий же ездок...

Фамусов — Скалозубу:

...Признайтесь, что едва  
Где сыщется столица, как Москва.  
— Дистанции огромного размера.  
— Вкус, батюшка, отменная манера...  
...Дверь отперта для званных и незванных,  
Особенно из иностранных  
...Возьмите вы от головы до пяток,  
На всех московских есть особый отпечаток.  
Извольте посмотреть на нашу молодежь,  
На юношей сынков и внучат,  
Журим мы их, а если разберешь,  
В пятнадцать лет учителей научат!

.....  
И точно, можно ли воспитаннее быть!  
Умеют же себя принарядить  
Тафтицей, бархатцем и дымкой,

Словечка в простоте не скажут — все с ужимкой;  
Французские романсы вам поют  
И верхние выводят нотки,  
К военным людям так и льнут,  
А потому, что патриотки.

Софья:

...Лицом и голосом герой...  
— Не моего романа.

Молчалин:

Умеренность и аккуратность.  
.....  
— К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам.  
.....  
Мы покровительство находим, где не метим.

Чацкий:

Я езжу к женщинам, да только не за этим.  
.....



— ...Слог его здесь ставят в образец,  
Читали вы?

ЧАЦКИЙ:

— Я глупостей не чтец, а пуще образцовых.  
.....

МОЛЧАЛИН:

— В мои лета не должно сметь  
Свое суждение иметь.

ЧАЦКИЙ:

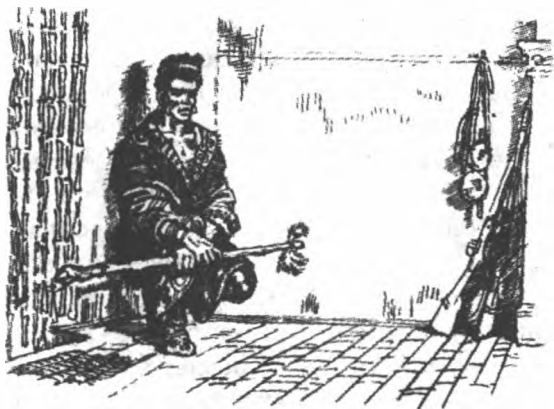
Помилуйте, мы с вами не ребята;  
Зачем же мнения чужие только святы?  
— Ведь надобно ж зависеть от других.  
— Зачем же надобно?  
— В чинах мы небольших.

### 3

Перечитав эти строки, скажите сами — разве не ясно из этого, почему Грибоедова надо учить наизусть?

Знание всеми людьми России строк великих поэтов, возможность перебрасываться ими в разговоре без объяснений — это (после родного общего для всех языка) едва ли не важнейшая скрепа нации. Остальные — сомнительны.





## ГЕНРИ ХАГГАРД, И НЕ ТОЛЬКО ОН

— 1 —

Этот писатель жил в Англии во второй половине XIX века, дожил до 1925 года, а известен стал еще в 1880-е годы — своими захватывающими приключенческими романами.

«Для современников, — писал знаток американской и английской литературы Алексей Зверев, — книги Хаггарда были такой же неотъемлемой приметой английского быта, как согревавшие постель бутылки с горячей водой или гвардейцы в медвежьих шапках у резиденции престарелой королевы Виктории».

Особенным успехом пользовалась небольшая книжечка «Копи царя Соломона». Копи — раньше так называли рудники, вообще то пространство, где идет разработка каких-либо месторождений. А тут дело происходит в Южной Африке и речь идет об алмазах... Когда-то по ним в тех краях так же сходили с ума, как на американском материке, в Клондайке и в Калифорнии, — по золоту.

Хаггард описываемые им места хорошо знал. Он был восьмым ребенком в семье, где детей было десятеро. Отец с трудом дал сыновьям образование. И в восемнадцать лет Генри отправился в Южную Америку — секретарем новоназначенного английского губернатора. Там было легче, чем в метрополии (то есть — в самой Англии), сделать карьеру.

Конечно, эпоха империй повсюду шла на убыль. Но все-таки именно при юном Хаггарде покорились английской короне зулусские племена. Он, как и миллионы британцев, гордился, когда еще на одной африканской территории ползло по флагштоку британское знамя. Но это совсем не означает, что он относился к подчинившимся короне народностям с высокомерным презрением. Все тут гораздо сложнее. И, конечно, британцы шли на этот материк не только с огнем и мечом, но и с просвещением. Но эту обширную тему мы здесь подымать не будем, хотя отношения британцев и местных жителей — немаловажная часть содержания небольшой книжки (к тому же недавно выпущенной в мягкой обложке, в удобном формате — влезает даже в карман куртки).

...Когда начнете ее читать — особое внимание обратите на зулуса Омбопа.

Вокруг него — подскажу вам, так и быть, — и развернутся в последней части книги главные события...

Вообще же эта книжка — на самые разные вкусы.

Если кто любит про добрые чувства вообще, в особенности же — про нежные чувства, тем более вспыхнувшие неожиданно, — пожалуйста:

«Женщины — всегда женщины, какого бы цвета ни была у них кожа, и куда ни пойдешь — всюду они одни и те же. А все же меня немного удивляло, что эта чернокожая красавица день и ночь склоняется над постелью больного и исполняет свое дело милосердия с таким же тонким пониманием своих обязанностей, как самая лучшая европейская больничная сиделка. ... Как сейчас вижу всю эту сцену, повторяющуюся днем за днем, ночь за ночью при свете нашей первобытной лампы; вижу исхуда-



лое лицо и широко раскрытые, неестественно блестящие глаза Гуда, который мечется на постели и бормочет всякую чепуху, и около него на полу — стройную кукуанскую красавицу с нежными глазами, которая сидит, прислонившись к стене хижины, и ее утомленное лицо так и дышит безграничной жалостью».

Кто ценит описание настоящего рукопашного боя — он тут есть, и на многих страницах.

А кто любит, чтоб дрожь от ужаса пробирала, — читайте, как герои книги оказались в некоей пещере:

«Эта комната или пещера была далеко не так хорошо освещена, как сталактитовый грот, и с первого раза я только мог рассмотреть массивный каменный стол, занимавший ее во всю длину, колоссальную белую фигуру, сидевшую на противоположном конце, да еще другие, тоже белые, фигуры в натуральную величину, сидящие кругом... Через минуту мои глаза свыклись с окружающим полумраком; я рассмотрел, что это значило, и бросился назад со всех ног. Вообще говоря, я человек не нервный и мало подвержен суевериям... но должен признаться, что то, что я тут увидел, перевернуло меня совсем. Если бы не сэр Генри, поймавший меня за шиворот и помешавший мне убежать, через пять минут меня бы

уже не было в сталактитовом гроте, и я не согласился бы туда вернуться ни за какие алмазы. ...Однако когда его собственные глаза привыкли к темноте, то и он отер со лба холодный пот и выпустил меня сразу».

— 2 —

Но и до этого им пришлось натерпеться страху — среди зулусов, которыми правили исключительно жестокие властители, убивавшие своих подданных за крохотные провинности и регулярно совершавшие человеческие жертвоприношения.

Пришельцам пришлось внушить туземцам, что они явились непосредственно со звезд. Но положение все равно было очень серьезное. И на их счастье — а также, как увидите, на счастье многих местных жителей, — один из путешественников заглянул в свой календарь. И прочитал там следующее: «...Четвертого июня — полное солнечное затмение. Начало в одиннадцать часов пятнадцать минут по гринвичскому времени, видимое на здешних островах, в Африке и т. д.».

...Ну, все, конечно, уже догадались, что путешественники использовали это свое знание, как говорится, по полной программе. И только жестокий правитель отдал приказ убить самую красивую девушку — по установленному там обычаю («Девушка в отчаянии заломила руки и громко закричала: — Жестокие, я так молода! Что я такое сделала?..»), как один из путешественников воскликнул:

«— Остановитесь! Мы, белые жители светлых звезд, повторяем, что мы не допустим этого убийства. Смейте только сделать хоть один шаг вперед, и мы потушим солнце и потопим всю землю во мраке. Отведаете нашего волшебства!

Моя угроза подействовала: люди остановились...»

Ну а дальше все идет, как по нотам (астрономия — наука очень точная!), и читать очень интересно.



А теперь вопрос к самым начитанным из вас — не напомнила ли вам эта история с затмением нечто, читанное в совсем другой книжке?

— 3 —

Я рассказывала в свое время читателям «до шестнадцати» об американском писателе Вашингтоне Ирвинге (получившем, между прочим, от родителей свое имя в честь первого американского президента — Джорджа Вашингтона) и о его герое Рип ван Винкле, вошедшем в галерею знаменитых литературных героев. Он хлебнул однажды из предложенного ему незнакомцами кубка с вином — и «погрузился в глубокий сон». Проснулся же на том самом зеленом бугре, что и заснул, — но только через много-много лет...

А другой американский писатель — давно известный вам и, надеюсь, читанный Марк Твен — описал нечто противоположное.

Рассказчик одной из его повестей бродит вместе с недавним знакомым по старинному британскому замку и слушает скучный голос экскурсовода:

«— Древняя кольчуга шестого века, времен короля Артура и Круглого стола...» (а по преданию именно этот король задумал для пиршеств соорудить круглый стол — чтобы все рыцари чувствовали себя за ним равными друг другу!) «...по преданию, принадлежала рыцарю сэру Саграмору Желанному; обратите внимание на круглое отверстие между петлями кольчуги с левой стороны груди; происхождение этого отверстия неизвестно, предполагают, что это след пули. Очевидно, кольчуга была пробита после изобретения огнестрельного оружия» — экскурсовод высказывает предположение, что в нее какой-нибудь солдат выстрелил уже в позднейшее время — «из озорства». Спутник «улыбнулся... и пробормотал про себя:

— Что скрывать! Я-то знаю, как была пробита эта кольчуга. — Затем, помолчав, прибавил: — Я сам ее пробил.

Я вздрогнул от изумления, как от электрического тока. Когда я пришел в себя, его уже не было».

Вечером они вновь встречаются. И знакомец-незнакомец рассказывает следующее.

Он жил себе в Америке и в 1879 году работал в должности старшего мастера на оружейном заводе. А в те годы жители США — потомки энергичных, инициативных первопроходцев, покинувших старую добрую Европу, чтобы заселять этот не очень-то пригодный для жизни молодой материк, с его нередкими торнадо и землетрясениями, еще совсем не были такими законопослушными, какими стали в XX веке. Это были настоящие ковбои, в любой момент готовые к потасовке с любым исходом. Потому герой Марка Твена поясняет: «На такой должности надо быть человеком боевым — это само собой понятно. Если под вашим надзором две тысячи головорезов, развлечений у вас будет немало. У меня во всяком случае их было достаточно. И в конце концов я нарвался и получил то,



что мне причиталось. Вышло у меня недоразумение с одним молодцом, которого мы прозвали Геркулесом. Он так хватил меня по голове, что череп затрещал, а все швы на нем разошлись и перепутались. Весь мир заволокла тьма, и я долго ничего не сознавал и не чувствовал.

Когда я очнулся, я сидел под дубом на траве, в прелестной местности, совершенно один. Впрочем, не совсем так: рядом находился еще какой-то молодец, он сидел верхом на лошади и смотрел на меня сверху вниз, — таких я видывал только в книжках с картинками. Весь он с головы до пят был покрыт старинной железной броней; голова его находилась внутри шлема, похожего на железный бочонок с прорезьями; он держал щит, меч и длинное копьё; лошадь его тоже была в броне, на лбу у нее торчал стальной рог, и пышная, красная с зеленым, шелковая попона свисала, как одеяло, почти до земли.

— Прекрасный сэр, вы готовы? — спросил этот дети-на.

— Готов? К чему готов?

— Готовы сразиться со мной из-за поместий, или из-за дамы, или...

— Что вы ко мне пристаёте? — сказал я. — Убирайтесь к себе в цирк, а не то я отправлю вас в полицию».

Но тут быстро выясняется, что дело не шуточное, всадник несется прямо на него с копьём, в конце концов берет его в плен и куда-то ведет. По дороге попадается

им прелестная девчушка лет десяти, которая «нисколько не удивилась его фантастическому наряду, словно ежедневно встречала людей в латах. Она прошла мимо него равнодушно, как прошла бы мимо коровы. Но что стало с ней, когда она увидела меня! Она подняла руки и окаменела от удивления, рот ее раскрылся, глаза испуганно расширились; вся она была воплощением любопытства, смешанного со страхом... И я никак не мог понять, почему ее поразил я, а не мой спутник. Тут было над чем призадуматься. Я шел как во сне».

— 4 —

Все больше и больше видит бедный герой несусветного и необъяснимого.

Наконец за ним присылают «главу пажей» — «тоненького мальчика в ярко-красных штанах. ...Верхняя его одежда была сшита из голубого шелка и кружев; на его длинных светлых кудрях сидела розовая атласная шапочка с пером, кокетливо сдвинутая на ухо».

Они идут, мальчик весело болтает — и выбалтывает, что родился в начале 513 года. И тогда его собеседник спрашивает слабым голосом:

«— Послушай, мой мальчик, я здесь чужой, друзей у меня нет; будь со мной честен и правдив. Ты в своем уме?»

Он ответил, что он в своем уме.

— И все эти люди тоже в своем уме?

Он ответил, что они тоже в своем уме.

— А разве здесь не сумасшедший дом? Я имею в виду заведение, где лечат сумасшедших.

Он ответил, что здесь не сумасшедший дом.

— Значит, — сказал я, — либо я сам сошел с ума, либо случилось что-то ужасное. Скажи мне честно и правдиво, где я нахожусь?

— При дворе короля Артура».



...Вот почему и повесть эта названа — «Янки при дворе короля Артура» («янки» — если кто забыл — это американец английского происхождения).

И когда герой узнает от пажа сегодняшнее число — 19 июня 528 года, он, «по какому-то наитию» (а мы думаем — просто хорошо учился!), вспоминает, что «единственное полное солнечное затмение в первой половине шестого века произошло 21 июня 528 года, и началось оно ровно в три минуты после полудня». Он решает, что это единственное средство проверить точно, в каком он времени. Но обстоятельства складываются так, что он использует это свое знание точь-в-точь как герои Хаггарда — для демонстрации своей волшебной силы...

## ———— 5 ————

«Копи царя Соломона» вышли в свет в 1885 году, а «Янки при дворе короля Артура» — в 1889. Так что у Марка Твена было время почитать Хаггарда.

А может, все-таки он его не читал? И это — случайное совпадение? Ведь у обоих писателей фантазия была ключом.

Но тут вот что интересно — когда Марк Твен будет описывать своего отважного янки, оказавшегося неожиданно-негаданно в шестом веке, за столом короля Артура и королевы Гиневры, и собравшиеся за этим столом рыцари будут наперебой хвалиться, как они взяли его в плен, то автор вложит в уста волшебника Мерлина предложение снять с пленника его «заколдованную одежду». То есть никогда не виданный ими костюм приличного американца конца XIX века.

«Через полминуты я был гол, как кочерга! О боже, в этом обществе я оказался единственным человеком, которого смутила моя нагота. Все разглядывали и обсуждали меня с такой бесцеремонностью, словно я был кочан капусты. Королева Гиневра смотрела на меня с тем

же простодушным любопытством, как и все остальные, и даже сказала, что никогда в жизни не видела таких ног, как у меня. Это был единственный комплимент, которого я удостоился, если подобное замечание можно назвать комплиментом».

Вот тут замечательный писатель себя выдал!..

Дело в том, что именно у Хаггарда одному из героев, европейцу, привыкшему быть одетым с иголки и уж во всяком случае не показываться на людях без брюк, местные жители не отдадут его брюки, поскольку не могут налюбоваться на его «прекрасные белые ноги»!

Так что если насчет затмения еще можно было сомневаться — почему не предположить, что Марк Твен и в глаза не видел роман Хаггарда, а додумался до этого эпизода сам? — то вот про прекрасные мужские ноги — вряд ли. Эта деталь, увы, выдает, на наш взгляд, чтение Марком Твеном романа Хаггарда.

Ну и что? Да ничего особенного. Это нисколько не значит, что Марк Твен сделал что-то плохое — списал у современника, как последний двоечник. Ничего необычного и тем более нехорошего нет в том, чтобы воспользоваться в литературном произведении известным сюжетным ходом. Даже — одним и тем же сюжетом. Сколько произведений написано о Доне Жуане, о Докторе Фаусте... Не раз пересказана на разных языках история деревянной куклы — Буратино... Ничего страшного — лишь бы у каждого из пишущих получилось и увлекательно, и поучительно.

Так что читайте, не теряя времени зря, и Генри Хаггарда, и Марка Твена! В любой последовательности. Чтобы было что перечитывать с удовольствием через много лет — и со знанием дела посоветовать своим детям...



## ПРО ЩЕЛКУНЧИКА И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ

— 1 —

«...Забили в литавры, затрубили в трубы. Все короли и принцы в великолепных праздничных одеяниях — одни на белых конях, другие в хрустальных каретах — потянулись на колбасный пир. Король встретил их с сердечной приветливостью и почетом, а затем, в короне и со скипетром, как и полагается государю, сел во главе стола. Уже когда подали ливерные колбасы, гости заметили, что все больше и больше бледнел король, как он возводил очи к небу. Тихие вздохи вылетали из его груди. Казалось, его душой овладела сильная скорбь. Но когда подали кровяную колбасу, он с громким рыданием и стонами откинулся на спинку кресла, обеими руками закрыв лицо. Все повскакали из-за стола. Лейб-медик тщетно пытался нащупать пульс у злосчастного короля, которого, казалось, снедала глубокая, непонятная тоска. Наконец после долгих угово-

ров, после применения сильных средств, вроде жженных гусиных перьев и того подобного, король как будто начал приходить в себя. Он пролепетал еле слышно:

— Слишком мало сала!

Тогда безутешная королева бухнулась ему в ноги и простонала:

— О, мой бедный, несчастный царственный супруг! О, какое горе пришлось вам вынести! Но взгляните: виновница у ваших ног — покарайте, строго покарайте меня! Ах, Мышильда со своими кумовьями, тетушками и семью сыновьями съела сало, и...

С этими словами королева без чувств упала навзничь». Вот какие чувствительные люди жили в старину!

## — 2 —

Сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» издавна была знаменита в России. Вообще считается, что в России Гофмана с 20-х годов XIX века — да и до сего дня — любили даже больше, чем у него на родине, в Германии. Родился он в немецком городе Кенигсберге, который уже полвека носит имя Калининград — то есть напоминает о советском деятеле Михаиле Ивановиче Калининe, мало чем себя проявившем (разве что тем, что Сталин отправил в концлагерь его ни в чем не повинную жену, а Калинин продолжал ему верно служить), а не о жившем там философе Иммануиле Канте или Гофмане.

На родине он был, однако ж, не только писателем, но и музыкантом, зарабатывал одно время уроками пения, был известным музыкальным критиком. Считается даже, что он сделал немало для правильной оценки Бетховена — и положил начало его углубленному изучению...

Фантастика Гофмана в России как-то пришлась ко двору. «Золотой горшок», «Крошка Цахес», «Повелитель блох», «Песочный человек» (который называют новеллой

ужасов)... А «Житейские воззрения Кота Мурра...»? Те самые, где в «Предисловии издателя» рассказано, что он, получив от приятеля некую рукопись, «был весьма и весьма удивлен, когда его друг признался ему, что рукопись сия вышла из-под пера некоего кота, отзывающегося на кличку Мурр, и что в манускрипте этом изложены житейские воззрения этого кота...» Этого мало — в заключение «издатель считает своим долгом заверить, что он лично познакомился с котом Мурром и нашел его чрезвычайно приятным молодым человеком, пресимпатичным и благовоспитанным».

Тут уж тот, кто успел к своим шестнадцати годам прочитать «Мастера и Маргариту», поневоле вспомнит кота Бегемота и хотя бы разговор его с Мастером, после того, как тот обратился к коту на вы: «— Приятно слышать, что вы так вежливо обращаетесь с котом. Котам обычно почему-то говорят «ты», хотя ни один кот никогда ни с кем ни пил брудершафта». Ясно, что сочинения Кота Мурра были внимательно прочитаны в России во всяком случае Гоголем и Михаилом Булгаковым — всеми любимый Бегемот состоит хоть и в далеком, но все же несомненном родстве с этим персонажем Гофмана. От кого же иного взял кот Бегемот свое забавное самодовольство, как не от своего далекого литературного предка? От того, кто в «Предисловии автора, для печати не предназначенном», пишет: «С уверенностью и спокойствием, неотъемлемо присущим истинному гению, передаю я свету мою биографию, дабы свет научился тому, как можно стать воистину великим котом, дабы свет признал, до чего я великолепен, и стал бы меня любить, ценить, почитать и даже благоговеть передо мной...»

Напомним еще, что вступление колонн русской армии в Дрезден и отступление французской гвардии Гофман внимательно наблюдал из чердачного окна. Некоторые считают, что именно эти наблюдения и дали потом поразительную точность батальных сцен в сказке «Щелкунчик и Мышиный Король».

...Эта сказка больше всего, пожалуй, и прижилась в России. Недаром на ее мотивы написал Чайковский свой знаменитый балет «Щелкунчик», который уже немало лет идет в Петербурге в постановке и изумительном оформлении знаменитого художника Шемякина.

Пересказать ее совершенно невозможно — надо читать самим всю подряд. Потому прежде всего, что там внутри одной сказки — другая. И они между собой причудливо переплетаются. Вот рассказанный нами вначале эпизод с недостатчей сала в королевской колбасе — это как раз из сказки о твердом орехе Кракатук и принцессе Пирлипат: вся судьба ее после ужасного колдовства королевы мышшей Мышильды и ее семиголового (да-да, именно так!) сына зависит от этого ореха. А потом получается так, что в конце концов это колдовство переходит на того самого героя, который нашел орех, сумел его разгрызть (а всех, кто пробовал это сделать до него, «в полуобморочном состоянии уносили приглашенные на этот случай зубные врачи») и дал ядрышко принцессе! Она съела — и к ней вернулась красота. А безобразным по новому мышьиному колдовству стал тот, кто ее расколдовал и должен бы по обещанию короля жениться на ней. А теперь принцесса Пирлипат в ужасе отвергла его — она закрыла лицо руками и закричала:

— Вон, вон отсюда, противный Щелкунчик!

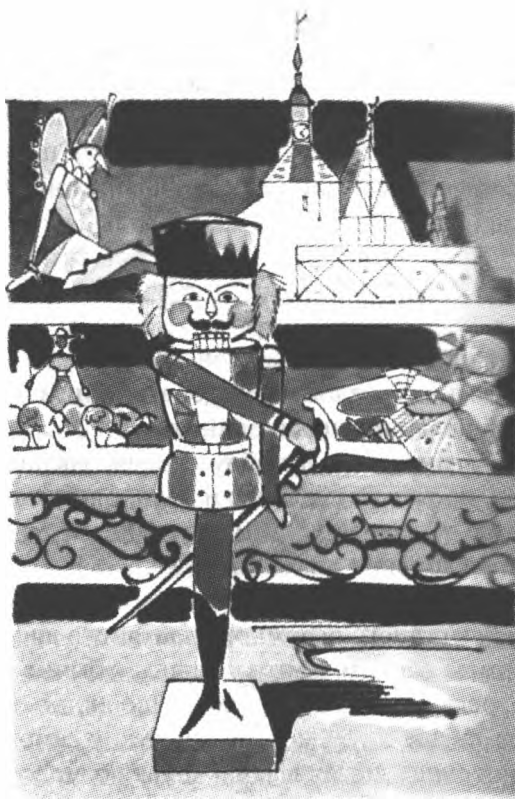
И его вытолкали вон.

Но участвовавший во всей этой истории звездочет вычитал в расположении звезд следующее: уродство Щелкунчика исчезнет, если, во-первых, он победит семиголового сына Мышильды, а во-вторых — «если, несмотря на уродливую наружность, юного Дроссельмейера полюбит прекрасная дама».

Сказку же рассказывает главной героине «Щелкунчика» Мари ее крестный Дроссельмейер. И Мари, слушая увлекательную и страшную историю, нисколько не сомневается (только никому не говорит), что искусный часовщик при дворе отца принцессы Пирлипат — это не кто

иной как сам ее крестный и есть — старший советник суда Дроссельмейер, ко всему прочему — умелый часовщик...

Каждую ночь у нее идет своя жизнь, о которой не знает никто, кроме ее брата Фрица. А все началось с того, что на Рождество крестный, который умел своими руками делать все, что угодно, подарил всей семье замечательного человека. «Правда, он был не очень складный: чересчур длинное и плотное туловище на коротеньких и тонких ножках, да и голова тоже как будто великовата. Зато по щегольской одежде сразу было видно, что это человек благовоспитанный и со вкусом. На нем был очень красивый блестящий фиолетовый гусарский доломан, весь в пуговичках и в по-



зументах, такие же рейтузы и столь щегольские сапожки, что едва доводилось носить подобные и офицерам...» И Мари вскоре становится ясно, что Щелкунчик-то — вовсе не бессловесная кукла, а племянник ее крестного Дроссельмейера, и что он к тому же — принц, заколдованный и превращенный в деревянного человечка злой Мышильдой... И каждую ночь идет битва — Щелкунчик защищает ее кукол от полчищ мышей. Все в доме считают, что никаких мышей в нем вообще нет. Только Мари знает, как обстоит дело на самом деле...

Щелкунчик очень подружился с Мари. И вот однажды ночью, когда она никак не могла сомкнуть глаз от тревоги и страха, «кто-то осторожно постучал в дверь и послышался тоненький голосок:

— Бесценная мадемуазель Штальбаум, откройте дверь и ничего не бойтесь! Добрые, радостные вести.

Мари узнала голос молодого Дроссельмейера, накинула юбочку и быстро отворила дверь. На пороге стоял Щелкунчик с окровавленной саблей в правой руке...»

### — 3 —

Он сообщил об очень важной победе над своими серыми врагами и предложил следовать за ним — тогда он покажет ей невиданные диковинки...

Мари ответила: «— Я пойду с вами, господин Дроссельмейер, но только недалеко и ненадолго, так как я совсем еще не выпалась». И Щелкунчик обещал выбрать кратчайшую дорогу к диковинкам.

«Он пошел вперед. Мари — за ним. Остановились они в передней, у старого огромного платяного шкафа. Мари с удивлением заметила, что дверцы, обычно запертые на замок, распахнуты; ей хорошо было видно отцовскую дорожную лисью шубу, которая висела у самой дверцы. Щелкунчик очень ловко вскарабкался по выступу шкафа и резбе и схватил большую кисть, болтавшуюся на тол-





стом шнуре сзади на шубе. Он из всей силы дернул кисть, и тотчас из рукава шубы спустилась изящная лесенка кедрового дерева.

— Не угодно ли вам подняться, драгоценнейшая мадемуазель Мари? — спросил Щелкунчик.

Мари так и сделала. И не успела она подняться через рукав, не успела выглянуть из-за воротника, как ей навстречу засиял ослепительный свет, и она очутилась на прекрасном благоуханном лугу, который весь искрился...

— Мы на Леденцовом лугу, — сказал Щелкунчик...»

И дальше в этом чудесном путешествии где она только ни оказывается — у Апельсинового ручья, у Лимонадной и у Медовой реки — и в селе Пряничном, расположенном на его берегу. Щелкунчик сказал: «Народ в нем живет красивый, но очень сердитый, так как все там страдают зубной болью. Лучше мы туда не пойдем».

Они плыли в раковине, в которую были впряжены два золото-чешуйчатых дельфина, по Розовому озеру, и разные чудеса и диковины не переставали встречаться ей по дороге.

Но наутро дома, когда она стала рассказывать о своих ночных приключениях, ей не поверил никто. И она больше никогда никому о них не рассказывала.

«...Новолшебные образы сказочной страны не оставляли ее. Она слышала нежный шелест, ласковые, чарующие звуки; она видела все снова, как только начинала об этом думать, и вместо того чтобы играть, как бывало раньше, могла часами сидеть смиренно и тихо, уйдя в себя, — вот почему все теперь звали ее маленькой мечтательницей.

Раз как-то случилось, что крестный чинил часы у Штальбаумов. Мари сидела у стеклянного шкафа и, грезя наяву, глядела на Щелкунчика. И вдруг у нее вырвалось:

— Ах, милый господин Дроссельмейер! Если бы вы на самом деле жили, я не отвергла бы вас, как принцесса Пирлипат, за то, что из-за меня вы потеряли свою красоту!

Советник суда в ту же минуту крикнул:

— Ну, ну, глупые выдумки!

Но в то же мгновение раздался такой грохот и треск, что Мари без чувств свалилась со стула».

Когда же она очнулась, тут-то и произошло самое главное и самое интересное, о чем вы, надеюсь, прочитаете сами — когда будете читать всю сказку. Потому что в этом кратком о ней рассказе мы не упомянули множество интереснейших подробностей и эпизодов.



Особый интерес сказок Гофмана, не похожих ни на какие другие, — в причудливом сочетании правды и вымысла. Порой так до конца и не понять — что же происходило в реальности, а что — примерещилось или приснилось. Отсюда и выражение: «— Ну, это просто гофманиада!» Так обозначали нечто уж вовсе выходящее из ряда вон, событие реальное, но, однако, фантастическое по своей необычности.

Грустно наблюдать, что вполне зрелые, но все-таки еще молодые — по меркам XX и XXI веков — люди...

Впрочем, прервемся, чтобы пояснить представление о возрасте в разные эпохи.

В первой трети XIX века Пушкин напишет: «И так они старели оба...» — про супругов Лариных. А Евгений Онегин обмолвится: «...Ларина проста, / Но очень милая старушка...». Но вдумайтесь: в тот момент у «старушки» еще обе дочери не замужем! Это значит по меркам той эпохи — им уж никак не более двадцати. И родить старшую в те времена Ларина вряд ли могла позже, чем в двадцать лет...

То есть этой «милой старушке», долго старевшей вместе со своим супругом («Смиранный грешник, Дмитрий Ларин, / Господний раб и бригадир, / Под камнем сим вкушает мир»), — ну немногим более сорока лет...

Так вот, про наши дни. ...Еще молодые по нашим меркам люди — примерно от сорока до пятидесяти лет — всерьез полагают, что проблема смысла жизни осталась на школьных уроках литературы. К их текущей повседневной жизни эти высокопарные слова не имеют ни малейшего отношения.

Ну, там — Пьер Безухов, Андрей Волконский и прочие персонажи школьных сочинений. Ну — уже в послесоветской школе — Раскольников, герои «Идиота», «Бесов»... Полвека назад, во всяком случае, в школе в обязательном порядке учили наизусть знаменитый внутренний монолог Печорина, и многие тогдашние школьники и сейчас вспомнят, не заглядывая в томик Лермонтова: «Пробегаю в памяти всё мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? Для какой цели я родился?.. А верно она существовала, и верно было мне назначенье высокое, по-

тому что я чувствую в душе моей силы необъятные; но я не угадал этого назначения...» — и так далее.

А книга, о которой я хочу рассказать в первую очередь моим главным адресатам — подросткам, вся говорит так или иначе о смысле жизни. Называется — «Сама жизнь» (СПб., 2008). Ее автор, недавно скончавшаяся к глубокому горю многих и многих Наталья Трауберг, рассказывает нам, в сущности, о правильном и неправильном с ней обхождении.

Ведь есть, согласитесь, что-то странное, гротескное в том, что внимательно изучаем инструкции — как правильно обращаться с электроприбором, с электроникой. И не вчитываемся в авторитетные руководства (а их немало) по обращению со своей жизнью. Но ведь прибор, если мы не будем следовать инструкции и испортим его, все-таки можно купить новый. А испорченную жизнь не обменяешь на новую.

Главное — книга эта о том, что в жизни должен быть смысл. А если кто видит, что его жизнь лишилась смысла, ее единственной живой краской стала азартность в заработке денег — на хорошую еду, хорошую одежду, хорошую мебель, хороший отдых, — значит, ему надо обязательно задуматься над этим смыслом. Не оставлять мысли о главном только Пьеру Безухову.

И человек, к счастью, устроен так, что стоит только начать над этим думать — и довольно быстро станет ясно, что смысл единожды данной нам временной жизни все-таки не в том, чтобы все время хотеть того, что предлагает сегодня со всех стен и телеэкранов реклама, уверяющая тебя — «Ведь ты этого достойна!..»

## ———— 2 ————

Автор книги — замечательная переводчица. Она в течение долгих советских десятилетий бескорыстно (сама переводила, отдавала перепечатывать на машинке, раз-

давала нам, жаждущим) знакомила многих своих сограждан с тем написанным по-английски, что советские издательства издавать упорно не хотели. В первую очередь это были статьи и эссе умнейшего английского писателя и мыслителя Гилберта Честертона (1874—1936). Не исключаю, что поразительный, заслуживающий изучения и подражания свод обиходных моральных правил Натальи Трауберг, как и широкий круг ее размышлений, сложился под воздействием любимого автора.

Она вспоминает, что когда ее внук был маленький, то часто кричал: «Кату!» — поскольку «еще не мог выговорить “хочу”». Сейчас он его не кричит, и на том — большое спасибо. Он вообще человек хороший, что всегда — чудо; трудно ведь избавиться от детского потребительства».

Тонкое замечание! Ведь многим (чаще — единственным детям, никогда не отвечавшим за младших) не удастся избавиться от него в буквальном смысле всю жизнь. Они становятся эгоцентриками (не обязательно при этом — эгоистами), детски уверенными, что вселенная вращается вокруг них.

Наталья Трауберг пишет: «Когда-то считали, что этому (избавлению от детского потребительства. — М. Ч.) надо помогать». Она хорошо помнит, как строгая бабушка и кроткая нянечка «как-то подсказывали своим воспитанницам..., что твое желание — не закон». И никто из них «не отсчитывал от “хочу!”».

Характерный эпизод на тему «что такое эгоцентризм».

С двумя знакомыми вошла она в троллейбус. «...Чтоб им было удобно, я села спиной к водителю, они, соответственно, на двойное сиденье, лицом по ходу. Кто-то из них и скажи: “Впервые вижу человека, который любит сидеть вот так”. Видит Бог, я не добрая (к сожалению), но при чем тут “любит”? Неужели никто и никогда не выполняет машинально простейших правил совместной жизни? Мы же все живем вместе...»

Так случайно обнаруживается, что жизнь двух взрослых людей давно идет в уверенности: «Рыба ищет, где

глубже, человек (по их взгляду — любой, каждый человек. — М. Ч.) — где лучше». И без специального решения, а тоже — машинально. Сели, скажем, за стол четверо, в вазе четыре яблока. Протягиваю ручонку — беру лучшее. Вот и весь нехитрый смысл жизни. Скучновато. И так же привыкают жить их дети, не знающие других примеров.

«Может быть, поэтому, — признается Наталья Трауберг, — мне так противно слово “комфортный”. Я не Шишков (напоминаем, что современник Пушкина адмирал Шишков был очень увлечен идеей замены всех иностранных слов — русскими и предлагал “галоши” заменить “мокроступами”. — М. Ч.) и чувствую, что какой-нибудь “имидж”, даже “паттерн” выражает то, чего по-русски почти не выразишь. Сама так не пишу, но и не содрогаюсь. А как услышу “мне комфортно” от самых просвещенных людей — чуть не плачу (и я очень ее понимаю. — М. Ч.). Казалось бы, есть “мне удобно”, не очень приятные “привольно”, “вольготно”, наконец, очень емкое “мне хорошо”. Почему так привязались к иностранному слову? А вдруг потому, что здесь включен этот культ “кату”?»

### — 3 —

Многое в повседневном нашем не очень-то «комфортном» друг для друга обиходе автор книги связывает со слишком уж долгим советским временем.

«...Корень советского зла — не в материализме или марксизме, а в том, что каждый может над кем-нибудь издеваться».

Этот корень — «в очереди, в коммуналке, в непрестанных и злых советах подавальщиц и продавщиц, — словом, в том, что несчастные, измороженные люди норовят пнуть любого, кого не боятся. Особенно меня удивляют жалобы на нынешнее хамство. ...Ведь грубили

на моих глазах все семьдесят с лишним лет, а сейчас все-таки меньше».

Уважение к чужой свободе оказалось самым трудным делом не только для бывших советских людей (тех, собственно, кому сейчас больше тридцати пяти), но и для их детей.

Девочка — или, скажем, барышня лет двадцати (не говорим уж про молодую даму) — без конца напоминает матери, что она «уже взрослая» и поэтому — «не надо меня учить!» Что ж — это можно бы принять во внимание. Защищать свою самостоятельность — это понятно и нормально; у нас в России потребность человека в самостоятельности часто недооценивают.

Повторю — можно разделить ее чувства и притязания. Если бы не одно «но»: эта же самая молодая особа всегда готова с энтузиазмом «учить» ту самую свою несвоевременно взявшуюся за воспитание маму, как ей самой надо жить. Да еще к тому же подробно поясняя, как неправильно она живет сейчас, пренебрегая ценнейшими советами дочери.

Глядишь — о праве матери на самостоятельность (а с годами эта потребность — открою секретик юным! — отнюдь не уменьшается, впритык до полной дряхлости) речь как-то не заходит. Нечто должна — только мать. И прямо-таки начинаешь радоваться за эту маму — кабы она не встретила случайно со своим умным ребенком, так и прожила бы свою жизнь, погрязнув в неправильностях.

...Тут вспоминаются размышления Натальи Трауберг о разнице между тоталитарным и авторитарным строем: «Разница проста: лезут тебе в душу или нет». И опять — тоталитарный строй кончился, а его наследство поселилось в душах бывших советских людей, да и их детей, и даже внуков — надолго.

Один из важных компонентов этого наследства — раздражение и злость, по поводу и без повода. На этом даже объединяются в странные компании. «Вот — дама, вот —

тетка. Что у них общего? Пронзительная злость. ...Главное — можно вместе возмущаться всеми и всем».

Наталья Трауберг пишет, что главный закон советского времени был прост (и, можно добавить, ужасен): «к другим — беспощадность, к себе — вседозволенность».

Советская власть учила именно беспощадности к врагам. В середине 30-х годов, в так называемое «сталинское» время (Сталин самовластно управлял страной почти тридцать лет), людей заставляли выходить на демонстрации с плакатами. На этих плакатах было требование не вообще наказания тем, кто под пытками (о том, что в советской тюрьме людей подвергали жестоким пыткам, чтобы они признались в том, чего не совершали, до поры до времени никто не догадывался) назвал себя японским шпионом и бог знает кем, а именно — РАССТРЕЛА.

Отсюда — несколько печальных свойств сегодняшних российских людей, доставшихся им по наследству. Наследство копилось, как уже было сказано, долго — семьдесят с лишним лет...

Сегодня видно, как привыкли люди к мысли о важности возмездия. Да, в этом есть, конечно, наша естественная, необходимая для правильной жизни общества жажда справедливости. Тот, кто совершил что-то очень плохое, должен быть, во-первых, найден (это — обязательно; но именно этого-то у нас часто не хватает...). Во-вторых, его вина должна быть досконально доказана — для того и существует суд присяжных, чтобы не юристы, а люди, обладающие простым здравым смыслом, решали — убедительны ли доказательства вины подсудимого? И в-третьих, он должен понести наказание.

Паршиво, когда к желанию по справедливости наказать зло примешивается злорадство, а также чувство мести.

В книжке, о которой я пишу, для отношения к злу находят совсем другие измерения, другие понятия — о которых многие сегодня, привыкнув упрощать этические требования, и представления не имеют.



Наталья Трауберг пишет о главном герое детективных рассказов Честертона патере Брауне: «Зло он обличает прямо и резко, а людей почти всегда просто уводит от возмездия, заменяя его попыткой пробить уши самым мирным, необходимым способом».

Читать и перечитывать Честертона стоит, я бы сказала, — в любом возрасте. Польза здесь — бесспорная.

Его герой, патер Браун, несомненно, жизнерадостен. Мы не найдем у него и следов того, что одни называют депрессией, а другие торжественно оповещают: «У меня плохое настроение!» — предлагая всем присутствующим, так сказать, учитывать этот важнейший факт. Хотя, казалось бы, наше настроение должно остаться нашим сугубо личным, частным делом, не правда ли?.. Ну, сейчас у нас не о них речь, а как раз о тех, кто хозяин своих страстей.

Так вот — Наталья Трауберг, понимающая Честертона и его героев как мало кто другой, проводит тонкую разницу между «бодрым, бесчувственным невниманием к скорби и злу» — и «надеждой», которая и помогает патеру Брауну сохранять жизнерадостность в мире, где столько горя и зла. А чужое горе печалит его больше, чем свое собственное.

Его печалит зло, воплощенное в тех преступлениях, которые он расследует. Одних преступников отец Браун, раскрыв их преступления, доводит до наказания. От наказания других отмахивается — что будет, то будет: «Наказан преступник по земному закону или не наказан, священник стремится к тому, чтобы он переменялся, покаялся. Остальное он с евангельской легкостью предоставляет другому суду. Легкость эта — не удобство, небрежение или легкомыслие. ...Это именно легкость. Отец Браун не падает под тяжестью зла. Он приветлив и прост...»

Когда читаешь эти простые определения человеческой личности и поведения, невольно впадаешь в грусть... По-

тому что — оглянемся-ка вокруг: много ли увидим тех, про кого можно сказать — *приветлив и прост*?

Впрочем, будем утешаться тем, что и в Англии времен Честертона они, возможно, не встречались на каждом шагу...

И далее — о *печали*: чувстве, явно вытесненном из нашей сегодняшней жизни другими, более броскими. Например — *злойбой*.

Действительно — похоже, что круг наших чувств на глазах сужается, упрощается, теряет важные оттенки. То есть — набор чувств становится беднее. Это все-таки скорее плохо, чем хорошо...

«В его реакции, — пишет Н. Трауберг о патере Брауне, — иногда слышишь гнев (не злобу!), но особенно сильна в ней печаль. Редко встретишь такое точное изображение печали, прямо противоположной ее подобиям, от каприза до отчаяния, как в рассказе “Око Аполлона”». Отец Браун в этом рассказе понял, что убийство совершил тот, кто объявлял себя жрецом Солнца. «Все глядели на него, но он сидел так же тихо, отрешенно, и круглое лицо его хмурилось, словно он горевал о ком-то или за кого-то стыдился. Голос его был ровен и печален». Читая, вдруг начинаешь понимать ценность печали.

В первом же рассказе о патере Брауне Честертон пишет о знании зла — профессиональной черте священников. Люди идут к ним на исповедь. И некоторые исповедуются в грехах поистине страшных. В статьях Н. Трауберг о Честертоне рассказано, как однажды при нем молодые люди «сокрушались о том, что священники не знают темных сторон жизни». А Честертон, пойдя в тот вечер гулять со священником, впервые услышал от него то, что вложил затем в уста своего героя: «Вы никогда не думали, что человек, который все время слушает о грехах, должен хоть немного знать мирское зло?».

«Знание зла, — пишет Наталья Трауберг, — вызывает в нем очень глубокую печаль, но не ведет к болезненной искаленности».

Напоследок — вполне личное: то, что поразило и запомнилось с самого первого чтения рассказов Честертона. Это был рассказ «Летучие звезды». Необычайно умелый, талантливый жулик — на дереве, с тремя украденными им крайне дорогими бриллиантами. Под деревом — отец Браун. Он уговаривает сидящего на дереве. Я выделю курсивом те его слова, которые поразили меня в юности — и запомнились наизусть, со всеми знаками препинания:

«— Я хочу, чтобы вы их отдали, Фламбо, и я хочу, чтобы вы покончили с такой жизнью... *Можно как угодно долго держаться на одном и том же уровне добра, но никому никогда не удавалось удержаться на одном и том же уровне зла: этот путь ведет вниз*». Три бриллианта упали с дерева на землю. И в других рассказах мы встретим уже много Фламбо.

Тот, кто подумает, что так не бывает, — ничего не знает о жизни.



## В ПЯТОМ УГЛУ

— 1 —

Многие, если и не смотрели сами, то слышали про давний фильм «Ко мне, Мухтар!». Он был снят по рассказу писателя Израиля Меттера (1909— 1996) «Мухтар» — про собаку из уголовного розыска и ее проводника, про то, как преступник, которого помогала взять собака, стрелял в нее в упор и что было потом...

Но И. Меттер — автор и других, меньше известных, но очень хороших произведений.

Личная судьба этого замечательного писателя была драматичной. В советские годы он не мог рассказать об

этом в печати. Но зато написал в 1967 году повесть «Пятый угол» и положил ее в свой стол. Спустя двадцать лет началось новое время, советская цензура отступала на глазах — и в 1987 году Меттер вынул рукопись из стола и выпустил свою повесть маленькой книжкой. Она так всем понравилась, что в 2009 году была переиздана. Недавно я купила ее и с удовольствием прочитала.

Эту книжку, о которой я расскажу позже, можно, конечно, читать в любом возрасте, но не мешало бы прочесть до шестнадцати — потому что чем раньше вы узнаете о некоторых чертах советского времени, тем скорее поумнеете и составите о той далекой от вас эпохе свое собственное мнение.

Если правду о своем времени он писал в 60-е годы «в стол», это совсем не значит, что в рассказах для печати он его восхвалял. Меттер был человек очень честный и искал способ критически высказываться о своем времени и в подцензурной советской печати. И он такой способ нашел — стал писать с виду бесхитростные рассказы для подростков и юношества, в которых был глубоко заложен критический заряд: в них повергался беспощадному анализу официальный советский язык. Те самые *советизмы*, на которых сначала строилась речь партийных начальников на собраниях и их пропагандистские газетные статьи, но за полвека советской власти, к середине 60-х они уже глубоко проросли в повседневную речь людей, делая ее бесцветной, тупо-бюрократической.

В рассказе «Свободная тема» два главных героя. Это молодые учителя — девушка и юноша. В повести постоянно слышится речь советских начальников — партийных чиновников районного масштаба: «— Почему же вы нам не *сигнализировали?*», «Мы тут побеседовали с Ольгой Михайловной и с инспекторшей облоно. Обе они считают, что наша школа должна *реагировать*», «В этом классе у вас вообще *идейный разброд*», «— ...Нельзя *подменять воспитательную работу* развлечениями. Всему

свое место и время. <...> Мне кажется, Ольга Михайловна, что у вас *слабо ведется воспитательная работа с учителями*», «— ...И в целом педагог Охотников прививал своим ученикам *сомнительные идеи*, вредные по существу и далекие от *задач воспитания нашей молодежи...*», «— Вы не уважаете коллектив! — крикнула инспекторша», «И еще он сказал, что совершенно согласен с инспектором: к педагогу Охотникову *надо присмотреться*».

Увольнение Охотникова из школы сопровождается привычным набором лицемерных напутствий:

«— Больше того, я убежден, что в другой школе вам безусловно удастся *завоевать доверие и любовь коллектива*.

Он встал и протянул мне свою короткую руку, точно тем же движением, каким делал это год назад, когда направлял меня в эту школу, из которой сейчас убирал... И слова *о доверии и любви коллектива* он тоже произносил тогда. Насколько я заметил, он всегда разговаривает “крупноблочным” способом. У него нет в запасе отдельных слов, которые можно переставлять, а есть блоки, из которых он строит свою малогабаритную речь».

Охотников немало размышляет в повести над этими особенностями советской жизни: «Мальчиков и девочек мы учим в школе связному изложению своих мыслей, а тут взрослый дядя бубнит знакомые всем сочетания звуков, да еще записанные не им, а кем-нибудь из инспекторов. Может, потому и надо писать все это, что говорить без мыслей гораздо труднее? Попробуй выучи наизусть пустую трескотню, да еще такую, в которой нельзя переставить ни одного слова. Тут, действительно, уже вопрос механической памяти, а она может подвести».

Но он не только размышляет, а то и дело почти инстинктивно противостоит советской речи в разговорах с разными персонажами рассказа.

«Человек должен быть *хозяином своей судьбы*.

— То есть? — спросил я».

Сам вопрос этот весьма примечателен. Дело в том, что в советской жизни предполагалось, что все всё понимают одинаково — и все говорят на одном языке, не вдумываясь в содержание произносимого. На самом деле человек в Советском Союзе ну никак уж не был *хозяином своей судьбы*. Но он должен был делать вид, что принимает это утверждение всерьез. Между тем второй герой рассказа сохранил свое живое и оригинальное отношение ко всему, что видит и в чем участвует — и даже сумел не заразиться общесоветским языком. И он путает советским чиновникам, ведающим школьным образованием, все карты, — что неминуемо ведет к его увольнению из школы. На решающем собрании некоторые пытаются его защищать — но он сам им мешает, упорно не желая принять пустоту советского языка за норму.

«— ...Товарищ Охотников совершил грубые *ошибки*, но это потому, что он у нас недавно, вот *осознает* сейчас, *поварится в общем котле*, и все будет в порядке.

Когда мне дали слово, я с места сказал, что не могу *осознать* то, с чем не согласен».

И хотя девушке-героине он явно нравится, она все равно норовит его «воспитывать» — просто не знает, как иначе общаться. Их диалог — это две разных системы речи, поскольку она-то привычно и легко пользуется советскими штампами.

«— Если хочешь с ребятами поговорить, то говоришь обо всем, а не то чтоб на определенную тему... Они же спрашивают о чем попало...

— Значит, нам надо *идти у них на поводу?* — спросила я его».

«— Ты циник, — сказала Тамара. — Ты ни во что не веришь.

— Я верю в правду, — сказал я.

— Правда может быть *нашей*, а может быть и *не нашей*.

— Каким же путем ты узнаешь, чья она?

— А ты каким?

— Если я глубоко в нее верю, если она моя, значит, она *наша*. Потому что я ведь тоже *наш*. А тебе для выяснения истины надо непременно сбегать в райком комсомола».

«А я не могу свои личные отношения ставить выше общественных».

Молодой человек с его не омертвевшим языком — не уникален в повести. Там действует еще пожилая учительница, которой так же, как ему, претят штампы советской речи, за которыми нет живого, сочувствующего отношения к людям

«— Мне, милочка, уже поздно переучиваться.

Инспекторша улыбнулась.

— Учиться никогда не поздно, Варвара Никифоровна. Стоит ли проявлять такую *нетерпимость к критике*?

— Ах, да оставьте вы свои пошлости! — простонала вдруг Варвара Никифоровна».

Вот это «простонала» здесь особенно выразительно — слишком много лет пожилая интеллигентная учительница все это слышит, но привыкнуть не может и мучается.

## — 2 —

В другом рассказе Меттера тех же 60-х годов — «Два дня» — другой вариант: героиня рассказа хорошо понимает советский язык, но сама им почти не пользуется. «Если бы Маша Корнеева загодя меня предупредила, что в шестой группе имеются *нездоровые настроения*, я, может, как-нибудь подготовилась бы к этому и все обошлось бы без скандала».

Зато *старшие товарищи* (это выражение было очень в ходу в советское время) затопляют свои разговоры с ней этим языком. Вот героиню представляют в новом месте ее работы — в училище:



«— ...Секретарь нашего комсомольского комитета. Опыта еще маловато, но вкус к общественной работе уже есть. Будет *работать с огоньком*», «— Вот это я понимаю, комсорг! — громко сказал он <...>. — Сразу видно *живинку* в деле!», «Нашему училищу нужен опытный комсорг, делающий свое дело *с огоньком, с живинкой, настоящий вожак молодежи...*».

Интересно, что эта «живинка», попавшая в официальный, «партийный» язык из народной речи, полностью потеряла в ней всякую живость, превратившись в лицемерный псевдонародный орнамент *партийных установок*.

«— <...> Разве сотни тысяч комсомольцев, по *первому зову партии* отправившиеся на целину, не пренебрегли подчас собственной выгодой, удобствами, карьерой во имя общих интересов?».

«— *Иждивенческие настроения*, — сказала Вера Федоровна».

«— <...> И все для кого? Для наших девушек. Для их *светлого будущего*. А они еще фокусничают, крутят носом...»

И двадцать лет спустя эти же привычные слова мы встретим в публичном выступлении тогдашнего секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева на заседании Политбюро ЦК КПСС 11 марта 1985 года, перед открытием внеочередного Пленума ЦК КПСС, где его выберут Генеральным секретарем ЦК КПСС, и он начнет Перестройку: «Нам нужно набирать темпы, двигаться вперед, <...> ясно видеть наше *светлое будущее*». Пытаясь повернуть страну к новому (и повернул!), он нередко продолжал пользоваться *старым советским языком* — ведь другого он, всю жизнь находясь на партийной работе, просто не знал.

В рассказе современного писателя Виктора Пелевина — рассуждение о том, как именно это происходило: «...У советского человека, помимо физического, имелось несколько тонких тел, как бы наложенных друг на друга: бытовое, производственное, партийное, воен-

ное, интернациональное и депутатское. <...> Происходящее на комсомольском собрании практически не отличается от одержания духом — участники точно так же предоставляют свои тела некой силе, не являющейся их нормальным “я”, разница только в том, что здесь мы имеем дело с групповым одержанием системой. Смысл провозглашавшегося когда-то “воспитания нового человека” — сделать это одержание индивидуальным и постоянным».

В повести «Мухтар» И. Меттер демонстрировал, как одна недлинная фраза может содержать целый набор советизмов: «На общем собрании работников питомника Дуговец сказал, что *равняться надо именно по таким труженикам*, как проводник Глазычев, который относится к своим обязанностям *не формально, а творчески*».

В каждой повести Меттера появляются новые советизмы:

«Председатель сказал:

— Только этого не хватало в нашем героическом городе — *коллективки!* В условиях блокады *коллективка* — преступление, за которое надо карать по законам военного времени» («Пятый угол»).

В те же самые годы — 1967—1968, «расцвет» брежневского времени, — за «коллективку» *прорабатывают* (это — тоже советизм) на партийном собрании в Киеве известного писателя, автора знаменитой книги «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова, а он защищается: «Я и до прочитанных вам здесь писем неоднократно подписывал *коллективные письма* и обращался с ними в вышестоящие органы власти и партии».

— 3 —

В писавшейся «в стол» повести «Пятый угол» Меттер рассказывает о том, как его герою (в котором угадываются автобиографические черты) сначала мешает

пятый пункт анкеты (ее обязательно заполняли при поступлении в высшее учебное заведение) — «социальное положение»: «а было этих социальных категорий пять: рабочие, крестьяне, интеллигенция, служащие, кустари и пр. Я числился по самой последней, по пятой. Отец мой кормил семью из шести человек всеми доступными ему кустарными способами. <...> Мы жили бедно, но анкетное клеймо горело на моем лбу — сын частника. <...> Четыре года подряд я сдавал экзамены в институты, перетаскивая мои позорные документы из одной приемной комиссии в другую, и четырежды не находил своей фамилии в длинных списках принятых». А после войны «пятый пункт» — это национальность. И в этой графе у героя повести появляется слово «еврей». И начинается новая — только уже не объявляемая государством, а проводящаяся подспудно полоса дискриминации.

В этой повести автор демонстрирует и обсуждает особенности советской речи свободней, чем в печати, — фиксирует, например, такую важную черту советской жизни: «Долгие годы завоевывалось у нас право человека, описывающего исторические события, свидетелем которых он был, говорить от первого лица.

Не полагалось произносить местоимения “я”. Следовало писать “мы”. “Я” считалось недостоверным. Говорить надо было только от лица народа».

Венгерский писатель Д. Ийеш заметил эту нашу особенность еще в середине 30-х годов в своей книге «Россия: 1934»: «Все здесь говорят во множественном числе. “В прошлом году, — заявляет некий поэт, — мы выплавили столько-то и столько-то тонн стали”. Я с удивлением смотрю на собеседника, взгляд мой против воли останавливается на его тонких, изнеженных пальцах. “Взялись мы окучивать капусту, — сообщает он чуть погодя, — и за две недели обработали сто восемьдесят тысяч гектаров”. И дальше, в том же духе: “Когда мы поднялись в стратосферу...” — “Как?! И вы тоже летали?” — «Нет-нет, трое ученых, которые, к несчастью, погибли».

Усматривать ли в замене местоимений перестройку индивидуального самосознания и формирование коллективного духа? Кто такие эти “мы”, кто тут с кем отождествляет себя?

Для западного слуха все это поначалу звучит странно. Как показывает приобретенный мною опыт, народ отождествляет себя лишь с выстраданными бедами и причиненными ему несчастьями. “Да-а, войну мы проиграли”. Но экспроприацию скота проводили уже не мы, а правительство; по-моему, даже сами члены правительства формулируют именно так. “Мы прокладываем канал Москва — Волга”, — говорят те, кто всего лишь одобряет это начинание. Остальные говорят: они.

Человеку с Запада, конечно, кажется подозрительным это странное единение».

Талантливые отечественные литераторы тоже хорошо видели эту черту и высмеивали ее. Протоиерей Михаил Ардов рассказывает в одной из своих мемуарных книг, как в середине 30-х кто-то из знакомых упрекнул В. Стенича (замечательного переводчика, которому через несколько лет суждено было безвинно погибнуть в застенках ленинградского Большого дома):

«— Нельзя называть большевиков “они”. Надо говорить “мы”!

— Ну ничего, — ответил Стенич, — придет время, “мы” “нам” покажем!»

После доклада крупного партийного чиновника А. Жданова в августе 1946-го, где он обвинил двух замечательных литераторов — Анну Ахматову и Михаила Зощенко — в невысказанных грехах, их исключили из Союза писателей и лишили продуктовых карточек. Писатели и критики дружно травили недавних уважаемых коллег в статьях. «Ведь Зощенко и Ахматова сильны не сами по себе, — писал А. Фадеев. — Они являются как бы двумя ипостасями глубоко чуждого и враждебного нам явления».

А Меттер оказался одним из *пяти* писателей, не побоявшихся захопнуть на писательском собрании после выступления затравленного Зощенко...

Вернемся к «я» и «мы». Михаил Ардов вспоминает, как в конце 50-х — начале 60-х годов «Борис Леонидович [Пастернак] рассмешил Анну Андреевну [Ахматову] и всех нас такой фразой:

— Я знаю, я — “нам не нужен”...».

Издевался над этим официальным «мы» и великий композитор Шостакович. Его дети вспоминают, как в 1960-е годы, «подойдя к кассе, мы увидели стоящего рядом с кассой Жана Поля Сартра, который старательно пересчитывал довольно толстую пачку купюр. [Советская власть подкупала большими гонорарами некоторых европейских писателей, чтобы они писали о ней хорошо. — М. Ч.] Отец метнул на француза быстрый взгляд и шепнул мне в самое ухо:

— Мы не отрицаем материальной заинтересованности при переходе из лагеря реакции в лагерь прогресса».

— 4 —

Напоследок — о том, как спекулировали советские властители словом «народ».

«— К вашему сведению, — сказал Дуговец, — кино снимается для народа.

— А я кто? — спросил Глазычев.

— А вы младший лейтенант милиции Глазычев» («Мухтар»).

Возлюбленная поэта Б. Пастернака, послужившая прототипом для обаятельной героини «Доктора Живаго», вспоминала разговор Пастернака с главным партийным начальником над писателями Поликарповым в 1958 году, когда началась официальная травля поэта за то, что он посмел передать рукопись своего собственного рома-

на за границу. «— Но гнев народа своими силами нам сейчас унять трудно, — заявил Поликарпов. <...>

— Как вам не совестно, Дмитрий Поликарпович? — перебил Боря [Пастернак], — какой там гнев? <...> “Народ!”, “народ!” — как будто вы его у себя из штанов вынимаете. Вы знаете прекрасно, что вам вообще нельзя произносить это слово — *народ*».

«...Некоторые литераторы, — писал в 1965 году Комитет государственной безопасности, докладывая в ЦК КПСС о настроениях общества, — огульно чернят завоевания нашего *народа* последних лет».

«Масштабы фальсификаций со словом «народ» необозримы, — напишет Меттер в эти же годы в повести “Пятый угол”. — С тридцатых годов людей начали назначать *в народ* и исключать *из народа*. По существу же, титулом *народа* обладал один человек — Сталин...».



## БЕССМЕННЫЙ ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ

— 1 —

Самый первый раздел этого очерка я пишу для моих постоянных адресатов — для тех, кому до шестнадцати лет.

Им все-таки необходимо объяснить, кто же такой Жванецкий. И одновременно напомнить, что несколько его давних-давних сочинений — это уже самая настоящая классика. И как раз такая классика, с которой стоит познакомиться пораньше (хотя смеяться будете в любом возрасте).

Конечно, некоторые из вас видят Михаила Жванецкого каждый месяц — в телепередаче «Дежурный по стра-

не». Смеются вместе с родителями или бабушками и дедушками над его остротами. Они действительно всегда и неизменно острые — в отличие от довольно-таки тупого юмора большинства сегодняшних телеюмористов.

Но дело-то в том, что этот писатель точно так же страшно смешил нас своими коротенькими сочинениями и почти полвека назад, то есть в годы весьма суровой советской цензуры (сейчас, как известно, любая цензура запрещена Российской Конституцией). Он писал эти тексты для своих сотоварищей-актеров — Романа Карцева и Виктора Ильченко, а потом и для знаменитого Аркадия Райкина. И тот со сцены с неподражаемым актерским мастерством и в то же время с тонким и бережным ощущением авторского текста (чем далеко не всегда могут похвалиться даже очень хорошие актеры) рассказывал публике о том, что все и так прекрасно знали, но о чем нельзя было ни говорить публично, ни писать.

Жванецкому и Райкину такое сходило с рук, видимо, потому, что само запрещающее начальство тоже безудержно смеялось, а после этого запрещать было не очень удобно.

Например, один изобретатель сделал некую машину — и ее решили отправить на выставку в Париж. «Правда, самого не пустили, у него кому-то чего-то не понравилось в рентгене; анализы у него не те».

В этом месте все уже смеялись, и многие горьким смехом: в зале сидело немало тех, кого никогда не выпускали за границу (такой был ходячий глагол — «его *не выпускают*»). При этом нередко ссылались на медицинские показатели...

«...Так что поехал я, у меня в этом смысле не придерешься — все качественное и количественное. И девчушка еще из колхоза поехала, ей давно обещали во Францию». (...Да за одно только это слово — «девчушка», поставленное в надлежащем месте, я дала бы Жванецкому любую литературную премию!)



Естественно, этот политически надежный человек ничего не понимает в машине, которую сопровождает. «Перед отъездом с изобретателем переговорили: выяснили там, какие заряды, какие притягиваются, какие оттягиваются...»

Если вы полагаете, что это — забавная выдумка, должна вас разочаровать. В советское время это было самое обычное дело — изобретали одни, а демонстрировать изобретение ехали совсем другие. И в Италию никогда, до самой смерти «не выпускали» того, кто жизнь отдал изучению искусства Ренессанса. И на конференцию по искусству итальянского Возрождения вместо него ехал тот, кто ничего не понимал ни в итальянском, ни в каком другом искусстве. И это было — уверяю родившихся в 1990-е — совсем не исключение, а самая что ни на есть рутинка. И вот накопившиеся у Жванецкого впечатления этого рода (не знаю, но почти уверена, что его самого до конца советской власти за границу не пускали) спрессовались наконец в литературный текст.

...Итак, вполне правдоподобным образом приехали в Париж, распаковались. «Народу набежало уйма. Машина — всеобщий восторг». Сопровождающий «речь толкнул и закончил по-французски. Так и сказал: “Селяви!” В смысле — есть что показать!” Народ мне кричит: “Включайте!” <...>

И вот тут мы куда-то что-то воткнули...

Потом меня спрашивали: “Куда ты воткнул, вспомни давай!”

Комиссия приехала из Москвы, меня спрашивала: “Куда ты втыкал, ты можешь вспомнить?” Какое вспомнить, когда врачи ко мне вообще два месяца не допускали, у меня состояние было тяжелое.

Девчушка та покрепче оказалась, но у нее что-то с речью и не может вспомнить, как доить. Принцип начисто забыла! Откуда молоко берется, не помнит. Сейчас ее колхоз за свой счет лечит <...>».

Изобретателя же хотели «под стражу взять», но за него «коллектив поручился, так что просто взяли подписку о невыезде. Легко отделался...

Я вот, как видите... Маленько перекося, и вот не сгинаясь». (Старшие поколения хорошо помнят, как показывал это Аркадий Райкин!..) «Говорят, могло быть и хуже. Ну ничего, я подлечусь. Живем в век техники! Так что, может, еще и в Японию поеду!» (Жванецкий М. В век техники // Жванецкий М. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 1. Шестидесятые. М., 2007. С. 145—146).

И скорей всего — действительно поехал. За государственный счет.

## ———— 2 ————

А вот просто очень смешная вещь — «В Греческом зале». Хотя и грустная тоже — у Жванецкого без этого не бывает. В общем, о том, как многие мужчины в России культурно отдыхают... Можно было бы дать подзаголовок: «О том, чего не было, но что вполне могло бы быть».

«Дали этим женщинам два выходных, так они прямо с ума посходили». (...О том, как в середине 60-х годов субботу сделали выходным днем. Это был настоящий бескровный переворот! Когда по субботам работали, люди в семьях почти что не виделись друг с другом.) «Убивают время как попало. Вместо того чтобы отдохнуть... В прошлое воскресенье потянула она меня на выставку. Вернисаж какой-то... Я думал — музей как музей. А это не музей, а хуже забегаловки: горячего нет, один сыр и кофе. В Третьяковке хоть солянка была, а на вернисаже одна минеральная. Нет, думаю, тут не отдохнешь...

А воскресенье проходит.

Пока экскурсия таранилась на статую, я выскочил, прихватил на углу. Только разложился, газетку постелил, вахтерша прицепилась:

— В Греческом зале, в Греческом зале, как вам не стыдно!

Аж пенсне раскалилось. Я ей так тихо возражаю:

— Чего орешь, ты, мышь белая?.. Ты здесь каждый день дурака валяешь. А мне завтра на работу. Стакан бы лучше вынесла... Видишь, человек из горла булькает?!

...Что селедку?.. Кто селедку?.. Какую селедку?.. Ну, селедку развернул у него на плече... А что ему сделается? Двести лет стоял, еще простоит, а у меня выходной кончается...»

И дальше все нарастает и нарастает этот диалог двух миров — двух собеседников, не понимающих друг друга. Жванецкий — мастер доведения вполне реальной ситуации до помрачающего ум гротеска.

«Тут я ей совсем тихо, ну тихо совсем:

— Слышь, штопор есть?

— Это итальянская живопись семнадцатого века!

— Ты не поняла, — говорю, — я тебя не спрашиваю, где брала живопись, я спрашиваю: штопор есть?»

Читать рассказ нужно обязательно до конца.

И у меня созрело такое предложение к учителям и старшеклассникам: очень бы стоило исполнять его людям с актерскими задатками на каких-нибудь школьных вечерах. Конечно, не ранее девятого класса. Пусть послушают, куда можно прибыть, если пойти по известной дорожке. Посмеются от души. А там, глядишь, и задумаются.

Пожалуй, подошел бы для школьного вечера — уже безо всякого назидания — и рассказ про советский футбол. Учителя бы смеялись, узнавая, а их ученики — просто потому, что смешно. Впрочем, наиболее вдумчивые, возможно, распознали бы в старом — очертания чего-то заново, к сожалению, нарождающегося.

Прежде самого рассказа надо напомнить про особый советский словарь, в котором многие слова имели не совсем то или даже совсем не то значение, которое имеют они в обычном толковом словаре русского языка. Например, слово «доверие».

В газетных статьях и публичных выступлениях всяких партийных деятелей (партия, напомним, была только одна — коммунистическая, она же правящая, что было записано раз и навсегда — то есть от выборов не зависело — в Конституции) это хорошее слово употреблялось только в таких словосочетаниях: *завоевать доверие партии, доверие народа, безграничное доверие...*

Например: «безграничное доверие всего советского народа Генеральному секретарю нашей родной (это уж как правило!) Коммунистической партии товарищу Леониду Ильичу Брежневу!» Тут уж происходила полная порча хорошего слова — окончательная утрата его сокровенного смысла.

Можно было *оправдать доверие* (партии и народа), а можно было *и не оправдать, потерять, выйти из доверия...*

«Работники культуры и искусства, которые не перестроятся и не смогут удовлетворить выросших потребностей народа, могут быстро *потерять доверие народа*» (Жданов А. А. Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград»..., 1946 // пример из Академического словаря, 1954 г.). Слушавшие этот текст советские люди производили мгновенную его перекодировку — «народ» превращался в партийное начальство, и оно-то уже явно угрожало «потерявшему» крупными неприятностями — вплоть до ареста, лагеря или пули в затылок.

А подлинный народ — не в те послевоенные годы, очень тяжелые для людей, и вовсе не только из-за неизбежных физических лишений, а после смерти Сталина, когда в самом воздухе времени сразу потянуло свежим ветром, — уже совсем не безмолвствовал, а сочинял, например, частушки.

И как только арестовали главного подручного Сталина по делам Гулага (это ему принадлежит речение: «Я тебя сотру в лагерную пыль!») и ясно стало, что грозит ему именно то, к чему сам он столько раз приговаривал тысячи и тысячи людей, — запорхала по губам летом 1953 года частушка:

Берия, Берия  
Вышел из доверия.

И такая еще песенка:

Лаврентий Палыч Берия  
не оправдал доверия...

В наше, постсоветское время это слово звучит иначе, к нему вернулось его словарное значение. Оно, пожалуй, видно в официальной мотивировке увольнения в отставку мэра Москвы Ю. М. Лужкова в октябре 2010 года — «в связи с *утратой доверия* президента». И все же у людей старших поколений невольно возникают дурные ассоциации с прошлым его употреблением...

И теперь — к рассказу Михаила Жванецкого, который не смог пройти мимо этого слова в далекие 1970-е годы. (О его отношении к советизмам — точнее, о неустанной и успешной с ними войне, — мы расскажем когда-нибудь отдельно.)

Он пишет монолог полуграмотного советского чиновника, ведающего футболом — игрой, которой тогда, как и вообще международным выступлениям спортсменов, придавали повышенное государственное значение.

«— Товарищи! Мы все собрались сегодня, чтобы почтить игроков в футбол, выбывающих за рубеж.

Товарищи игроки! *Народ вам доверил* игру в футбол. Почему *народ не доверил* игру в футбол врачам или писателям? Потому что интеллигенция такого *доверия* не выдерживает — у нее пенсне падает. <...> Поэтому *народ это дело доверяет вам*» (Какое-то напутствие из 70-х // Жванецкий М. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 2. Семидесятые. М., 2007. С. 8).

...Вообще любому выезду за рубеж придавалось особое, сакральное (юные читатели, кто пока еще не знает этого слова, — загляните в словари и узнайте! Оно для понимания советской жизни очень важно) значение.

Поездки считались особым знаком отличия, доверия (!) и обставлялись тайнами. До последнего дня человек часто не знал — так едет он или нет?.. А если вдруг узнавал, что не едет, никто и никогда не объяснял ему — ну почему?!

Эта непереносимая завеса тайн надо всем, что было связано с пересечением границы, передана Жванецким смешно, гротескно, но по сути-то почти без преувеличения, хотя в это и очень трудно поверить сегодняшнему юному читателю.

Итак, продолжим напутствие чиновника футболистам.

«Народ вас одевает, обувает, кормит, поит, стрижет. Вам остаются пустяки — выиграть все игры. <...> Нам нужна победа. Ничья нам не нужна. Я уже не говорю о поражении, которое мы не потерпим.

Запомните памятку игрока, *выбывающего за рубеж*. Прежде всего — ничего, никто, нигде, ни о чем. Ни пипси! Это спорт, это игра. Здесь главное — престиж и тайна! До последнего момента мы не должны знать, кто поедет. Те, кто выехали, пусть думают, что они остались, а те, кто остались, пусть думают, что хотят. Из тех, которые все-таки выехали, никто не должен знать, кто выйдет на поле. Из тех, кто выйдет, никто не должен знать, кто будет играть. Из тех, кто будет играть, никто не должен знать, с кем будет играть».

А дальше — кульминация. Торжественная песнь бюрократа, «отвечающего» за футбол, при этом, как было принято в те годы, ничего в нем не понимающего, но зато имеющего доверие власти по части политической подготовки и бдительности.

«...Перед тем, как дать пас, сядь, подумай, кому ты даешь мяч. В чьи руки пойдет народное добро? Куда он смотрит? Какие у него взгляды? Готов ли он к твоему мячу? Перед тем, как ударить по воротам, сядь, подумай, а вдруг — мимо. Что скажут твои товарищи из *вышестоящих инстанций*? Какой вой подыметь (так

у Жванецкого, и не зря! — М. Ч.) белоэмигрантское охвостье. И помни: если народ поставил тебя левым крайним, люби свой край! Береги свой край! Наш край врагу не отдадим!»

— 3 —

В высшей степени правдиво говорит Жванецкий о той самой советской жизни, о которой сегодня многие, как заправские сказочники, любят рассказывать сказки — например, о том, как чуть ли не все могли получить отдельную квартиру... (Как люди ухитряются совершенно забыть, что множество людей продолжало жить в «коммуналках» и что это была за жизнь?..)

Он рассказывает обо всем этом предельно правдиво — и именно из-за такой детальности правды тем, кто родился в 1990-е годы и этого специфически советского быта практически не застал, его описание должно казаться веселым гротеском. «Здорово придумал!» — говорят они, наверно.

Вот крохотная новелла про старичка, который ходил в общий туалет со своим ведром (по-видимому, слив там работал с большими перебоями) и включал свой, установленный в его комнате выключатель (чтобы не платить за свет за тех, кто проводит в общем туалете много времени, а только за себя; счетчик, по-видимому, старичок тоже установил отдельный: в коммуналке моего детства тоже так было).

Читая, надо иметь в виду, что в длинный коридор коммунальной квартиры могло выходить пять, шесть, семь, а также десять и больше комнат. А кухня, ванная комната, туалет — это все было в одном экземпляре...

«Дед собирается в туалет в конце коридора.

Включает у себя свой свет.

Берет ведро воды.

Пока доходит до туалета, там кто-то сидит.

Под его светом.

Дед не может этого выдержать.

Срочно бежит обратно с ведром воды.

За это время тот выходит.

Дед берет ведро воды.

Включает свой свет.

Идет в туалет, пока доходит, там кто-то сидит.

Дед хватается ведро, бежит обратно, выключает свой свет.

Идет в туалет без ведра.

Дежурит у дверей.

Оттуда выходят, он бежит обратно, хватается ведро, включает свой свет.

Бежит в туалет, там кто-то сидит.

Он бежит обратно, падает, выливает ведро, выключает свой свет. Идет в туалет.

Сидит без воды и в темноте» (В коммуналке // Жванецкий М. Собрание сочинений в пяти томах. Том 4. Десяночные. М., 2007. С. 332—333).

Это — о тех, кто дожили в своих коммуналках до самых десятичных.

Но главная тема того тома его пятитомного собрания сочинений, который называется «Семидесятые», — это, пожалуй, еда. О ее месте в ту самую брежневскую эпоху (напомним ее хронологические рамки — 1964—1982), особенно же — в последнее ее десятилетие, про которое многие пожилые люди сегодня, повторю, повадились говорить: «У нас все было!» Когда именно что ничего не было.

И Жванецкий прорезал резцом сатирика подлинные, нестираемые черты той эпохи.

«И что смешно — министр мясной и молочной промышленности есть и очень хорошо выглядит.

И что интересно — мясная и молочная промышленность есть, мы ее видим и запах чувствуем.

И что самое интересное — продукции выпускаем в пять раз больше, чем в 40-м году.



И что очень важно — действительно расширен ассортимент.

И в общем в очень удобной упаковке.

Все это действительно существует, что бы там ни говорили.

Просто, чтобы это увидеть, надо попасть к ним внутрь.

Они внутри, видимо, все это производят и, видимо, там же все это и потребляют, благодаря руководство за заботу и ассортимент.

У них объем продукции возрастает, значит, и возрастает потребление — ими же...

И нам всем, стоящим тут же за забором, остается поздравить их во главе с министром, пожелать дальнейших успехов им, их семьям и спросить, не нужны ли им юмористы, буквально три человека» (Их день // *Жванецкий М.* Собрание сочинений в пяти томах. Т. 2. Семидесятые. М., 2007. С. 88—89).

Еще один рассказ этих лет — «На складе». Опять о пище, но также и о продукции легкой промышленности, в те годы еще более недоступной человеку, не приближенному к партийным властям.

«Главная мечта нашего человека — попасть на склад. Внутрь базы. В середину». Как сказано в предыдущем рассказе, «надо попасть к ним внутрь».

С этого места слушателям — современникам и соотечественникам автора — все уже было ясно, и они заранее послушно ложились от смеха.

Мы процитируем фрагменты, но читать рассказ надо обязательно весь. Он длинный, но весь состоит из простейших и кратчайших реплик — диалога того, кто ведает складом, и посетителя:

«— Шапки.

— Одна.

— Да. Две.

— Дальше.

— И еще одна.

— Три. Дальше.

— Пишите четвертую.

— Так. Обувь?»

И нигде не падает читательское напряжение! Важнейшее свойство литературы.

Ну, не будем скрывать — кое-какое представление об описываемом времени для этого иметь надо. Но ведь если ни слова не знать о войне 1812 года, то и «Войну и мир», пожалуй, не понять — какие-то французы посреди зимней Москвы почему-то костры жгут...

Продолжим цитировать обещанные фрагменты:

«— А что у вас из продуктов питания?»

— Что вас интересует?

— Меня интересует, ну поесть что-нибудь. Вот, например, ну хотя бы, допустим, колбаса.

— Батон?

— Два. А хорошая?

— Два.

— Три. А какая?»

На заметку сегодняшним читателям — он сначала просит колбасу: два, а затем три батона (какую-нибудь! Он по любой истосковался) и только потом спрашивает — «Какая?»

А как герой рассказа вообще-то попал на этот склад?

Сам он об этом говорит так: «Мне сказали: в порядке исключения для поощрения».

...Так пожилая тетушка одного моего знакомого спорила с ним о брежневском времени: «И не говори! Все у нас было! К нам на завод каждую осень сапоги привозили! И мы покупали...» — «Тетя Оля! — проникновенно говорил мой знакомый. — Сапоги не на заводе, а в магазине покупать надо — вот как сейчас. Понимаешь ты это?» Но нет, тетя Оля не понимала.

...Рассказ идет к концу. Очумелый от невиданный роскоши — разные колбасы, свежая рыба, шапки (напомню тоже очень смешной рассказ Владимира Войновича «Шапка», в центре которого — жгучее и почти неисполнимое желание героя занять хорошую шапку) — все то,

чего в семидесятые ни за какие деньги (!) не достанешь, даже отстояв любую очередь, — безымянный (а имени и не надо! Один из десятков миллионов советских людей!) герой рассказа уже и не знает, по какому же из семейных или дружеских адресов эту роскошь отправлять.

«— Все! (Лязгает железом.) Сами повезете заказ?

— А что, вы можете?

— Адрес?

— Все положите? Может, я помогу?

— Куда везти?

— На Чехова... то есть на Толбухина. А в другой город можете?

— Адрес?

— Нет, лучше ко мне. Хотя там сейчас... Давай на Красноярскую. Нет, тоже вцепятся. Давай к Жорке. Хотя это сука. А ночью можно?»

И просит боевое орудие для сопровождения и при нем — двух солдат.

Замечателен конец:

«— Мне до вокзала. Там — на платформу, сам охраняю, и — на Север.

— Ты же здесь живешь.

— Теперь я уже не смогу. Не дадут. Плохо — живи. А хорошо... Не дадут» (На складе // *Жванецкий М. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 2. Семидесятые. М., 2007. С. 36—45).*

Вот еще семидесятые годы. Впрочем — это могло бы относиться к любым годам.

«Что такое фальшь? Это ложь об отношении к чему-то. “Я рад...”, “Вы гений...”, “Я с огромным удовольствием...”

Фальшь нельзя проверить, нельзя обратить на нее внимание судьи, друзей. Фальшь можно только почувствовать. Она вызывает бешенство, непонятное окружающим.

Все, в том числе тот, кто сфальшивил, говорят: “Ну, псих!”» (Семидесятые, с. 200).

А теперь — о времени Перестройки.

В трогательном письме, которое Жванецкий пишет покойному отцу, стремясь рассказать о том, что тот не успел увидеть, — замечательное описание начала распада Советского Союза. Это — осень 1991 года. Смешно (но сквозь смех явно пробивается слеза) и точно:

«...Мы сейчас все разбились по республикам. Все выставили таможни. Потому что в одной республике нет мяса, в другой нет рыбы, в третьей нет хлеба. И мы хотим знать, где чего нет, и хотим это положение закрепить».

Дальше замечательное (смешное, но, по-моему, не обидное) описание так называемого «национального вопроса» на этом, самом первоначальном этапе:

«Теперь кто в какой народ попал, тот там и сидит. Назначили туркменом — так уж будь здоров. И кто в какой строй попал, там и сидит. Кто вообще в капитализм, а кто в первобытнообщинный. Все с трудом говорят на родном языке...»

В легкой форме, но при этом — без упрощения зафиксированы серьезные, сложные обстоятельства.

Вот описание самого начала 90-х годов. Здесь уже не до смеха.

«Что же такое происходит с нашими людьми? Что же они так дружно собираются на митинги и, страстно перебивая друг друга, кричат:

— Не хотим хорошо жить! Никто не заставит нас хорошо жить! Не подсовывайте нам собственность! Хотим жить без имущества и работать без зарплаты! Пусть за всю жизнь мы накопили шестнадцать рублей и детям ничего не завещаем, кроме рецептов, мы отстаиваем свой гибельный путь и рвем каждого, кто хочет выставить нас из капкана!

— Не трожь! — И лижем стальные прутья. — Не подходи, не лечи! Оставь как было! Нам нравится как было, когда ничего не было, ибо что-то было. Нас куда-то вели. Мы

помним. Мы были в форме. Мы входили в другие страны. Нас боялись. Мы помним. Нас кто-то кормил. Не досыта, но как раз, чтобы мы входили в другие страны. Мы помним. Нас кто-то одевал. Зябко, но как раз, чтоб нас боялись.  
<...>

Наш способ!

Всего жалко, кроме жизни. <...>

Умираем, но не отдаем. Ни цепь, ни миску, ни государственную собачью будку!

Это наш путь! И мы на нем лежим, рыча и завывая, в стороне от всего человечества» (Наш спор // *Жванецкий М. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 4. Девяностые. М., 2007. С. 183—185*).

И вот уже этих наших людей перетащили все-таки с тупикового пути на другой — трудный, но во всяком случае исторический, куда-то действительно ведущий.

Острым, цепким взглядом наблюдает Жванецкий соотечественников в совсем новой для них ситуации. Ну и как?..

«Наши люди.

Они на свободу не потянут. Они нарушать любят.

Ты ему запрети все, чтобы он нарушал. Это он понимает».

И — пояснение:

«Наша свобода — это то, что мы делаем, когда никто не видит.

Стены лифтов, туалеты вокзалов, колеса чужих машин.

Это и есть наша свобода.

Нам руки впереди мешают. Руки сзади — другое дело.

И команды не впереди, а сзади, то есть не зовут, а посылают.

Это совсем другое дело.

Можно глаза закрыть и подчиниться — левое плечо вперед, марш, стоп, отдыхать!»

И тут же — разъяснение разницы между диктатурой и демократией:

«То, что при демократии печатается, при диктатуре говорится.

...При диктатуре больше балета и анекдотов, при демократии — поездок и ограблений.

...При диктатуре могут прибить сверху, при демократии — снизу.

...Сказать, что при диктатуре милиция нас защищает, будет некоторым преувеличением. Она нас охраняет. Особенно в местах заключения» (Вперед назад // Жванецкий М. Собрание сочинений в пяти томах. Том 4. Девяностые. М., 2007. С. 158—160).

И, как говорят, с хорошей завистью — о гражданах других стран:

«С детства они не чувствуют государства, а любят страну. Рискуя тавтологией, скажу, уж больно наоборот у нас, уж очень больно наоборот. Страну, что мы любили, заменило государство, его невозможно любить, как бы ты не изворачивался. Нас пугают родиной с какими-то длинными руками, цепкими пальцами, которая тебя достанет, где бы ты ни был. Там любят не родину и не государство, там любят свою страну, и на себе носят ее флаг, и поют ее гимн у костра...» (Не здесь и здесь // Жванецкий М. Собрание сочинений в пяти томах. Том 4. Девяностые. М., 2007. С. 129—130).

Конечно, это — по большей части о советском времени. Но явление это, как скользкое пресмыкающееся, переползло постепенно и в новое, постсоветское время.

## — 5 —

И напоследок — о том, что нынче мы называем *толерантностью*. Стремимся учить этому не только со школы, а даже с детского сада, но не очень-то преуспеваем.

А я предлагаю родителям, воспитательницам и учителям начать вот с этого рассказа Жванецкого. И раз в два-

три года заново к нему возвращаться. И вот увидите — мы изменимся к лучшему.

«Чувство национального выбора тонкая вещь. Почему комары не вызывают отвращения, а тараканы вызывают? Хотя комары налетают, пьют самое дорогое, а тараканы просто противные. Противные, отвратные, и всё.

Куда бы они не побежали, откуда бы не выбежали, все с криком за ними. А комары... Хорошо, чтобы не было. Но если есть, ну пусть, ну что делать, в обществе все должны быть. Кроме тараканов, конечно.

Тигров любим, шакалов нет. Хотя тигр подкрадетсЯ, наброситсЯ, разорвет не то что одного, а целое КБ», — так сокращали в советское время (не заметила — как сейчас) «конструкторское бюро», которое было при каждом почти предприятии.

Продолжим цитировать замечательное рассуждение Жванецкого. «А шакал? Кто слышал, чтоб кого-то разорвал шакал? За что мы его ненавидим? Противный. Да. А тот красавец полосатый — убийца, это доказано. И еще на территорию претендует. Ничего, пусть будет среди нас. А шакалов гнать.

«Где логика?» — вопрошает нас всех Жванецкий. Резонно, правильно, по делу вопрошает.

И продолжает спрашивать — очень даже, как выражаются сегодня, «в тему»:

«Шакал разве виноват? В своем обществе он разве противный? Он такой, как все. Это когда он попадает в другое общество, там он кажется противным».

Ах, какие же умные, точные суждения!..

«...Но если мама смотрит на себя в зеркало или на своих детей, разве они ей кажутся противными, как нам? Или она себе в молодости казалась ужасной? С горбом, клыками, какая есть на самом деле. Да нет. Нормальная».

А вот и о том, как другие (хотя бы и шакалы) смотрят на нас самих:

«Им тоже противно, что мы торчим вертикально, шерсть носим только на голове. А вместо клыков протезы. И подкрасться толком ни к кому не можем. А падаль едим так же, как они, и еще ее варим для чего-то. А очки? А животы? Мы очень противные в обществе шакалов. Я уж не говорю о том, что разговор не сумеем поддержать».

И под конец — вывод. Целиком в духе Жванецкого — не крикливый, совершенно спокойный, но пронзительный по своей этической насыщенности: «У всех есть и нежность, и любовь, и страдания.

Так что в национальном вопросе нужно быть очень осторожным» (Этнические конфликты // *Жванецкий М. Собрание сочинений в пяти томах. Том 4. Девяностые.* М., 2007. С. 131).



Сегодня в России юные читатели о Майн Рида узнают, пожалуй, из Чехова. Его рассказ «Мальчишки» (он начинается запоминающимися фразами: «— Володя приехал! — крикнул кто-то на дворе. — Володичка приехали! — завопила Наталья, вбегая в столовую. — Ах, Боже мой!») читают (в тех семьях, где читают) обычно раньше, чем романы Майн Рида.

Второклассник-гимназист привез с собой на каникулы товарища, и тот глубоко поражает своим поведением Володиных сестер: «Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них исподлобья. После вечернего чая случилось, что его минут на пять оставили одного с девочками. Неловко было молчать. Он сурово кашлянул, потер правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил:

— Вы читали Майн Рида?

— Нет, не читала... Послушайте, вы умеете на коньках кататься?»

Но Чечевицын, погруженный в свои мысли, Кате не отвечает.

«Он еще раз поднял глаза на Катю и сказал:

— Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут.

Чечевицын грустно улыбнулся и добавил:

— А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это москиты и термиты.

— А что это такое?

— Это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?

— Господин Чечевицын.

— Нет. Я Монтигомо Ястребиный Коготь, вождь непобедимых».

Господин Чечевицын потому грустно улыбается, что он-то знает, кто он и какова его дальнейшая судьба, а девочки-то этого не знают. Его жребий брошен — он со своим одноклассником, второклассником Володей (тогда в гимназию поступали обычно в девять лет — после подготовительного класса, так что друзьям примерно по десять-одиннадцать лет) в ближайшие дни бежит в Америку. У них «уже все готово: пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и четыре рубля денег».

Майн Рида активно стали издавать в русских переводах в 1860-е годы. И в конце XIX — начале XX века российские гимназисты, можно сказать, толпами бежали в Америку, начитавшись именно Майн Рида — пожалуй, он потеснил Фенимора Купера, пришедшего в Россию с его Кожаным Чулком (он же Великий Змей, Следопыт, Зверобой и так далее) немного раньше.

Будущий писатель родился в 1818 году в Ирландии. Он должен был стать, как и его отец, священником. Но этому препятствовал его воинственный темперамент: он мечтал о подвигах. В двадцать два года уехал в Америку. Был там профессиональным охотником; объехал все окраины Америки, посмотрелся на людей и на животных и начал писать...

Мне не очень-то удобно писать о личной жизни Майн Рида, обращаясь к подросткам. В его биографии есть щекотливые моменты. И меня уж точно обругают суровые к моим сочинениям женщины — детские критикессы — на этот раз за то, что я предлагаю вашему вниманию дурные и потому, возможно, заразные примеры.

Ну, была не была! Все-таки я решила не скрывать от своих юных читателей, что когда Майн Риду стукнул тридцать один год, он влюбился — с первого взгляда! — в тринадцатилетнюю Элизабет Хайд... А когда ей исполнилось пятнадцать — женился... И они прожили в люб-

ви и согласии тридцать пять лет — до его смерти. И сто с лишним лет спустя, в 1963 году, замечательный польский поэт и философ Чеслав Милош напишет, что она «была, как теперь видно, личностью незаурядной», поскольку именно ее книга 1890 года «Майн Рид, воспоминания о его жизни» «остается — тем более что монографий о Риде пока не написано — важнейшим источником информации» о нем.

«Мне было лет десять, когда я наткнулся на сундучок отцовских сокровищ, собранных им в гимназические годы. Он был набит томиками Майн Рида в русских переводах. Сражаясь с алфавитом (напомню, что польский язык использует латиницу. — М. Ч.), я читал подписи под картинками, это была моя первая русскоязычная книга, — рассказывает Чеслав Милош (перевод Б. Дубина); в гимназические годы его отца Польша была частью России, юные поляки учились в русских гимназиях и читали также и по-русски. — ...Он околдовывал не только русских, но и польских читателей, и я помню себя, бредущего из библиотеки вверх по виленской улице Мала Погулянка с книгой Рида под мышкой: рукав перехваченного ремнем кожушка, серый зимний день, посередине улицы, лежа на животе и правя ногой как рулем, несутся вниз на санках ребята. Такие подробности обычно западают в память, если минуты, когда ими живешь, окрашены сильным чувством. От груза под мышкой сладко замирало сердце: это был заветный клад».

———— 2 ————

Один из многочисленных романов Майн Рида «Затерянные в океане» начинается не с человека, а с птицы. Для этого романиста мир природы — животных, зверей, растений — совсем не второстепенен по сравнению с жизнью людей.

«Ширококрылый морской коршун, реющий над просторами Атлантического океана, вдруг замер, всматриваясь во что-то внизу. Внимание его привлек маленький плот, размером не больше обеденного стола. Два небольших корабельных бруса, две широкие доски с несколькими небрежно брошенными на них полотнищами парусины да две-три доски поуже, связанные крест-накрест, — вот и весь плот.

И на таком гиблом суденышке ютятся двое людей: мужчина и юноша лет шестнадцати. Юноша, видимо, спит, растянувшись на куске мятой парусины. А мужчина стоит и, прикрыв глаза от солнца ладонью, напряженно всматривается в безбрежные дали океана.

У ног его валяются гандшпуг...»

Если кто не знает и нет под рукой словаря: гандшпуг, или аншпуг — это рычаг для передвижения тяжестей на корабле.

«...два лодочных весла, кусок просмоленного брезента, топор; ничего больше на плоту не увидеть даже зоркому глазу альбатроса».

Нельзя оторваться, читая, как люди с корабля, потерпевшего крушение, стремятся спастись.

А кто лучше Майн Рида расскажет об обитателях морских глубин?

«...Еще в самые давние времена, когда люди впервые стали плавать по морям и океанам, они с изумлением наблюдали одно явление... Рыба, существо, которому самой природой положено всегда пребывать в воде, выскакивает вдруг из глубин океана на поверхность и совершает прыжок чуть ли не с двухэтажный дом!..

Стайку долгоперов, поднявшихся в воздух, по ошибке легко принять за белокрылых птиц. Но сверкающий — особенно на солнце — блеск чешуи говорит о том, что перед нами рыбы.

Какое это очаровательное зрелище! ...Сколько раз долгие часы скуки, томящие пассажира корабля, когда он

сидит на корме, неустанно глядя на бесконечное водное пространство, сразу сменялись веселым оживлением при виде стайки летучих рыб, внезапно, сверкая серебром, поднявшихся из глубин океана!»

Только представьте себе — сидишь себе на палубе океанского парохода — и вдруг летит стая рыб!

Да еще, оказывается, существуют разные их виды...

«Один из этих видов — летучка европейская — водится не только в умеренных и тропических частях Атлантического океана, но и в Средиземном море. Эта пятнисто-бурая рыба достигает полуметра в длину. Ее огромные грудные плавники с острыми лучами придают головастой рыбе странный вид: во время полета она выглядит колючей “растопырой”.

Другой вид летучек — летучка восточная — живет в Индийском океане.

Выскакивая из воды, летучки пролетают до ста метров и опускаются на воду. Нужно сказать, что летают они тяжеломерно».

Ага, тяжеломерно!.. Сто метров над водой!

В романе Майн Рида матрос и пятнадцатилетний подросток должны погибнуть от голода и жажды — у них нет ни капли пресной воды.

Но тут он натываются в безбрежном океане — представьте себе! — на еще одну подобную парочку — с того же потонувшего парохода.

Это африканец, которого прозвали Снежок; он был невольником, потом стал свободным. Эпоха Майн Рида — эпоха, когда из Африки в Америку еще возят людей, которых насильно сделали рабами. Сейчас слово «негр» употреблять не принято, потому что те, которых так называют, считают это слово обидным и просят называть их «темнокожими». Но Майн Рид — яростный противник любой дискриминации, в том числе расовой, — употребляет слово «негр», как Марк Твен, как многие другие американские и английские

писатели той далекой эпохи, безо всякого дурного намерения. И мы, конечно, не будем заменять это слово — ведь мы знаем, что мы, как и он, все равно не расисты.

Этот Снежок сумел спасти восьмилетнюю девочку, которую ему поручили отвезти в Америку. И вот он с маленькой девочкой на руках посреди океана — «на нескольких деревянных обломках, без еды, без капли питьевой воды. Ужасное положение, от которого самый мужественный человек может впасть в полное отчаяние!»

И дальше — весьма важные и интересные, по-моему, слова: «Но Снежок не знал, что значит отчаиваться».

Не знал, да и все тут! Не получил, значит, нужную дозу отчаяния в детстве. Это неплохо, согласитесь, — просто не знать, что такое отчаяние, страх... Не подавлять в себе эти очень плохие, недостойные мужчины чувства, а вообще их не знать!

И пошли приключения за приключениями...

### ———— 3 ————

Роман «Всадник без головы», которым сто лет зачитывались все гимназисты, первой же фразой начинается, как и «Затерянные в океане», не с людей, а с животных. Описанных так, как другие писатели описывают людей. И даже лучше. Но сразу вслед за этим — нечто страшное и таинственное...

«Техасский олень, дремавший в тиши ночной саванны, вздрагивает, услышав топот лошадиных копыт.

Но он не покидает своего ложа, даже не встает на ноги. Не ему одному принадлежат эти просторы — дикие степные лошади тоже пасутся здесь по ночам. Он только слегка поднимает голову — над высокой травой показываются его рога — и слушает: не повторится ли звук?



Снова доносится топот копыт, но теперь он звучит иначе. Можно различить звон металла, удар стали о камень.

Этот звук, такой тревожный для оленя, вызывает быструю перемену в его поведении».

Поясним для тех, кто еще не понял: олень слышит звук подков! Недалеко — подкованная лошадь. А значит — человек. То есть — скорее всего охотник с ружьем, несущим смерть.

«...Он стремительно вскакивает и мчится по прерии... В ясном лунном свете южной ночи олень узнает злейшего своего врага — человека. Человек приближается верхом на лошади.

Охваченный инстинктивным страхом, олень готов уже снова бежать; но что-то в облике всадника — что-то неестественное — приковывает его к месту.

Дрожа, он почти садится на задние ноги, поворачивает назад голову и продолжает смотреть — в его больших карих глазах отражаются страх и недоумение.

...Может быть, оленя испугал всадник? Да, это он пугает и заставляет недоумевать — в его облике есть что-то уродливое, жуткое.

Силы небесные! У всадника нет головы!

Это очевидно даже для неразумного животного. Еще с минуту смотрит олень растерянными глазами, как бы

силься понять: что это за невиданное чудовище? Но вот, охваченный ужасом, олень снова бежит. ...Не обращая внимания на убегающего в испуге оленя, как будто даже не заметив его присутствия, всадник без головы продолжает свой путь.

Он тоже направляется к реке, но, кажется, никуда не спешит, а движется медленным, спокойным, почти церемониальным шагом.

Словно поглощенный своими мыслями, всадник опустил поводья, и лошадь его время от времени пощипывает траву.

...Кажется, что он во власти каких-то глубоких чувств и мелкие происшествия не могут вывести его из задумчивости. Ни единым звуком не выдает он своей тайны. Испуганный олень, лошадь, волк и полуночная луна — единственные свидетели его молчаливых раздумий».

На его плечах — широкий мексиканский плащ, который называется серапе. «Защищенный от ночной сырости и от тропических ливней, он едет вперед, молчаливый, как звезды, мерцающие над ним...»

Сотни тысяч, если не миллионы читателей романа мучительно пытались додуматься, что это за явление — всадник без головы? Ведь это не сказка. Значит, он на самом деле скачет по американской степи, покрытой высокой сочной травой, — саванне?..

«Впереди, до самого горизонта, простираются безграничные просторы саванны. На небесной лазури вырисовывается силуэт загадочной фигуры, похожей на поврежденную статую кентавра; он постепенно удаляется, пока совсем не исчезает в таинственных сумерках лунного света...»

А в конце романа больного, лежащего без сознания человека судят судом Линча (в середине XIX века в Америке еще могли убить человека по приговору толпы) и хотят тут же повесить. Но некоторые не верят, что именно он — убийца. Они требуют доказательств у того, кто больше всех настаивает на казни.



«— Есть они у вас, мистер Кассий Колхаун? — спрашивает из толпы чей-то голос с сильным ирландским акцентом.

— ...Видит бог...» (издание советское, поэтому Бог там пишется с маленькой буквы, хотя его положено писать с большой — как имя собственное) «...доказательств больше чем достаточно. Даже защитники из его собственных глупых соотечественников...

— Возьмите свои слова обратно! — кричит тот же голос. — Помните, мистер Колхаун, вы в Техасе, а не на Миссисипи! Запомните это или ваш язык не доведет вас до добра!

— Я вовсе не хотел кого-нибудь оскорбить, — говорит Колхаун, стараясь выйти из неприятного положения, в которое попал из-за своей антипатии к ирландцам».

Довольно трудно понять, как можно испытывать антипатию не к какому-то человеку, а к целой нации, живущей на земле. Ведь Земля — общая!

Слово «антипатия», как известно, значит — неприязнь, когда кто-то кому-то сильно несимпатичен. Вообще-то так в жизни бывает, и ничего тут не поделаешь. Несимпатичен, пожалуй, даже антипатичен один какой-то человек. Но как может быть антипатична целая нация? Ведь не может быть, чтобы все до одного ирландца делали что-то точно плохое?

— 4 —

Чеслав Милош рассказывает, как в 1960-е годы, в каком-то московском разговоре, его американские знакомые были в полном замешательстве, когда узнали о невероятных тиражах Майн Рида на русском языке... «Они этого имени даже не слышали. Трудно их за это упрекать: в англосаксонских странах литература для юношества

настолько богата, что Майн Рид, конечно же, оказался заслонен потомками...»

Нам же в России ни к чему его забывать. Он ничуть не потерял своей увлекательности. Да и вообще его вклад в мировую литературу весьма велик. Во-первых, пишет Милош, «Майн Рид привил новый — я бы сказал, более пристальный — взгляд на природу». Во-вторых, именно он первым создал романтический облик Америки. «После Рида Америка лесов, прерий, мустангов и бизонов стала существовать уже независимо от него...»

И третье — то, пожалуй, о чем написал в последнем письме из африканских джунглей знаменитый путешественник и исследователь Африки Ливингстон: «Читатели книг Майн Рида — это тот материал, из которого получают путешественники».

## Раздел второй

Этих писателей читать можно всегда.

Но почему не узнать их пораньше?

### ВСТУПЛЕНИЕ

В этом разделе книжки «Не для взрослых» мы напоминаем о тех, чьи книги можно читать в любом возрасте, но обидно лишать себя возможности познакомиться с великими сочинениями мировой литературы прежде, чем прозвенит последний школьный звонок.

Начнем знакомство с ними с Мопассана.

А кто следующий?

Сошлемся здесь на детство и отрочество одного известного человека — на его тогдашний круг чтения.

Владимир Набоков — один из лучших русских писателей XX века, после революции вынужденно покинувший Россию в двадцать лет, — вспоминал: «Между десятью и пятнадцатью годами (то есть в возрасте тех самых читателей, к которым мы здесь и обращаемся. — М. Ч.) в Санкт-Петербурге я прочитал, наверное, больше беллетристики и поэзии — английской, русской, французской, — чем за любой такой же отрезок своей жизни. Особенно я наслаждался сочинениями Уэллса, По, Браунинга, Китса, Флобера, Верлена, Рембо, Чехова, Толстого и Александра Блока. Другими моими героями были Скарлетт Пимпернел, Филеас Фогг и Шерлок Холмс».

Значит, и спустя столетие сегодняшним подросткам не грех в том же возрасте ознакомиться с этими писателями. Чехов, Толстой, а также герой Конан Дойля Шерлок Холмс уже поставлены на наши предыдущие две полки. Для этой — третьей — мы выбрали из набоковского списка Флобера. И добавили Мопассана, который считал себя учеником Флобера, а также еще одного писателя, на это раз — американца.

Журналистка «Московской недели» — еженедельного приложения к «Известиям» — брала у меня интервью

в связи с выходом последней части моего детектива для подростков «Дела и ужасы Жени Осинкиной» — «Завещание поручика Зай-ончковского». Но, конечно, разговор дошел и до книжек «Не для взрослых! Время читать». Ирина Мак спросила меня:

— Будет ли у них продолжение? И что читать подросткам — тем, кому двенадцать-тринадцать? Когда Толкиен и «Гарри Поттер» уже прочитаны, а Сэлинджера оценить пока еще трудно (сужу по своему сыну)?

Вот на этот вопрос я могла ответить совершенно уверенно. Есть писатель, которого лучше всего впервые читать именно в обозначенные моей собеседницей годы — не раньше и не позже.

В то самое время, когда закладывается фундамент воли, выдержки, выносливости, умения стремиться к поставленной цели невзирая на препятствия. Когда надо тренировать свое умение вытерпеть, сцепив зубы, любые физические трудности — холод, голод, усталость. Словом — когда самое время закалять характер, а то можно и опоздать навсегда. Тут чтение Джека Лондона — незаменимое подспорье.

Просидевший много лет в сталинских лагерях Виктор Рубанович пишет: «Лондона я полюбил на всю жизнь, особенно его северные рассказы. В лагере я их не раз вспоминал, и мне это помогало одолевать трудности суровой северной природы».

И некоторым он оказывается нужным и интересным гораздо раньше, чем в 12—13. Егор Гайдар вспоминает: «...Я сам выбирал, что мне читать. Иногда отец мне мягко, неназойливо подсовывал какую-нибудь книжечку — Киплинга в шесть лет, Джека Лондона в семь лет... Никогда не навязывал».

Так или иначе — какой это прекрасный, захватывающий писатель, стоит, наверно, узнать пораньше.

*Этот раздел нашей книжки ведет Маша Чудакова (она же писала о «Джейн Эйр»), получившая свое образование на романо-германском отделении МГУ: там зарубежную литературу всегда изучали широко и основательно.*



ОПИСАТЕЛЬ НРАВОВ,  
ИЛИ ОЖЕРЕЛЬЕ ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ

— 1 —

Самый первый рассказ Ги де Мопассана, который я прочла в своей жизни, — это «Ожерелье». И никогда уже не могла его забыть — так мне было жалко героиню.

«Это была одна из тех изящных и очаровательных девушек, которые, словно по иронии судьбы, рождаются иногда в чиновничьих семьях. У нее не было ни приданого, ни надежд на будущее, никаких шансов на то, чтобы ее узнал, полюбил и сделал своей женой человек состоятельный, из хорошего общества, и она приняла предложение мелкого чиновника министерства народного образования.

Не имея средств на туалеты, она одевалась просто, но чувствовала себя несчастной, как пария, ибо для женщин нет ни касты, ни породы — красота, грация и обаяние заменяют им права рождения и фамильные привилегии.

Свойственный им такт, гибкий ум и вкус — вот единственная иерархия, равняющая дочерей народа с самыми знатными дамами... У нее не было ни туалетов, ни драгоценностей, ровно ничего. А она только это и любила, она чувствовала, что для этого создана»

И вот ее муж приносит со службы (из офиса, как теперь принято говорить) приглашение на бал. Госпожа Луазель покупает роскошное, приличествующее случаю платье — у мужа как раз были отложены четыреста франков на покупку ружья. Но тут выясняется, что платье нечем «оживить»!.. И хотя муж полагает, что зимой будет вполне элегантно приколоть к платью живые розы — и всего за десять франков, она не согласна с ним: «— Нет, не хочу... это такое унижение — выглядеть нищенкой среди богатых женщин».

И тогда любящий муж предлагает одолжить что-нибудь из драгоценностей у госпожи Форестье, богатой подруги, вместе с которой Матильда, как было принято в XIX веке во Франции, воспитывалась в монастыре. Матильда едет к подруге, та открывает ей свою шкатулку...

«Вдруг ей попало великолепное бриллиантовое ожерелье в черном атласном футляре, и сердце ее забилось от безумного желания». И она спросила подругу «нерешительно и боязливо:

— Можешь ты мне дать вот это, только это?

— Ну конечно, могу.

Госпожа Луазель бросилась на шею подруге, горячо ее поцеловала и убежала со своим сокровищем».

В день бала, возвращаясь домой под утро, Матильда теряет драгоценное ожерелье.

Супруги влезают в непосильные долги, покупают за 36 000 франков такое же новое и возвращают его хозяйке, ничего ей не рассказывая.

Отныне жизнь героев разделена на две неравных половины — до и после потери... Они рассчитали прислугу, поменяли квартиру — наняли мансарду под крышей. Каждый месяц надо было платить по вексялям, выпрашивать от-

срочки. Они работают не покладая рук. Мопассан размышляет: «Что было бы, если бы она не потеряла ожерелья? Кто знает? Как изменчива и капризна жизнь! Как мало нужно для того, чтобы спасти или погубить человека».

Так прошло десять лет. Долги выплачены. Женщины случайно встречаются. Госпожа Форестье едва узнает свою давнюю подругу: «Бедная Матильда, как ты изменилась!»

И когда узнает, какой жизнью и почему та жила все эти годы, в волнении хватается за руки — «Бедная моя Матильда!» И следующая ее фраза звучит поистине как гром среди ясного неба, переворачивая все содержание рассказа... Скорей открывайте любой томик новелл Мопассана — и все узнаете.

## — 2 —

Где де Мопассан прожил недолгую жизнь (1850—1893) — всего сорок три года. А творческая его жизнь закончилась и того раньше — последние годы были омрачены тяжелой болезнью. Всего за одиннадцать лет он успел написать шесть романов, более трехсот новелл (они объединены автором в сборники, каждый имеет свое название, и их так и можно читать — по очереди, в хронологической последовательности; а можно и взять в библиотеке его «Избранное»).

Писатель много путешествовал — по Италии, по Корсике. Тогда никакого туризма в помине не было, путешествовали на свой страх и риск, а места были дикие и даже опасные. Так появились три книги его путевых очерков. Их тоже читать интересно — все они основаны на реальных историях. Но начать советую все же с его новелл. А когда-нибудь потом — романы и очерки.

Родился он во французской провинции Нормандии в деревушке Этрета. Впоследствии, в конце Второй мировой войны, эти места стали известны всему миру благо-

даря высадке союзников СССР — англичан и американцев — в 1944 году.

Во времена же Мопассана этот городок был известен в основном своими скалистыми дикими пейзажами, запечатленными на картинах художников-импрессионистов (в том числе знаменитейшего Клода Монэ). Там прошло все детство писателя, кроме короткого времени, когда семья жила в Париже. Затем был развод родителей и возвращение матери с сыновьями в Нормандию. Писатель настолько полюбил свой край, что позже купил там дом и жил в нем почти до конца дней — лишь иногда проводя зиму в Париже (отсюда и романы, основанные на сюжетах из светской жизни).

Интерес к литературе прививала мать, Лора де Мопассан. Но в то же время он с детства был очень спортивным, дружил с рыбаками, удил с ними рыбу, лазал по скалам... Любовь к морю и к прогулкам на яхте так и осталась на всю жизнь. В конце концов Мопассан смог купить собственную яхту, которую назвал «Милый друг» — как один из своих романов.

В юности Мопассан пробовал писать стихи. Но поступил на факультет права в Парижский университет. Однако учению помешала франко-прусская война.

Война с Пруссией 1870—1871 годов стала для Франции настоящим народным бедствием. Была оккупирована треть страны, погибли тысячи людей. Напомню, что это случилось задолго до Первой мировой войны, и французы, как и все европейцы, еще не знали, какими могут быть войны...

В этой войне проявился героизм многих обычных до этого людей: они вовсе и не думали совершить подвиги — просто защищали свою любимую Францию... Для Мопассана война — одна из важнейших тем. Но говорит он о ней на необычных для литературы примерах: рассказывает не о боевых действиях, а о мести французов — жителей маленькой деревни — прусским солдатам за смерть мужа, отца или сына. Это новеллы «Старуха Соваж», «Дядюшка



Милон», «Пленные» и, конечно, рассказ «Пышка», с публикации которого и начался его литературный успех. (Был довольно известный советский фильм 1934 года по этому рассказу — в нем снимались Татьяна Окуневская и Фаина Раневская).

Рассказ этот лишь косвенно — о войне, а на самом деле — о бескрайнем эгоизме как бы добропорядочных людей, которые в буквальном смысле воспользовались наивностью и добротой простой деревенской девушки. Чрезвычайные обстоятельства показывают — и это станет обычным сюжетным ходом Мопассана — кто чего стоит, обнаруживают подлинные свойства людей.

### — 3 —

А как же писатель описывал мирную жизнь? В сегодняшней речи слова «нравоописательный», пожалуй, уже не встретишь. А раньше оно было в ходу. Нравоописательный фельетон, нравоописательный роман...

В сущности, Мопассан описывал нравы своей эпохи. Нравы французских крестьян, буржуа, отчасти — аристократов... Привычные опоры семейного устройства. Карьера, деньги...

В его прославленных новеллах и нескольких романах — французское общество последней четверти XIX века. Общество, так сказать, зрелого, устоявшегося капитализма. В нем нет уже того азарта, который гнал в первой половине века молодого Растиньяка — одного из главных героев Бальзака (умершего в 1850-м году) — «завоевывать Париж». Само деланье карьеры к тому времени, когда Мопассан вступил в литературу (1879), приобрело скучные, нередко малоприятные очертания. Деньги заняли в социальном устройстве свое прочное место. В глазах многих — огромное.

В сочинениях Мопассана у денег — своя функция: они проявляют человеческие характеры. У одних — об-

наруживают лучшие стороны души, у других — отвратительные, третьих — портят. В характерах же четвертых они вообще ничего не меняют: жизнь слишком важна и сложна, чтобы ставить ее в зависимость от денег. А если вы прочтете рассказ «Зонтик» — то поймете, как смешно иногда бывает смотреть на людей, так любящих деньги!

Это вообще одна из интересных черт сочинений Мопассана: он, так сказать, ставит деньги на место. Они не важны сами по себе — важно, в чьих они руках.

«— Мать моя, госпожа де Курсиль, была несчастная, робкая женщина, — повествует герой рассказа «Завещание», Рене де Бурневаль. — Муж женился на ней по расчету, и жизнь ее стала безысходной мукой. Нежная, чуткая, застенчивая, она вечно страдала от грубости того, кто должен был сделаться и моим отцом — мужлана из породы, именуемой сельским дворянством». Кроме рассказчика, у них еще два сына. «Братья мои, по примеру отца, были с нею грубы, не находили для нее ласкового слова и, привыкнув, что мать не ставят в доме ни в грош, относились к ней как к служанке.

Из всех сыновей лишь я любил ее по-настоящему, и она любила одного меня.

Мать умерла, когда мне исполнилось восемнадцать».

И вот вся семья собирается у нотариуса, он читает завещание (поскольку за матерью сохранена была ее часть состояния).

«Я помню все до мелочей, как если бы это было вчера. Посмертный бунт покойницы, этот клич свободы и протеста, вырвавшийся из могилы мученицы, жизнь которой принесли в жертву нашим нравам и которая из заколоченного гроба бросила отчаянный призыв к независимости, повлек за собой потрясающую сцену — грандиозную, трагическую и карикатурную».

В рассказе приводится весь текст завещания, прозвучавший для слушавших как удар грома или пушечный выстрел. Прочитирую только его фрагмент. «...Я страда-

ла всю жизнь. Муж женился на мне по расчету, он всегда презирал, третировал и обманывал меня.

Я прощаю его, но свободна от обязательств перед ним.

Мои старшие сыновья никогда не любили меня, не баловали вниманием и вряд ли почитали за мать.

При жизни я была для них тем, чем велел мне быть долг; по смерти я ничего им не должна. Узы крови, не скрепленные каждодневной привязанностью, — пустой звук. Неблагодарный сын — это не просто чужой человек, это преступник: он не вправе быть равнодушен к матери.

Я всегда боялась людей с их несправедливыми законами, бесчеловечными обычаями и гнусными предрассудками. Перед лицом Бога мне нечего больше страшиться. Умирая, я отбрасываю позорное лицемерие; я осмеливаюсь сказать то, что думаю, открыть и засвидетельствовать подписью тайну своего сердца».

Далее Рене узнает, чей он на самом деле сын, — и... Словом, рассказ небольшой, и все, что произошло сразу же после чтения завещания, вы узнаете, надеюсь, сами.

— 4 —

Мопассан умел загипнотизировать читателя с первой же строчки, приковать внимание читателя к каждому событию любого своего рассказа. Но это мастерство не дается от рождения. Пробовать свои силы он начал в тринадцать лет, и сначала его учителем была мать. Но потом его учили литературному мастерству известные литераторы того времени, и наконец Гюстав Флобер. Он говорил ученику: «Не знаю, есть ли у вас талант. В том, что вы принесли мне, обнаруживаются некоторые способности, но никогда не забывайте, молодой человек, что талант, — это только длительное терпение. Работайте».

И Мопассан послушался. Он писал во всех жанрах, но Флобер считал первые опыты непригодными для опубли-

кования. Мастер требовал учиться умению описывать облик и характер именно этого крестьянина, а кроме того, найти для этого единственно точные слова. «Какова бы ни была вещь, о которой вы заговорили, — имеется только одно существительное, чтобы ее назвать, только один глагол, чтобы обозначить ее действие, и только одно прилагательное, чтобы ее определить. И нужно искать до тех пор, пока не будут найдены это существительное, этот глагол и это прилагательное, и никогда не следует удовлетворяться приблизительным» — так излагал Мопассан советы мэтра. Но зато впоследствии Флобер говорил о его сочинениях: «Я скажу лишь, что это настоящий французский язык, ибо не знаю другой, лучшей похвалы».

Вот начало рассказа «В море»: «На днях газеты напечатали следующее сообщение: “Еще одно ужасное несчастье повергло в уныние обитателей нашего побережья. (...) Рыболовное судно под командой его владельца Жавеля при входе в гавань было отнесено к западу и разбилось о скалистое основание волнолома”.

Кто этот Жавель? Уж не брат ли однорукого? Если бедняга, смытый водой с палубы и, может быть, утонувший под обломками своего разнесенного в щепы судна, именно тот, о ком я думаю, значит, еще восемнадцать лет назад он стал очевидцем другой драмы, страшной и простой, как все драмы на море...»

И начинается уже рассказ об этой драме — и мы с замиранием следим: что же победит — любовь к брату, у которого руку зажалось сетью, или боязнь потерять ценную (она стоит денег!) рыболовную снасть?

Или — «Папа Симона». Мальчик стоит на коленях на берегу реки и читает молитву, готовясь покончить с собой. Но не может дочитать ее от рыданий.

«Вдруг тяжелая рука легла на его плечо, и чей-то звучный голос спросил:

— Кто тебя обидел, мальчуган?»

И тот объясняет «прерывающимся голосом:

— Они поколотили меня, потому что... у меня... нет папы... нет папы...»

И кузнец Филипп знакомится с его матерью, у которой дурная, но как выясняется, вовсе не оправданная слава. Далее в рамках короткой новеллы, как нередко у Мопассана, — содержание целой повести. И финал ее таков: «— Скажи своим товарищам, что твой папа кузнец Филипп и что он отдерет за уши всякого, кто посмеет тебя обидеть».

Рассказ «Плетельщица стульев» — раньше было такое ремесло, чинить сиденья соломенных стульев. Сейчас мало кто что-нибудь чинит, разве что некоторые дедушки и бабушки... На самом деле — рассказ о любви. О девочке, полюбившей мальчика «из хорошей семьи», потом ставшей плетельщицей стульев и дававшей ему деньги всю жизнь до самой смерти — просто так!

И еще рассказ о деньгах «В полях» — о том, как супруги-крестьяне продали одного из двух своих детей богатой бездетной семье. Тогда не было усыновления в современном понимании — можно было просто отдать ребенка в другую семью...

Вот Мопассан и предлагает нам всем поразмышлять, что лучше — жить бедно, но у своих мамы и папы, или в обеспеченной, но чужой семье...

## — 5 —

Мопассан — один из самых жизнелюбивых писателей во французской литературе. Он любил, как уже говорилось, путешествия, природу, вкусную еду, красивых женщин (сохранилась большая переписка со многими известными светскими дамами того времени) — и умел все это увлекательно описывать, а не просто прожигать жизнь. И так много написал за такую короткую жизнь!

В своем «Дневнике» он пишет: «Да, я жаждал всего и ничем не наслаждался! Мне бы жизненную силу все-

го рода человеческого, разум, отпущенный всем существам земным, все таланты, все силы и тысячи жизней вместо одной, ибо все манит меня, все соблазняет мою мысль...»

Потому и пересказать хочется все триста его новелл. Ведь каждая — это захватывающая история из жизни французов того времени. Мопассан писал о своих соотечественниках-французах, именно об их стиле жизни — и с чисто французским юмором, существовавшим уже и в средние века (помните Франсуа Рабле?). Ни в одной другой литературе нет, кажется, такого умения рассмешить читателя или зрителя.

Анатоль Франс — другой замечательный рассказчик, но уже начала XX века (о нем у нас еще пойдет речь позже), сказал о Мопассане: «Он обладает тремя величайшими достоинствами французского писателя — ясностью, ясностью и еще раз ясностью. ...Он пишет так, как живет хороший нормандский фермер, — бережливо и радостно».

А если воспользоваться словами героини самого Мопассана из романа «Жизнь», — он как бы показывает нам: «Вот видите, какова она — жизнь: не так хороша, да и не так уж плоха, как думается».

«Мы сидели в классе, когда вошел директор в сопровождении “новичка”, одетого в городское платье, и классного сторожа, несущего большой пюпитр. Кто спал, проснулся, и каждый встал с таким видом, словно его отвлекли от работы.

Директор подал нам знак сесть; потом, обращаясь к классному наставнику, сказал вполголоса:

— Господин Роже, рекомендую вам нового ученика; он поступает в пятый класс. Если своими занятиями и поведением он будет того заслуживать, мы переведем его в старшее отделение, где ему и следовало бы учиться по возрасту».

Прочитав эти строки, наш юный читатель или читательница подумает, что перед нами — книга о детстве и юношестве. Постепенно все яснее вырисовывается перед нами мальчик Шарль Бовари... Он вырос в деревне, в семье отставного военного фельдшера. Правда, его детству посвящено всего несколько страниц. Но в них Флобер настолько емко сумел уложить почти всю биографию своего героя, что возникает ощущение, будто прочитал первую часть толстого романа:

«Когда ему минуло двенадцать лет, мать настояла на том, чтобы его отдали в учение. (Напомню — школьное образование в ту эпоху не было обязательным: зависело от воли родителей. — М. Ч.) Образование его было поручено местному священнику. Но уроки были так мимолетны и случайны, что не могли принести большой пользы. Они давались урывками, на ходу, второпях между крестинами и похоронами; оба поднимались наверх, в комнату юре, и усаживались; мошки и ночные бабочки кружились вокруг свечи. Было жарко, ученик засыпал; да и сам наставник, сложив на животе руки, вскоре уже храпел

с открытым ртом.... Впрочем, учитель был доволен своим учеником и говорил даже, что у “молодого человека” хорошая память».

Еще две страницы — и перед нами вся остальная жизнь молодого Шарля, включая женитьбу, учебу на врача и начало врачебной деятельности в городке Тосте. И вот мы начинаем осознавать, что каким-то непонятным образом, мало-помалу, поначалу совсем-совсем незаметно, но автор затягивает нас в водоворот этой обыденной деревенской жизни. И вот уже, позабыв про собственную жизнь, про свою комнату, двор и класс, мы начинаем проживать все мелкие события рисуемой Флобером далекой от нас и во времени, и в пространстве жизни вместе с его героями. Да так, как будто это самые невероятные приключения, и самое главное — совсем уж непонятно отчего — нам очень интересно знать, что же будет дальше.

А дальше — и не ждите, долгое время не будет никаких событий. Максимум — старик Руо сломает ногу, придет за доктором Шарлем Бовари, тот блестяще справится с задачей, а старик (кстати, возраст его во время действия романа — не более 50 лет: тогда такие люди прочно находились в разряде стариков) всю жизнь будет слать ему индейку к празднику.

Но рано или поздно события все же начнутся — ведь у старика есть дочь Эмма...

«Молодая женщина, в голубом мериносовом платье с тремя оборками, встретила врача на пороге дома и ввела в кухню, где пылал веселый огонь. ...Шарля поразила белизна ее ногтей. Они были блестящими, суживающиеся к концам, глаже диеппских изделий из слоновой кости, и подстрижены в форме миндалей.... Прекрасны были ее глаза: карие, они казались из-под ресниц черными, и взгляд ее был устремлен на собеседника прямо, с чистосердечной смелостью». (Для сгорающих от любопытства девочек поясню, что меринос — это особого плетения ткань из шерсти мериносовых — тонко-





рунных — овец; тонкая и в то же время теплая, близкая к кашемиру.)

Постепенно мы узнаем о мечтах Эммы: «Целых полгода пятнадцатилетняя Эмма пачкала себе руки пыльным хламом старых библиотек. Позже Вальтер Скотт влюбил ее в старину, заставил мечтать о кованных ларях, караульнях и менестрелях. Ей хотелось жить в старинном замке, подобно этим дамам в корсажах с длинной талией, которые под трилистниками готических окон проводили, пригорюнясь, целые дни, все поджидая и высматривая, не покажется ли за дальним полем всадник с белым пером, на вороном коне».

Дальше событий — в старом, романтически-приключенческом смысле — еще меньше, если, конечно, не счи-

тать за события подробное, на протяжении пяти страниц, описание того, как привязанность Шарля к Эмме растет. И дело кончается свадьбой — на свадебном столе «второй ярус составляла башня-торт, окруженная бойницами из цукатов, миндаля, изюма, апельсиновых ломтиков; и наконец, на верхней площадке — подобии зеленого луга со скалами, озерами из варенья и лодочками из ореховой скорлупы — маленький амур качался на шоколадных качелях, столбы которых расцветали двумя бутонами живых роз».

Но чем дальше, тем больше Эмма не радуется новому своему положению — казалось бы, мечте всякой барышни, — а грустит. Все увеличивается и увеличивается разрыв между мечтами и реальностью («Боже мой, зачем я вышла замуж?»).

А дальше вы прочтете знаменитое описание бала в Вобьессаре, куда супруги были приглашены, и что из события этого потом приключилось....

Но отвлечемся от жизни Эммы на какое-то время, чтобы представить себе, каким же был тот, кто создал ее и сказал знаменитую фразу: «Эмма Бовари — это я».

Не забудем — знаменитый роман Флобера о любви и гибели женщины из-за любви (попавший в середине XIX века под уголовное преследование за свою якобы непристойность) вышел на двадцать лет раньше «Анны Карениной» Льва Толстого!

## — 2 —

Гюстав Флобер родился в 1821 году в семье врача и с ранних лет поглощал романы писателей-романтиков. Попытавшись изучать право, он окончательно понял, что его призвание на всю жизнь — это литература. И больше он от намеченного пути не отступал, писал, писал и писал, за что и получил прозвище «человек-перо». Он сам сказал: «Я — человек-перо, я существую из-за него, ради него, посредством него».



Вообще это большая редкость — молодой Флобер много писал и ничего не печатал. Он считал, что в его драмах, новеллах, повестях слишком просвечивает его личность, его эмоции. А он хотел писать уже совсем иначе. Был расцвет эпохи романтизма с его особым вниманием к личности автора. Но Флобер, как всякий большой писатель, уже предощущал конец этой эпохи и близость новой — ему суждено было стать одним из ее открывателей. Он говорил, прочитав «Хижину дяди Тома» Бичер-Стоу: «Меня все время раздражали авторские рассуждения. Разве нужны какие-нибудь рассуждения по поводу рабства? Покажите его — вот и все!»

Совершив несколько путешествий, главное из них — по Нилу, он наконец ясно понимает: то, что он писал до

этого (но еще, повторю, не печатал), включая прекрасные путевые заметки — это совсем не то, что он хотел бы писать. Точнее — не то, с чем он хотел бы навсегда остаться в литературе. Да, путешествие из Египта в Италию — это тоже многие сотни страниц. Правда, для публикации пришлось бы сократить много разных дорожных ему эпизодов, особенно эротического характера. Но главное — Флобер хотел войти в литературу совершенно с другим произведением — *современным романом*. Ему то он и решает посвятить, если понадобится, пять, а то и десять лет жизни: главное для него — результат.

Работа шла медленно — только написание плана будущего романа заняло шесть недель. Сюжет был взят нарочно обыденный — писатель хотел доказать, что превратит свой роман в шедевр не перипетиями сюжета, а только лишь с помощью новейших, изобретенных им самим художественных средств. В этом-то и была его новизна.

На работу над романом ушло почти семь лет — с 1851 по 1857. Он пишет своей подруге Луизе Коле: «Мне бы хотелось написать книгу ни о чем, без внешних связей, которая бы держалась только внутренней силой своего стиля, как наша земля. Которая держится в воздухе сама по себе».

Повторим медленно эти слова — держалась бы внутренней силой своего стиля... В этом — суть литературы. Настоящий писатель заставляет нас читать не отрываясь рассказ о том, что нам стало бы скучно слушать «в жизни» на третьей минуте.

### — 3 —

Литература — совсем особый мир. Над входящим туда начинающим писателем нависают глыбами великие предшественники. Как не стать подражателем? Как внести в этот мир свое, новое, еще никем не сказанное?

Над любим, кто дерзал стать французским романистом во второй половине XIX века, нависала громада романов Бальзака — он умер в 1850 году, прожив всего 50 лет и сумев написать знаменитую «Человеческую комедию», в которую вошло 90 произведений! Узнав о его смерти, Флобер написал приятелю: «Всегда печально, когда умирает человек, которым восхищался. Была надежда познакомиться с ним впоследствии и заслужить его любовь. Да, это был сильный человек, который дьявольски понял свою эпоху».

Флоберу казалось очень важным покончить с «бальзаковской» моделью романа — а заодно и с так называемым реализмом (который до сих пор всякий толкует на свой лад). «Правдивое» изображение жизни во всех ее натуральных подробностях казалось ему еще более фальшивым, чем романтическая буря эмоций: ведь фотография все равно будет точнее. Он противопоставляет ему свою «научную» литературу — с набором сложных, изобретенных им самим грамматических приемов. Например, с помощью нагромождения несовершенных глаголов и знаменитым «и» («Et») в начале фразы писатель добивается самых разных эффектов — от демонстрации банальности Шарля до описания монотонности жизни в провинции и описаний природы.

Флобер продолжал эксперименты над стилем — появилась повесть «Простое сердце» — суховато изложенная душераздирающая по сути история пожизненного душевного одиночества женщины, всегда самоотверженно служившей другим людям.

Появляются новые повести и романы — «Саламбо», «Воспитание чувств», «Искушение святого Антония» (на каждый из них уходили годы — автор добивался совершенства) — но Флоберу все же суждено будет остаться в памяти последующих поколений читателей и писателей именно автором «Мадам Бовари».

Кроме литературы, он еще вынужден был заниматься и совсем другим — например, он продал ферму в Довиле (приносящую ему стабильный доход и позволявшую безбедно жить), чтобы спасти свою племянницу Каролину от разорения, — он воспитал ее как дочь после смерти любимой сестры. После этого он оказался без источника дохода и писал уже и для заработка....

Была и любовь — к не очень одаренной и вряд ли способной глубоко его понять поэтессе Луизе Коле. «Предоставим империи идти своим путем, — писал он ей, — закроем двери, поднимемся выше в нашу башню из слоновой кости (мало кто помнит сегодня, что это выделенное нами выражение, обозначающее бегство от мирской суеты в уединение, принадлежит Флоберу. — М. Ч.), на последнюю ступеньку, как можно ближе к небу. Там порой холодновато, не правда ли? Ну и что ж, зато видишь ясное сияние звезд и не слышишь больше болванов».

С годами, оставшись один после смерти матери и близких друзей — Луизы Коле и писательницы Жорж Санд (вернувшись с ее похорон, он скажет: «Мне кажется, что я второй раз хоронил свою мать...») — он стал все больше уединяться в своем доме в Круассе.

С большим энтузиазмом воспитывает Флобер будущего писателя, молодого Ги де Мопассана — он был одновременно сыном его подруги Луизы Пуатевен и племянником умершего друга. Молодой человек становится его учеником, которому учитель не разрешает публиковать тексты до тех пор, пока они не достигнут настоящего совершенства. В итоге Флобер достигает и этой цели — Мопассан становится известным после публикации «Пышки».

Заметим, что рассказ вызовет такой же скандал, как и в свое время «Мадам Бовари»!

При этом Мопассан писал: «Лично я не способен полюбить по-настоящему свое искусство. Я не могу помешать

себе презирать мысль — настолько она слаба, и ее форму, настолько она несовершенна». Пожалуй, это сосущее чувство неудовлетворенности в бесконечном стремлении к совершенству он унаследовал от своего наставника.

Кроме романов, в архивах осталось еще более четырех тысяч писем Флобера. Даже если бы не осталось ни романов, ни повестей — они уже сами по себе могли бы его прославить. Живой узнаваемый стиль, обилие мыслей... Это еще и дневник его творчества, где он пишет о задачах, о новом смысле, который он придавал идее быть писателем. «Надо ли давать собственную оценку моим героям? Нет, тысячу раз нет! Я не имею на это права. Если читатель не извлекает из книги морали, которая в ней содержится, значит, читатель идиот, или книга фальшива с точки зрения точности. Ибо если книга правдива, то она и хороша. Некоторые непристойные книги даже не могут считаться аморальными, так как им не хватает правдивости в изображении» (письмо к Жорж Санд от 6 февраля 1876).

«Я с нежностью думаю о тех, еще не родившихся читателях, — написал он как-то, — которых будут волновать те же вещи, что и меня. Книга создает вечную семью из всего человечества. Все, кто будет жить вашими мыслями, — это дети, сидящие вместе с вами у семейного очага».

«Юкон» — это завораживающее слово я услышала от отца еще до школы. А было это так. Я часто просила папу (филолога, а уже много позже — и писателя Александра Павловича Чудакова) рассказать (а не почитать!) на ночь сказку.

То, что они у него непременно есть в запасе, почему-то было мне известно *всегда*. Но откуда он их брал, я тогда не знала.

И вот он садится в темноте на кровать рядом со мной, и звучат уже знакомые слова, что-то вроде пароля: «А потом они долго-долго шли по Юкону...» А мне очень нравились приключения *тех, кто шел по Юкону*.

И когда в возрасте одиннадцати лет (во время летних каникул после пятого класса) в моем распоряжении оказалось библиотечное собрание сочинений Джека Лондона, — я вдруг открываю какой-то первый попавшийся рассказ (это был рассказ «Любовь к жизни») и будто читаю продолжение той детской сказки:

«Прихрамывая, они спускались к речке, и один раз тот, что шел впереди, зашатался, споткнувшись посреди каменной россыпи. Оба устали и выбились из сил, и лица их выражали терпеливую покорность — след долгих лишений. Плечи им оттягивали тяжелые тюки, схваченные ремнями. Каждый нес ружье. Оба шли сгорбившись, низко нагнув голову и не поднимая глаз».

Наконец-то я узнала, что такое Юкон!

Оказывается, до появления рассказов Джека Лондона о существовании реки Юкон не очень-то и знали (во всяком случае, в России).

Итак: территория реки Юкон, где в 1897 году было найдено золотое месторождение, названное Клондайк, лежит в зоне Северного полярного круга, где темпера-



тура воздуха в зимнее время может доходить до  $-50$  градусов.

Сейчас ясно — если бы писатель Джек Лондон, сам родившийся в жаркой Калифорнии, не поехал туда попытать счастья — как и другие золотоискатели, — никто бы не описал то, что там происходило. И мы бы никогда не прочитали об этих захватывающих приключениях!



Так и бывает в литературе, да и вообще в жизни.

Забегая вперед, скажу, что в то лето я прочитала все тома собрания сочинений Джека Лондона, чего и вам желаю. Даю слово чести — это было гораздо интереснее, чем ходить в кино и даже играть в компьютерные игры. Ведь приключения он описывает самые невообразимые, и герои как-то ухитряются иногда и выживать! Как же им это удавалось? В каждом рассказе — своя история выживания: выживать приходилось и собакам, и людям, и иногда, увы, одни съедали других...

Но лаконичный стиль писателя не дает нам возможности долго останавливаться на подробностях гибели героев — вперед, время не ждет, северное лето такое короткое...

В одиночку, без взаимовыручки за полярным кругом выжить сложно: «Жители Севера рано познают тщету слов и неоценимое благо действий» — это из рассказа «Белое безмолвие».

Действуют без промедления и все без исключения постоянно принимают мужественные решения — и люди, и очеловеченные писателем собаки. Так, в любимой многими поколениями повести «Белый клык» клондайкский волк превращается в мирную калифорнийскую собаку, главу щенячьей семьи. А в повести «Зов предков» наоборот — под влиянием суровой жизни собака, родившаяся на юге, постепенно превращается в волка...

«Бэк не читал газет и потому не знал, что надвигается беда — и не на него одного, а на всех собак с сильными мышцами и длинной, теплой шерстью, сколько их ни было от залива Пюджет до Сан-Диего. И все оттого, что люди, ощупью пробираясь сквозь полярный мрак, нашли желтый металл, а пароходные и транспортные компании растребули повсюду об этой находке, — и тысячи людей ринулись на Север. Этим людям нужны были собаки крупной породы, сильные, годные для тяжелой работы, с густой и длинной шерстью, которая защитит их от морозов.

Дальше Бэка продают в рабство к золотоискателям: «Первый день на берегу в Дайе показался Бэку жутким кошмаром. Здесь беспрестанно что-нибудь поражало и пугало: его внезапно из центра цивилизации перебросили в какой-то первобытный мир. Окончилось блаженное и ленивое существование под солнцем юга, когда он только слонялся без дела и скучал. Здесь не было ни отдыха, ни покоя, и ни на миг Бэк не чувствовал себя в безопасности. Здесь все было в движении и действии, царила вечная сумятица, и каждую минуту грозило увечье или смерть. В этом новом мире следовало постоянно быть на чеку, потому что и собаки и люди совсем не были похожи на городских собак и людей. Все они были дикари и не знали других законов, кроме закона дубины и клыка».

А что было дальше — верю, вы узнаете сами.

Еще немного о мужественных решениях: ведь всем нам, за редкими исключениями, не мешает учиться их принимать. Автор здесь не делает большого различия между взрослыми и детьми, собаками и волками: ему важно рассказать нам, что это единый мир. И проглотив на одном дыхании рассказ «На берегах Сакраменто», ясно понимаешь: мужественное поведение — это просто-напросто адекватное поведение человека в свалившийся на него ситуации!

Итак, читаем середину рассказа про мальчика Джерри (а зачем ему понадобилось чинить трос — это ищите в начале рассказа).

«Он, не задумываясь, решил, что надо делать. Ему было всего четырнадцать лет, этому худощавому, подвижному мальчугану, но он вырос в горах, отец посвятил его в разные тайны матросского искусства, и он совсем не боялся высоты.

В ящике с инструментами около барабана он разыскал старый гаечный ключ, небольшой железный прут и целую связку почти нового манильского троса... Седло, которое Джерри себе устроил, было проще простого: он перекинул канат через неподвижный трос, на котором

висела пустая вагонетка, и, затянув его узлом, сделал большую петлю; сидя в этой петле, он без труда мог достать руками до троса и держаться за него. А вверху, где петля должна была тереться о металлический трос, он подложил свою куртку, потому что, как ни искал, нигде не мог найти тряпки или старого мешка.

Наскоро закончив все эти приготовления, Джерри повис в своей петле и двинулся прямо в бездну, перебирая руками трос... Не подъем затруднял его, а страшный ветер. Когда бешеные порывы ветра швыряли Джерри то туда, то сюда и чуть не переворачивали кругом, он чувствовал, что сердце у него замирает от страха. Ведь трос совсем старый... а вдруг он не выдержит его тяжести и этих бешеных натисков ветра — не выдержит и оборвется?»

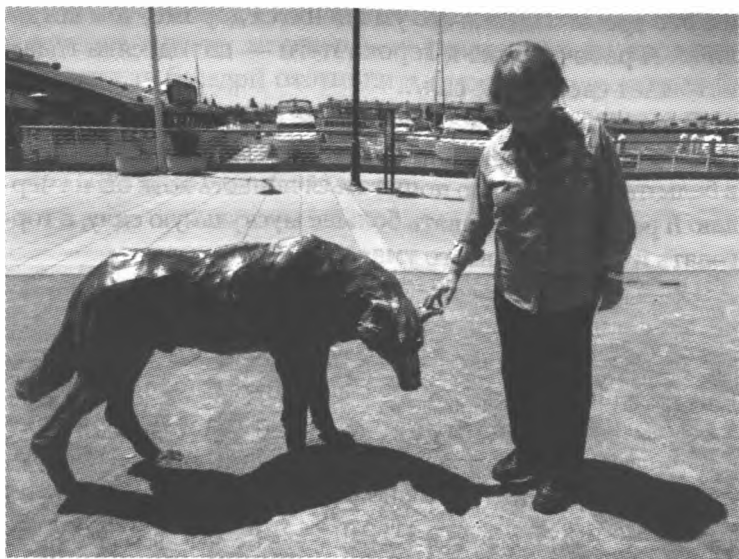
Всеми этими действиями, описанными очень подробно и очень волнующе, он спасал двоих взрослых людей. И спас.

«Джерри соскочил на землю и закрепил свою вагонетку. Он проделал это спокойно и тщательно. А потом вдруг — совсем уже не по-геройски — бросился на землю у самого барабана, невзирая на бурю и ливень, и громко зарыдал. Причин для этого было немало: нестерпимая боль в изодранных руках, страшная усталость и сознание, что он наконец освободился от ужасного нервного напряжения, не отпускаявшего его несколько часов, и еще — горячее, захватывающее чувство радости оттого, что Спиллен с женой теперь в безопасности.

Они были далеко и, понятно, не могли его поблагодарить, но он знал, что где-то там, за разъяренной, бешущейся рекой, они сейчас спешат по тропинке к шахте “Клеверного Листа”.

Джерри, пошатываясь, побрел к дому. Белая ручка двери окрасилась кровью, когда он взялся за нее, но он даже не заметил этого.

Мальчик был горд и доволен собой, потому что он твердо знал, что поступил правильно; а так как он еще не



умел хитрить, то не боялся признаться самому себе, что сделал хорошее дело».

И прежде, чем вы бросите все другие дела и сделаете маленький первый шаг — *начнете читать* этого писателя с любого рассказа, — я еще немного расскажу вам о необыкновенной жизни самого Джека Лондона. Ведь лучшими качествами своих героев обладал и он сам.

— 2 —

В 1906 году, будучи уже известным писателем, автором десятков произведений, Джек Лондон пишет краткую автобиографию и рассказывает, как после многих лет изнурительного физического труда почти случайно открыл для себя, что «человеческий мозг тоже является товаром, и этот товар тоже имеет свои особенности. Торговец мозгом в пятьдесят-шестьдесят лет находится в расцвете сил,

и в это время изделия его ума ценятся дороже, чем когда-либо. А рабочий уже к сорока пяти — пятидесяти годам истощает свой запас сил...

Я находился в подвальном этаже общества и считал это место не подходящим для жилья. Если уж мне нельзя жить в бельэтаже, то стоило попытаться попасть хотя бы на чердак. Я решил не продавать больше мускульную силу, а торговать изделиями своего ума».

Приемный сын фермера Джона Лондона, родившийся в Калифорнии в городе Сан-Франциско, с четырнадцати лет работавший разносчиком газет, рабочим на консервной фабрике, затем матросом на промысловой шхуне, в возрасте семнадцати лет впервые участвует в конкурсе на лучший очерк и получает первую премию за «Тайфун у берегов Японии» (опубликован 12 ноября 1893 года).

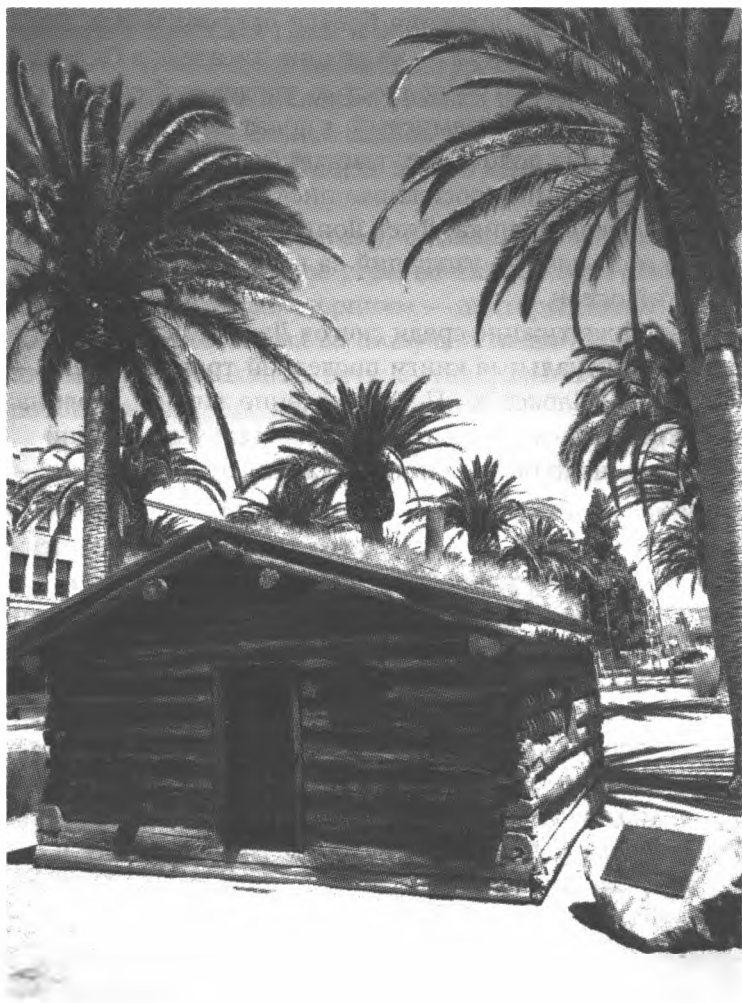
Но знаний явно не хватает — и в восемнадцать лет Джек поступает в среднюю школу (до этого он окончил в тринадцать лет так называемую начальную). Ухитрившись окончить курс за год, в 1896 году поступает в университет, хотя и ненадолго — из-за необходимости содержать родителей, их семью. Поработав еще во многих местах, в том числе в прачечной, и побродяжничав по Америке вдоль и поперек — сначала от Калифорнии до Бостона, а затем и с севера на юг, — Джек переполнился впечатлениями и характерами. Они требовали перенесения на бумагу.

Тем не менее он не сел за письменный стол, а двинулся на Клондайк — там только что были открыты богатые месторождения золота.

И вот именно там Джек Лондон открыл себя как писатель и понял, о чем же он хочет писать. И главное — как.

Так о чем же? Скитания, тюрьма, «Нет бога, кроме Случая, и Удача — пророк его» — так перефразировал он однажды известное изречение. Той важнейшей в его жизни зимой 1897/1898 годов случай и удача сопутствовали юному золотоискателю. Золота он не нашел, зато именно в тех краях встретил героев своих будущих рассказов.

Долгой арктической ночью — когда солнце не появляется в течение многих месяцев — в хижине Джека проводили время за беседой охотники и искатели приключений, индейцы и золотоискатели, бродяги. Рассказанные ими истории Джек записывал и запоминал. Так возникли сюжеты многих его рассказов.



Сейчас эта хижина почти в первозданном виде стоит на площади имени Джека Лондона вблизи портовой набережной в Окленде. Полвека назад один канадский поклонник писателя стал разыскивать некий легендарный его автограф на обломке дерева. Разыскал. Потом разыскал хижину, а в ней — одно из бревен, из которого и был вырезан кусок дерева с автографом. И еще — печка, сковородка, лопата... Теперь из хижины сделаны две, в каждой — половина бревен оригинальных. Одна стоит в Канаде, другая — на родине писателя в Окленде. И совсем недалеко — полностью уцелевший совсем небольшой салун: приземистый, с покатым после давнего землетрясения полом, полутемный (как и был!) кабачок, в котором часами просиживал писатель. А в десятке метров — два памятника: Джек Лондон и Белый Клык. А немного подальше — уходящий за горизонт Тихий, он же Великий океан.

В этой же хижине среди снегов Джек Лондон проштудировал актуальные книги последней трети XIX века — «Капитал» Маркса и «Происхождение видов» Дарвина: посчитал, что ему не хватает «основательных» знаний.

Теперь надо было понять — как писать? И главное — когда?

### — 3 —

И с 1900 года (ему всего двадцать четыре года, но ведь и работает он с четырнадцати лет, за плечами — десять лет трудового стажа!) Джек Лондон становится профессиональным литератором. То есть человеком, живущим на заработки от литературного труда.

Произошло это после долгих метаний.

Принять ли место почтового служащего за 65 долларов в месяц — ведь он может обеспечить свою мать Флору и остальных членов семьи (а ответственность сначала за семью отчима и матери, а потом и за свою собствен-



ную он чувствовал с ранних лет)? Так он мог получать гарантированное жалование.

Или сделать все возможное для осуществления мечты своей жизни — писать?

И решение было принято.

Для большинства из нас Джек Лондон — это автор рассказов «Белое Безмолвие», «Мужество женщины», «Белый клык». Но он писал не только рассказы, а еще статьи и очерки для газет и журналов и романы — ведь для того, чтобы жить на литературные заработки, писать надо было очень много. Только потом, много позже, Джек Лондон станет самым высокооплачиваемым писателем Америки. Юность же его была тяжелой, полной лишений.

Джек создал себе систему, основанную на железной самодисциплине. Каждое утро, во что бы то ни стало, он должен был написать «порцию» — полторы тысячи слов. Потом перепечатать их на пишущей машинке. И только потом — все остальное: путешествия, самообразование, любовь, семья, общение с друзьями.

Так продолжалось семнадцать лет — и именно так были написаны все его произведения: восемь романов и сотни рассказов. Сорок четыре книги были изданы при жизни и шесть — посмертно.

Он рано понял законы творческого труда. Он знал, как нужно писать, чтобы читатель ощущал себя как бы участником происходящего — и чтобы ему в итоге захотелось прочитать и новые книги этого автора, узнать про него побольше!

В одном из писем к другу Клаудсли Джонсу по поводу его рассказа «Философия дороги» Лондон изложил свою философию творчества:

«Вы имеете дело с кипучей жизнью, романтикой, проблемами человеческой жизни и смерти, юмором и пафосом и т. д. Так, ради бога, обращайтесь же с ними подобающим образом. Не рассказывайте читателю о философии дороги (разве что вы сами участвуете в действии и гово-

рите от первого лица). Не рассказывайте читателю. Ни в коем случае. Ни за что. Нет. Заставьте своих героев рассказать о ней своими делами, поступками, разговорами и т. д. Только тогда, но ничуть не раньше, ваши писания станут художественной прозой, а не социологической статьей об определенной прослойке общества. И дайте атмосферу. Придайте своим историям широту и перспективу, а не только растянутость в длину (которая достигается простым пересказом).

Поскольку это художественная проза, читателю не нужны ваши диссертации на эту тему, ваши наблюдения, ваши знания как таковые, ваши мысли и ваши идеи — нет, вложите все свое в рассказы, в истории, а сами уйдите в сторону (кроме тех случаев, когда рассказываете от первого лица, как непосредственный участник). Это-то и создает атмосферу. И этой атмосферой будете сами вы».

В лучшем из написанного Джеку Лондону это удалось — самоустраниться из книги и вместе с тем сделать ее продолжением своего собственного «я».

И если вам на самом деле интересно, как же пишутся книги, то хотя бы ради этого стоит прочесть роман «Мартин Иден», в котором много страниц — именно об этом:

«Читая произведения авторов, достигших успеха, он (Мартин Иден. — М. Ч.) отмечал все особенности их стиля, изложения, построения сюжета, характерные выражения, сравнения, остроты — одним словом, все, что могло способствовать успеху. И все это он выписывал и изучал. Он не стремился подражать. Он только искал каких-то общих принципов...»

Первые северные рассказы были опубликованы в 1899 году — после возвращения с Аляски. А в 1900-м уже издана первая книга — сборник рассказов «Сын волка». Но не только книги, а все, что он делал, он делал профессионально — от строительства парусника и дома до устройства молочной фермы или собственной семьи.

«В его короткую 40-летнюю жизнь вместились занятия сельским хозяйством на ранчо в Калифорнии; рабо-

та в качестве корреспондента во время русско-японской войны, сан-францисского землетрясения 1906 и мексиканской революции; чтение лекций в Гарвардском (Harvard University) и Йельском (Yale University) университетах; постройка парусной яхты "Снарк" (The Snark) и попытка обогнуть на ней земной шар; несколько тяжелых болезней — от цинги до тропической лихорадки — и две женитьбы» (Англо-русский лингвострановедческий словарь «Американа»).

— 3 —

Когда читаешь биографии великих писателей, часто возникает вопрос: что лучше — когда писатель ни в чем не нуждается, имеет «ренту» и пишет, не думая о куске хлеба, или когда его постоянно подгоняет сначала забота о том, чтобы просто выжить, прокормить семью, а затем — истекающие сроки закладных за велосипед, часы, макинтош и зимний костюм, а потом уже и за дом?

Замечательный исследователь литературы Виктор Шкловский, цитируя Достоевского, сетовавшего, что если б его не подгоняли долги и он имел бы имение, как Тургенев, то писал бы не хуже Тургенева, заключил лаконично: «Писал он лучше».

Рассказывая, как Джек Лондон путем колоссальных усилий выбился из нищеты, автор лучшей его биографии «Моряк в седле» Ирвинг Стоун описывает 1907 год, когда у Джека Лондона вышли четыре книги — а писателю всего тридцать один год! — и размышляет об этом так: «Все это было написано ради денег, которые требовалось вложить в "Снарк" (знаменитый парусник писателя, построенный по его проекту и с его участием).

Высокое совершенство этих произведений свидетельствует о том, что иные пишут лишь во имя литературы, не помышляя о такой скверне, как деньги, и получается чепуха, в то время как другие пишут ради денег и творят

подлинную литературу. Определяющим фактором здесь служит талант, а не то, как человек намерен распорядиться вознаграждением за этот талант. Джеку Лондону были свойственны любовь к правде, смелость говорить то, что он чувствовал и думал, и он был образованным человеком. Это сочеталось в нем с даром прирожденного рассказчика, созревшим в результате неустанной работы. То обстоятельство, что он нуждался в деньгах, не заставило его снизить требовательность к себе — он всегда был уверен в том, что хорошая работа стоит хороших денег».

Но иногда достигнувшего славы писателя сторожит опасность, с которой трудно бороться: разочарование.

Нечто автобиографическое сквозит в словах едва ли не центрального героя Джека Лондона Мартина Идена, когда к нему, известному и богатому, приходит Руфь, отвергнувшая его, когда он был беден:

«— Отчего же вы раньше на это не решились? — спросил он сурово. — Когда я жил в каморке. Когда я голодал. Ведь тогда я был тем же самым Мартином Иденом — и как человек и как писатель... Я тот же! У меня та же голова, плечи, те же десять пальцев на руках и ногах. Никакими новыми талантами или добродетелями я не могу похвалиться... Ценность моей личности не увеличилась с тех пор, как я жил безвестным и одиноким. Так почему же теперь я вдруг стал всюду желанным гостем? Несомненно, что нужен людям не я сам по себе... Значит, они ценят во мне нечто иное (...) — то, что я получил всеобщее признание. Но ведь это признание вне меня. Оно существует в чужих умах. Кроме того, меня уважают за деньги (...) Но и деньги эти тоже вне меня. Они лежат в банках, в карманах всяких джонов, томов и джеков. Так что же, вам я тоже стал нужен из-за этого, из-за славы и денег?..»

Ирвинг Стоун пишет:

«Он всегда говорил: “Хочу пожить недолго, но весело”. Сверкнуть по небесному своду двадцатого века слепящей кометой так, чтобы отблеск его идей сохранился в каждой человеческой душе. Гореть ярким, высоким пламенем, сгореть дотла, чтобы смерть не застала его врасплох, пока не истрачен хотя бы медный грош, не доведена до конца последняя мысль. Не засиживайся в обществе собственного трупа; дело сделано, жизнь кончилась — раскланивайся и уходи».

Таковы и его герои — живут не всегда долго, но жизнь эта полна событий.

С какого-то момента Джек Лондон мечтал о своем доме. И выстроил его. Он так много написал про волков и собак, что его друг Джордж Стеринг дал ему прозвище «Волк». И когда стал строиться в 1911 году дом его мечты, соседи называли его Домом Волка.

В жаркую летнюю ночь августа 1913-го соседний фермер увидел красный отблеск на небе в той стороне. А Лондоны спали в коттедже в полумиле от дома. Они вскочили на коней и поскакали к дому. Но он уже догорал. Хозяин хотел восстановить дом. Но Судьба не выделила ему на это жизненного времени.

...Однако лучше все-таки кончить не на этой печальной ноте, а на романе, написанном в последний год жизни писателя и до сих пор волнующем читательские сердца — загляните в интернет, и вы сами убедитесь в этом. Роман называется «Маленькая хозяйка большого дома».

«— Где же мой мальчик? — кричал Дик, топая и звеня шпорами по всему Большому дому в поисках его маленькой хозяйки.

Наконец он дошел до двери, которая вела во флигель Паолы.

...Дверь распахнулась.

— Где мой мальчик? — крикнул он опять и затопал по длинному коридору.

...— Где мой мальчик? — кричал он, проходя под воротами как раз в ту минуту, когда, огибая кусты сирени, подъехал лимузин.

— Черт меня побери, если я знаю, — ответил сидевший в машине высокий белокурый человек в светлом летнем костюме; и через мгновение Дик Форрест и Иван Грэхем пожимали друг другу руки».

И далее на наших глазах лепится внешний облик *настоящего американца* — в формировании его Джек Лондон (включая его собственную внешность), на мой взгляд, сыграл не последнюю роль:

«Грэхэм был почти одного роста с Форрестом, может быть, выше на какой-нибудь дюйм, но зато уже в плечах и груди, и волосы светлее; глаза у обоих были почти одинаковые — серые, с голубоватым белком, и лица их покрывал одинаковый здоровый бронзовый загар. Черты лица у Грэхема казались несколько крупнее, чем у Форреста, разрез глаз чуть удлиненнее, что, однако, скрадывалось более тяжелыми веками. И нос его был как будто прямее и крупнее, чем у Дика, и губы алее и точно слегка припухли.

Волосы у Форреста были ровного светло-каштанового оттенка, а волосы Грэхема, без сомнения, отливали бы золотом, если бы они так не выгорели на солнце, что казались песочного цвета. Скулы у обоих слегка выступали, но впадины на щеках Форреста обозначались резче; носы были с широкими нервными ноздрями, рты крупные, по-женски красивые и чисто очерченные; вместе с тем в них чувствовались затаенная сила воли и суровость, так же как и в крепких, крутых подбородках».

А вот и та, кого искал хозяин дома.

«Они выехали на залитую ярким солнцем лужайку, и Грэхему открылось необыкновенное зрелище.

Середину обсаженной деревьями лужайки занимал большой квадратный бетонированный бассейн».

И в нем, «как раз посередине, огромный гнедой жеребец, мокрый и блестящий, взвившись на дыбы, бил над водой копытами, и мокрая сталь подков блестела в солнечных лучах. А на его хребте, соскальзывая и едва держась, белела фигура, которую Грэхем в первую минуту принял за прекрасного юношу. И только когда жеребец, вдруг опустившийся в воду, снова вынырнул благодаря мощным ударам своих копыт, Грэхэм понял, что на нем сидит женщина в белом шелковом купальном костюме, облежавшем ее так плотно, что она казалась изваянной из мрамора. Мраморной казалась ее спина, и только тонкие крепкие мышцы, натягивая шелк, извивались и двигались при ее усилиях держать голову над водой. Ее стройные руки зарылись в длинные пряди намокшей лошадиной гривы, белые округлые колени скользили по атласному мокрому крупу, а пальцами белых ног она сжимала мягкие бока животного, тщетно стараясь опереться на его ребра.

...Когда она, чтобы не сползти со спины жеребца, прижалась щекой к его выгнутой шее, ее распустившиеся мокрые золотисто-каштановые волосы переплелись и смешались с его черной гривой. Но больше всего поразило Грэхема ее лицо: это было лицо мальчика-подростка — и лицо женщины, серьезное и вместе с тем возбужденное и довольное игрой с опасностью...»

С этого все и начинается...

В Полке первой — графика Ю. Петрова (к повести Л. Толстого «Кавказский пленник»), Э. Кембла и Т. Вильямса (к «Приключениям Тома Сойера» Марка Твена), Ф. Меррилла (к «Принцу и нищему» Марка Твена), Э. Сетона-Томпсона (к собственным сочинениям), В. Фаворского (иллюстрации к новеллам П. Мерима), И. Гринштейна (к «Приключениям Травки» С. Розанова), Ю. Анненкова (портрет М. Зоценко), М. Лермонтова (к главе «О войнах и любви»), Г. Доре (к Рабле — «Гаргантюа и Пантагрюэль»), Ж. Гранвиля (к повести Д. Дефо «Приключения Робинзона Крузо») и других. На контртитule — рисунок Тани Мишиной; над оглавлением — заставка А. Ермолаева к повести А. Гайдара «Судьба барабанщика».

В Полке второй — иллюстрация В. Фаворского к повести Гоголя «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» и две иллюстрации Г. А. В. Траугот к «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Гоголя (к главе о Гоголе «Вот настоящая веселость»), П. Фёра (к роману Жюль Верна «Таинственный остров»), М. Добужинского (к главе о «Трех толстяках» Юрия Олеши), Е. Бургункера (к роману В. Каверина «Два капитана»), Серой Сова (к главе о его сочинениях), Е. Рачева, М. Пришвина и П. Ползунова (к главе о Пришвине), К. Ротова (к «Старику Хоттабычу»



Л. Лагина), Нади Рушевой (к «Мастеру и Маргарите» М. Булгакова), Ж. Гранвиля (к «Робинзону Крузо» Д. Дефо), К. Клементьевой (к повести С. Могилевской «Марка страны Гонделупы»), Н. Травина (к книге Д. С. Аландера о Рауле Валленберге), А. Налетова (к книге Ш. Бронте «Джейн Эйр» и главе о ней) и других.

На авантитуле — рисунок К. Клементьевой из книги «Марка страны Гонделупы».

В Полке третьей использованы — фотография А. Анжанова львенка Кинули (к главе «Про зверят»), графика Нины Носкович (иллюстрации к «Детству Никиты» А. Н. Толстого), А. Иткина и О. Пархаева (к сочинениям Г. Уэлса), О. Верейского (к поэзии Твардовского), Т. Шишмаревой (иллюстрации к «Горю от ума» Грибоедова), И. Кускова (иллюстрации к Г. Хаггарду) и М. Беломлинского (к повести Марка Твена «Янки при дворе короля Артура»), иллюстрации В. Алфеевского к сказке Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», иллюстрация Е. Аносова к повести И. Меттера «Мухтар» (к главе «Пятый угол»), рисунок Р. Габриадзе (к главе о М. Жванецком) и других; фото Ильи Груэна к главе Маши Чудаковой о Джеке Лондоне.

Издательство и автор благодарят сотрудников Центральной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара г. Москвы за помощь в подборе иллюстраций к Полке третьей.

*Литературно-художественное издание*

Мариэтта Омаровна Чудакова

НЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

время читать!

*полки первая, вторая и третья*

редактор

*Татьяна Тимакова*

художественный редактор

*Валерий Калныньш*

Подписано в печать 27.08.2013.

Формат 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.

Усл. печ. л. 23,52.

Бумага писчая. Печать офсетная.

Тираж 5000 экз. Заказ № 743.

«Время»

115326, Москва, ул. Пятницкая, 25

Телефон (495) 951 55 68

<http://books.vremya.ru>

e-mail: [letter@books.vremya.ru](mailto:letter@books.vremya.ru)

Отпечатано в соответствии

с предоставленным оригинал-макетом

в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»

620990, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

<http://www.uralprint.ru>

e-mail: [book@uralprint.ru](mailto:book@uralprint.ru)

Знаменитый историк литературы XX века, известный знаток творчества Михаила Булгакова, а также автор увлекательного детектива для подростков «Дела и ужасы Жени Осинкиной» рассказывает о книгах, которые во что бы то ни стало надо прочесть именно до 16 лет — ни в коем случае не позже! Читатели полюбили ее «Полки», на которых выставлены лучшие книги мировой литературы. И теперь три «Полки» составили один том.

**МАРИЭТТА ЧУДАКОВА —  
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ  
«АЛЫЕ ПАРУСА»**



<http://books.vremya.ru>